

СИБИРСКИЕ ОГНИ

**Литературно-художественный
и общественно-политический
ежемесячный журнал**

ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА

Главный редактор:

М. Н. ЩУКИН

Редакционная коллегия:

Н. М. Ахпашева (Абакан)

А. Г. Байбородин (Иркутск)

А. В. Болдырев (Курск)

А. В. Кирилин (Барнаул)

В. М. Костин (Томск)

А. К. Лаптев (Иркутск)

Г. М. Прашкевич (Новосибирск)

Р. В. Сенчин (Екатеринбург)

М. А. Тарковский (Красноярск)

А. Б. Шалин (Новосибирск)

Владимир Титов

ответственный секретарь

Максим Долгов

начальник отдела художественной литературы

Марина Акимова

редактор отдела художественной литературы

Михаил Косарев

начальник отдела общественно-политической жизни

Дмитрий Рябов

редактор отдела общественно-политической жизни

Верстка: **О. Н. Вялкова**

Корректурa: **Л. Н. Подистова**

11/2017

Содержание

ПРОЗА

- Мария БУШУЕВА. Демон и Димон.** Роман. Продолжение. 3
Данило РАЗИНЯ. Путь Карлюты. Рассказ. 65
Елена ЛОБАНОВА. Миссис зрительских симпатий. Рассказ. 100

ПОЭЗИЯ

- Любовь КОЛЕСНИК. День энергетика.** Стихи. 60
Андрей ГРИЦМАН. Взгляд на иную жизнь. Стихи. 96
Наталья КУЗНИЦЫНА. «Темная стихла река...» Стихи. 112

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ

- Виктор РОЖКОВ. Наследники Киприана.** Повесть. Окончание. 115

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

- Анатолий КИРИЛИН. Окнами на солнце.** 153

КРИТИКА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

- Владимир ЯРЦЕВ. Мой Плитченко.** 172

Картинная галерея «Сибирских огней»

- Павел МУРАТОВ. Художник Лев Серков.** 188

- Авторы номера* 191

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Главный редактор, директор-руководитель ГБУК НСО «Редакция журнала «Сибирские огни» М. Н. Щукин.

Мария БУШУЕВА

ДЕМОН И ДИМОН

Р о м а н *

Часть вторая. Знак

*Разгораются тайные знаки
На глухой, непробудной стене.*

А. Блок

В ноябре 2013 года господин невысокого роста, одетый элегантно и очень дорого (вся одежда, вплоть до шарфа, из столичных бутиков), очень интересный внешне, респектабельный, с седыми висками и эсеровской бородкой, вышел из «порше» и посмотрел на меня с неприязненной тревогой.

- У тебя шикарный шарф, — сказала я.
- Это ты к чему? — Он подозрительно нахмурил брови.
- Шарф понравился, вот и все.

Третий год я твердила ему, что нам нужно разойтись.

Нет, у меня не было ни любовника, ни претендующего на статус моего мужа приятеля, к разводу меня подталкивало совсем другое — все обостряющееся и усиливающееся чувство опасности: этот человек в дорогом распахнутом пальто, с кожаным кейсом в руках, подстриженный в престижном салоне, уже несколько лет вызывал у меня страх.

Но он все оттягивал и оттягивал развод.

И причину своего страха я знала. Многие бы расценили ее как простую двойную глупость: суеверие Димона и моя впечатлительность.

Суть причины, и в самом деле, выглядела странно — это была уверенность Димона, что несколько лет назад он получил второй мистический знак от управителей своей судьбы: ему *открылось*, что конец его жизни уже виден — ему осталось жить восемь лет.

Этот знак не был связан, как предыдущий, с тенью на облаках, которую он увидел в детстве, или с чем-то еще, таким же удивительным. У Димона просто заболела правая рука.

- Бинт в доме есть? — спросил он.
- А бинт зачем?

* Продолжение. Начало см. «Сибирские огни», 2017, № 10.



— Я сделаю компресс. Привез летом с Алтая мазь.

Мы встретились глазами, и он понял: я тоже теперь *знаю*.

Ведь он сам не раз со значением рассказывал мне, что у его отца, старика Сапожникова, за восемь лет до смерти заболела рука. Отец накладывал алтайскую мазь, бинтуя руку...

По интонации Димона я сразу, когда он еще рассказывал об этом в первый раз, почувствовала: соотнесенность заболевшей руки и срока отцовской смерти для Димона стала значимой вехой, его подсознание оставило эту соотнесенность себе для будущего сигнала и обратило в такой же *знак*, как тень на облаках. Только противоположный по значению.

И сигнал прозвучал.

— Так найдешь?

Меня пронзил его взгляд.

Это был взгляд такой острой ненависти, что, застрянь ее черный наконечник во мне, я бы сразу же могла смертельно заболеть.

Но острый наконечник растопила моя жалость к Димону — и спасла меня.

Я-то не хотела, чтобы он умер.

— Да, шарфик ничего, — усмехнулся он.

Семь лет прошло, как Димон упорно мазал черной мазью и самостоятельно бинтовал свою руку.

— Меня ждут, — произнес он несколько смущенно, что удивило меня. — Ну... проект. Хочу помочь людям, они танцевальный клуб решили организовать. И вот встречаюсь с представителем.

— С девушкой, конечно.

На углу Таганской улицы его ждала двадцатисемилетняя любовница, которой Димон прихвастнул, что мы купили для Аришки квартиру. Через несколько дней любовница, рыдая, сообщила Димону, что ждет от него ребенка.

Это я узнала много позже.

И все остальное тоже.

И то, что она прожила с Димоном в нашем деревенском доме ровно три месяца, после чего он увез ее из Москвы в город Н., и то, что ее главным проектом оказались совсем не танцы. А мой муж.

А еще точнее — наша семейная собственность.

* * *

Я сразу была против этого дома. Когда Димон привез меня в деревню возле Коломны и показал старый, дореволюционной постройки, дом, сказала — не покупай, мрачный какой-то.

Димон не мог скрыть досады.

— Не нравится, что ли? — Его лицо выразило вечное: все ей всегда не так, этой принцессе на горошине (принцессой на горошине иногда называл Ирэну его отец). — Ты погляди, какая кладка: сейчас так не строят. Восстановим — дом еще сто лет простоят!

— Тебе нравится — это главное.

— Не то слово — нравится, — Димон удивленно приподнял брови, — я просто запал на него. Приехал сюда вечером, увидел его, поставил машину — и даже сразу уехать не смог, ночь ночевал рядом с ним, точно он меня примагнитил.

— Наверное, так и есть, — сказала я. — Он чей был, ты не узнал?

— Старик сосед мне историю дома рассказал. Невеселую, правда. И про призрак хозяина упомянул.

— Тебя в последнее время тянет на темное.

— А тебя на всякую эзотерику! Думаешь, это светлое? Русский человек — это православный человек, и никаких отклонений быть не должно!

— Ну и что же старик поведал?

— Можно без иронии?

— Хорошо.

— Жил в доме до 1917 года некий Лукин. Такой вот как бы однодворец, правда, числившийся то ли в коломенском, то ли в рязанском дворянстве. Так что дом не мещанский — классического усадебного типа. Но Лукин стал заниматься скототорговлей. Семья его, кстати, проживала в Москве, а он здесь. Один. Ну или с какой-нибудь кухарочкой. — Димон хохотнул, и планы его мне сразу стали ясны: кухарочек в деревне отыскать несложно. — Дом он сам и построил в 1897 году. Торговля у него шла, видимо, неплохо, но, к несчастью...

— ...сам он погиб, ведь так?

— Ну вот как ты догадалась? — Димон даже стал меньше ростом, точно моя пронизательность его немного сплющила. — Бабушка Антонина Плутарховна была ведьма. И ты такая же. И она до сих пор нами управляет!

— Но ты же сказал «к несчастью»...

— Но он мог и просто рано умереть.

Он поднял голову и глянул на облака. Они плыли, низкие, сутробоподобные, над самой деревней.

— Хорошо-то как здесь... Чудное место. И сейчас, осенью, красотища, а летом будет вообще прекрасно. Аришке понравится.

— А что с Лукиным, ты не закончил.

— Он попал под поезд. Ехал на лошадах. Деталей дед не знает. Может быть, повез как раз скот на продажу, что скорее всего, и лошадь понесла... В общем, погиб.

— Ужас.

— Да, жалко мужика.

— А дом кому достался?

— Сначала никому. Стоял пустой. Семья Лукина отказалась его брать, даже приехать на похороны отказалась. И знаешь, что родственники сказали, когда узнали про его гибель? «Собаке — собачья смерть».

— Жуть.

— Видимо, он сильно супруге насолил!

— Потому дом кажется таким мрачным...

— Да глупости! Мы дом восстановим, душа Лукина возрадуется и успокоится. Обретет покой. Может, свечку в церкви поставить за упокой? А то, дед сказал, сюда сельский молодежь повадился ходить по но-



чам: музыку врубают и дискотеку устраивают, даже стены исписали, гады! Мешают душе Лукина спокойно созерцать.

— Не бояться призрака!

— Они ничего не бояться. Оторвы. — Димон снова глянул на облака. — Холодает. Наверное, завтра выпадет первый снег. — Он поежился. — А потом дом забрал сельсовет и сделали здесь клуб на три деревни... В начале девяностых, соответственно, все развалилось, и с тех пор дом стоит пустой... Мы его выкупим, он, я уже узнал, зарегистрирован как здание бывшего клуба, отреставрируем — будет наш.

* * *

К следующему лету дом восстановили, правда, остались кое-какие недоработки, но воду провели, туалет, ванную комнату отделали, кухню поставили, так что жить стало уже можно. И я в деревню приехала. Мы сразу, еще проектируя ремонт, решили: первый этаж его, второй — мой. Чтобы не толкаться локтями.

Аришке отвели детскую тоже на втором этаже.

Про полученный год назад знак о смерти через восемь лет Димон, как мне казалось, забыл, увлеченный постройками и ремонтом.

Внизу он убрал все стены и сделал себе одну огромную комнату с камином; наверху, наоборот, комнат было несколько. Под зеленой крышей оставили просторный чердак, который Димон со временем тоже планировал сделать жилым, а в полуподвальном этаже, рядом с ванной комнатой, оставалась большая пустая комната с земляным полом: Димон объяснил, что там будет глухое помещение, может, для хранения овощей, а может, еще для чего...

Когда я видела эту пустую комнату с цементными стенами, но пока еще с черным земляным полом, мне почему-то становилось не по себе...

Старый яблоневый сад с черными стволами, вид на Оку, открывавшийся, едва выйдешь за ворота, а на том берегу темная линия далекого леса... Днем в деревне было так спокойно, в доме уютно и светло, но едва переваливало за полночь... Все твоя мнительность, ворчал Димон, допивая бокал красного вина, я вот сплю на первом этаже как убитый и ничего не слышу.

Но он, как часто это с ним случалось, лгал. И он слышал.

Но первой это услышала не я, а моя приятельница Юлька, когда ночевала у нас. Она вообще сказала, что дом какой-то страшный. Хочется скорее его покинуть.

— Все бабы — дуры, — злился Димон. — Юлька слышала, теперь и ты!

— Может быть. Хотя... Юлька ведь сначала думала, это внизу ходишь ночью ты. Не хотела тебе говорить. Но, преодолев страх, она спустилась по лестнице и увидела: ты спишь, а шаги стали удаляться и пропали в той комнате, в которой вместо пола земля...

— Юлька, как бывшая балерина, мозгов не имеет, за что я балерин и люблю, у нее весь ум в ноги ушел, а ты просто сильно внушаемая!

— А где, — и тут я ощутила легкий озноб, — Лукин похоронен?

— Не знаю. Наверное, здесь, на деревенском кладбище.

Димон глянул в окно; мы стояли на втором этаже, пахло свежим деревом: нам только что привезли и установили лестницу. Из небольшого окна открывался вид на яблоневый сад и на две березы, растущие недалеко от крыльца. На одной березе сидела черная ворона.

— А тебя я похороню здесь, возле березок, — внезапно проговорил Димон и делано засмеялся.

Сказанное удивило даже его самого, это было видно по тревожной бледности, которая проступила через коричневый загар. Он был слегка нетрезв.

Я вздрогнула и отвернулась. Что у трезвого на уме...

В народную мудрость я верила всегда. Но в данном случае, может быть, и не обратила бы внимания на эти слова, если бы не Джон Фаулз. Все последние месяцы, предшествовавшие мечтательной реплике, роман «Коллекционер» оставался любимой книгой Димона, упорно оборудованного в доме зацементированный со всех сторон глубокий подвал.

По-моему, я уже говорила вам, что на самом деле Фредериком был его отец? Правда, роман его с Ирэнной-Мирандой протекал иначе, в сказочно счастливом ключе. Но Димон тоже ощущал в себе нечто клегговское, некое культурологическое косноязычие, а главное, он ведь слился с образом отца, и потому я обязана была стать Ирэнной, которую его отцу удалось стереть, но не удалось пережить...

— Отец мне иногда говорил, что скоро похоронит мать. Она же болела; батя тогда шутил грустно, что вот помрет жена — женится он на медсестре. Готовил меня, в общем, чтобы не сильно я убивался, если мать потеряю, а помер вперед сам, так-то... Медсестричка, кстати, которая ей уколы делала, была ничего из себя. Пухленькая такая, молодая, все глазки бате строила, даже говорила ему, что любит его книжки. Меня вот ни одна скотина как писателя не знает, а его даже вагоновожатые читали.

Но я чувствовала: в Димоне живет страстное архетипическое желание победить старика Сапожникова во всем. Это был главный смысл его нервного бега по жизни. Димон был вторичен, и мне все чаще казалось: старый писатель-фантаст просто придумал себе сына как необходимое свое привлекательное отражение, пытающееся победить подлинник, казавшийся ему самому уродливым.

И никакого Димона не было!

Это был фантом.

Бедный Димон, он так и не успел добежать до своей собственной жизни...

* * *

Кстати, Димона многие считали красивым. Актерски красивым. Его сравнивали с Олегом Янковским. Улыбка у него была просто потрясающей. И он это знал — стоило на белизне зуба образоваться хоть микро-

скопическому пятнышку, тут же бежал к стоматологу. Но после того разговора, когда нетрезвый Димон особенно широко улыбался, на меня глядя, мне стало недоставать артистизма отвечать ему столь же радужно. Возможно, я действительно очень впечатлительная, но Димон стал вызывать у меня сильнейшее чувство опасности. Рациональными доводами, что все это ерунда, *литературные проекции*, я не могла никак себя успокоить, оказываясь снова и снова захваченной иррациональной властью страха.

Как-то он принес домой от друзей видео: фильм рассказывал о немолодой семье. Мужу за пятьдесят, жене меньше, дочери двадцать. У жены вдруг обнаруживается онкология, она умирает, а вдовец женится на юной и прекрасной медсестре...

Мне вспомнился рассказ Димона о старике Сапожникове и о болезни Ирэны.

То, что не удалось отцу, должно было получиться у сына.

Димон крутил этот фильм, наверное, раз пять.

И Аришка вдруг стала каждый вечер, едва я ложилась спать, громко включать группу «Король и Шут», причем одну и ту же песню: «Она старела, пока не превратилась в прах...»

Конечно, возвращаясь к Фаулзу, можно по прошествии времени засмеяться над собственными страхами и признать: разумеется, Димон не собирался меня держать в подвале, как Клефт Миранду, — его хорошие и вполне исправные клапаны сознательного контроля не давали полной власти темным монстрам, обитавшим в одной из самых дальних комнат его подсознательного подвала. Мистические Димоновы управители знали о мрачном помещении — и здесь «закон черты» контролировался ими еще более строго. Подсознательную жизнь Димона проще описать приняв за основу его собственный язык. Оборудованный им подвал имел всего лишь символическое значение — но символизировал он смерть. Смерть Миранды. И проекция литературного образа умершей художницы была энергетически так сильна в воображении Димона и так властно действовала на мое подсознание, что и он и я — неосознанно — были уже уверены: в этом страшном доме (на вид очень спокойном, добротном, с неплохим внутренним дизайном) меня ждет тот же конец, что и Миранду.

* * *

Стоило мне приехать в деревню, я начинала болеть. То у меня обострялся детский ревматизм, за которым следовала череда тяжелейших осложнений, то я подхватывала какую-то неведомую инфекцию, доводившую меня до тяжелейшей астении...

И надо мной, лежащей в постели, тут же вспыхивали глаза Димона, и мне чудилось, что они горят не сочувствием, а властным приказом: умри!

Хотя внешне все обстояло вполне прилично: Димон покупал лекарства, занимался Аришкой — его нельзя было упрекнуть ни в чем.

Но, когда он в соседней комнате пинал кошку, которую нам презентовали соседи, и, ругая Аришу, что она кошку вовремя не покормила, кричал: «Вот помрет мать, сдам твою кошку в интернат!» — мне становилось так плохо, что я понимала: выжить я смогу только выбравшись из этого дома.



- А мама умрет? — спрашивала Ариша, начиная плакать.
- Может быть, — отвечал Димон. — Надо быть к этому готовыми.
- Нет, мама не умрет!
- Это как Бог распорядится.
- Мама не может меня бросить, — уже рыдая, кричала Арина, — она меня любит!
- Она и меня любит, — отвечал Димон.

И я засыпала, придавленная обрывками услышанного разговора. Точнее, просто падала в тяжелый кошмарный сон.

И как-то ночью, мучаясь бессонницей, я поняла: спасти меня могут только те странные парапсихологические законы, которым подчинялась душа Димона — этот трепещущий на ветрах времени клочок, доставшийся ему от души отца-писателя. А значит, помощь может оказать образ моей бабушки Антонины Плутарховны, которую Димон боялся, пока она была жива, именно потому, что ощущал идущую через нее коллективную бессознательную силу, с которой Димону было ни при каких усилиях с его стороны не справиться. И образ моей бабушки, как он считал, эту силу хранил. А главное, хранил меня. Он так и говорил мне: «Мощно Антонина Плутарховна до сих пор тобой управляет! Под ее колпаком живешь!»

Я не возражала.

Кому-то, ставшему во главу угла холодный интеллект, покажется, что Димон обладал примитивным сознанием, для которого характерно мифологическое мышление, опутанное паутиной суеверий. Но здесь я возражу: таков весь мир.

И он — возражающий мне холодный интеллектуал, который попал в аварию в тот же день, что и его собственный отец, только двадцатью годами позже, когда его сыну исполнилось столько же, сколько было ему самому в тот печальный день, — тоже таков. Потому что и над ним власть имеют если не кинолитературные, если не мифологические, то обязательно семейные и родовые проекции.

Чтобы освободиться от них, нужно пройти *сквозь* них.

Сквозь темные коридоры образов...

Когда я болела в деревне воспалением легких, умерла моя любимая морская свинка Пушистик. Мы оставили ее в городе, попросив соседей кормить зверька, и, когда вернулись, поилка была совершенно сухой. Пушистик дождался нашего с Аришкой возвращения, поприветствовал нас радостным писком и — сразу упал на дно клетки.

Даже то место, где стояла его клетка, которую, похоронив морскую свинку, я выбросила, вызывало у меня очень долгое время печаль. Я так любила это маленькое рыжее существо...

Дома болезнь моя прошла.

В деревенском доме больше двух часов я уже не проводила никогда.

— Пушистик умер вместо тебя, — сказал Димон.

И в его голосе я уловила нотки нескрываемого огорчения.

Но вернусь чуть назад.

Когда дом был отремонтирован и мы стали в нем жить, свечку за упокой души погибшего Лукина решили все-таки поставить и поехали в соседнее село, поодаль от которого был Казанский собор. Вокруг тянулись зелено-желтые заброшенные поля; белый собор было видно со всех сторон, и к нему вела асфальтированная, но старая, очень неровная дорога. Колеса подпрыгивали, и Димон чертыхался: ему было жалко новой машины. У ограды церкви паслись белые козы. Серый, в клочках шерсти, привязанный в отдалении козел бесстрастно пожевывал траву.

Выйдя из машины, мы увидели старого высокого священника: по виду ему было больше восьмидесяти, седые длинные волосы, иногда быстро приподнимаемые легкими порывами ветра и позолоченные на миг летним солнцем, стекали неровными тонкими прядями по его согнутой спине, подол черной рясы был измят, на нем виднелись серебристые следы краски. Священник сам красил оградку чьей-то могилы и, увидев вышедшего из машины Димона, работу свою приостановил, а кисть, серебрящуюся на солнце, из правой руки не выпустил. Эта большая кисть с деревянной ручкой тут же пробудила у меня мимолетное воспоминание: отец красит забор на даче, а я, четырехлетняя, стою рядом, вдыхая запах краски, заглушивший ароматы зелени и цветов, растущих в саду. Тогда еще у меня был отец. Вскоре мои родители развелись. А через несколько лет погибла мать.

— Батюшка, мы к вам с деликатным вопросом, и свечку надо за упокой поставить...

Священник кивнул и, бросив кисть на траву, медленно пошел к дверям собора, облупленные стены которого и давно не обновляемые купола почему-то отозвались в моей душе какой-то струной тоски.

— Честный батюшка и не сильно-то практичный настоятель, — шепнул мне Димон. — У других и иномарки крутые под окнами, и купола сверкают, а он, конечно, пешком ходит и на автобусе ездит.

Я не ответила, но почувствовала к старику доверие и жалость.

В церкви было хорошо: иконы старинные темнели и чуть посверкивали, свечек горящих было немного, но их свечение, кольшущееся мягко и как-то по-доброму, точно легкие улыбки, блуждало по стенам.

Димон быстро поставил привезенную с собой свечку к распятию, пробормотав те слова, которые требовались. Старик священник стоял у окна, ожидая вопроса.

Мы подошли к нему.

— Тут вот такая ситуация.

Димон покашлял. Кашлять ему явно не хотелось, но и говорить о собственном суеверном страхе было неловко.

— Мы с женой старый дом купили, здание бывшего клуба в Голубицах, и восстановили. Теперь жилой, первое лето в нем проводим... И тут вот подруга жены, а потом и она сама стали слышать по ночам... — Димон опять покхекал, пощипал бородку, — ходит по дому кто-то... Неви-

димый. Призрак, в общем. Жена решила, что это погибший очень давно хозяин. Ну я, конечно, скептически к ее страхам отношусь. Но все-таки решил с вами посоветоваться.

— Знаю я этот дом, — сказал священник, — о нем давно шла дурная слава, потому и стоял годами ничейный. Отец мой служил в этой же церкви иереем и хозяина помнил. То ли фамилия его была Марков, то ли Левин... Запомню.

— Лукин.

— Он был неверующий. Погиб недалеко отсюда, скот на продажу вез...

— Я так и думал!

— Зря вы его дом купили... Неприкаянная душа не даст вам покоя. Новый-то денег не было построить?

— Да старый восстановить дороже вышло, чем новый построить, — возразил недовольно Димон: самолюбие его было задето, ему хотелось выглядеть богатым. — Понравился мне особнячок, стены как Кремлевская стена...

По дороге обратно в Голубицы Димон сказал:

— Понимаешь, хоть старик и предложил освятить дом, тогда, мол, душа некрещеного бывшего владельца не сможет больше блуждать по комнатам и коридорам, но мне как-то жаль изгонять призрак погибшего Лукина. Может, он увидит, что я полюбил и восстановил его дом, и, наоборот, станет и меня и дом охранять?

— Ты же не верил в призрак?

— Ну... теперь поверил.

* * *

Уникальный ты экземпляр, часто подтрунивал надо мной Димон, особенно в наше коммерческое время, я даже тебе завидую: живешь за мной как за каменной стеной, мне бы так. Впрочем, зависть и ревность — это и есть любовь.

Любовь — это совсем другое, возражала я.

— Откуда тебе-то знать — рыбе?

Я не сильно-то обращала внимания на его слова, давно угадав, что зависть у него вызывало почти все. Это был прогрессивный двигатель его жизни. Она толкала его в школе и институте к зубрежке, потому что он завидовал отличникам, и в конце концов и сам стал красnodипломником. Но имелась у его зависти и темная сторона: она требовала обладания. Перемены в стране совпали с главной установкой Димона: неважно как — лишь бы приобрести, лишь бы завладеть. В советские годы эта установка была прочно заблокирована — но шлюзы открыли и темная вода хлынула.

Но и здесь у Димона было не все гладко: получив, он начинал тяготиться полученным, потому что для его сохранения требовались усилия, и одновременно появлялся и все рос в его душе страх потери.

Я написала «в его душе» — и снова задумалась.

Может ли быть душа у копии?

Ведь я чувствовала, что душа Димона была только крохотным обрывком души его отца, отрывавшего от своей души по кусочку, чтобы вложить в очередной вымышленный персонаж и тем оживить его.

Но Димон мог страдать. Мог испытывать боль. Мог завидовать и ревновать.

И к тому же был потрясающе обаятелен. Этого у него отнять нельзя.

Он просто притягивал к себе девушек и женщин.

Отец его, наоборот, и хмурой некрасивостью очкастого носатого лица, и замкнутостью характера, и мнительным, подозрительным отношением к людям создал вокруг себя непроницаемую капсулу одиночества. Может быть, в юности в подсознании отца жил другой свой собственный образ — обаятельного покорителя женских сердец — и он не зря поделился с зачатым ребенком обрывком своей души?

И я уверена, что в конце концов, при усилиях со стороны Димона, обрывок мог вырасти — и стать настоящей большой душой, движение которой от материального к духовному одухотворило бы ее... Не о том ли мечтал его отец-фантаст, намеренно веря в честность, непродажность, а главное, в духовные поиски сына?

Время скинуло с пьедестала прежние идеалы, заменив их золотым тельцом, и сыном постепенно стало овладевать чувство собственности. Философ-сторож теперь воспринимался общественным сознанием, одурманенным приватизацией жалких метров жилья, как лох. А тот, кто прихватил несколько квартир, — как победитель.

Димон не хотел выглядеть лохом.

Он видел себя хозяином жизни.

Но помидоры, которыми он решил торговать, сгнили, из фирмы, совладельцем которой он попробовал стать, его выгнали. А ему уже страстно хотелось *приобретать*. Впоследствии усилия по сохранению приобретенного для Димона оказались настолько тяжелы, что приобретенное легче было потерять снова. Но и здесь опять появлялось на пути Димона неприятное препятствие — вдруг потерянное найдет кто-то другой и станет найденным владеть? Этого нельзя было допустить. Вся собственническая натура Димона против этого восставала. Значит, оставался только один способ освободиться от непосильных усилий по сохранению приобретенного — приобретенное спрятать. Или, говоря языком Димона, закопать.

Существуя в иллюзорном мире собственных образов, чувство собственности Димон имел вполне реальное. И, когда мы стали встречаться, я заметила, что и у меня имеется *кое-что*, чем хочется Димону владеть. Это кроме меня самой — художницы с несколькими персональными выставками. Которую в придачу общественное мнение относило к «молодым и красивым». Мое честное мнение о собственной наружности Димона не колыхало: он ориентировался на то, что сам же называл «реноме». Не забывайте, что известность и внешняя привлекательность входили в обязательный набор его семейных ценностей. К тому же известности своей он именно теперь, когда бизнес стал приносить доход, начал жаждать страстно.

— Тебя вот почему-то знают, — говорил он, — а хоть бы одна холера знала меня как писателя!

И данный факт тоже вызывал у Димона сильнейшую завистливую досаду. А то, чему Димон завидовал, должно было стать его собственностью. Такова была формула его характера. И вообще, завладеть *чужим*, даже в предельном варианте — чужой судьбой, для Димона было делом чести. Он родился прихватизатором (вошло в оборот тогда такое слово) и не видел в этом ничего дурного. Если я отнял, значит, я сильнее. Эта формула жизни захватчиков никогда ведь не осуждалась на уроках истории. И в девяностые годы люди именно такого склада стали владельцами заводов, газет, пароходов. Именно они или их дети до сих пор платят огромные деньги экстрасенсам, чтобы не потерять еще более огромные. Именно они берут на работу бизнес-психологов как четвертую ногу для стола, без которой он был бы неустойчив. И, если бизнес процветает, совершенно неважно, самовнушение это босса или реальная помощь психолога, которого обычно нуждающиеся в поддержке воспринимают как мудрого человека или видят волшебником, магом. Порой такими охранителями бизнеса выступают даже священники.

Димону самолюбие никогда бы не позволило увидеть в своей жене «мудрую советчицу», то есть как бы посчитать себя глупее. А вот признать колдуньей, унаследовавшей свой дар от бабушки, было вполне приемлемо: самолюбие не страдает, можно даже назвать дурой, которая сама по себе ничего не может, полностью зависит от мужа, просто ей помогает *оттуда* ее бабушка...

— Ты бы меня ввел в штат предприятия как психолога, поддерживающего бизнес, — однажды попросила я (к тому времени я успела заочно получить второе высшее образование).

— Ты что, сдурела?! — заорал он. — Чтобы меня народ, который у меня работает, за придурка стал держать? Обойдешься!

— А стаж?

— На фиг он тебе, я вас с Аришкой обеспечу лучше, чем наше правительство! Ты только мне продолжай помогать. Свои обиды на меня контролируй: ты когда обижаешься, на предприятии сразу полный завал!

* * *

Вот так и получилось, что я вынужденно сыграла тайную роль феи, расколдовавшей робкого клоуна и превратившей его в короля пусть небольшого, по нынешним меркам, но своего королевства. Его проекция на меня образа (и силы!) внучки колдуньи росла, все расширяясь и расцветая, зародившись еще в ту пору, когда мы просто катались с ним на машине (совершенно архаично, то есть без всяких интимных посягательств с его стороны) и он, довезя меня до дома, заходил в нашу темную ужасную квартирэнку попить чая и поговорить с моей бабушкой, даже фамилия которой — Красовская — вызывала у него почтение, казалась дворянской. Хотя Красовских на свете полно — и далеко не все они из шляхты.

Кроме бабушки и реноме у меня имелось еще кое-что привлекательное для Димона: старинный альбом подпадал под графу «родословная».

Фотографии беловоротничковых мужчин и очаровательных девочек в белых платьях произвели впечатление на потомка бийских казаков и томского купца. Такой альбом хотелось сделать своим. Но бабушка привлекала его и настоящей культурой — с ней интересно было говорить: в юности она читала и Мечникова, и Форея «Половой вопрос», потом Фрейда, ближе к старости стала интересоваться даже йогой, восхищалась Вивеканандой, а уж литературу русскую знала вообще прекрасно. Димон просил ее читать его рассказы. Она читала. Как-то посоветовала ему как можно скорее попытаться опубликовать повесть о дедовщине в армии.

— Тогда ты будешь первым, — сказала она, — не опоздай.

Он опоздал. Через год новый властитель тронул прогнившие стропила, и декорации рухнули. О дедовщине в армии стали писать все кому не лень. Парадокс России в том, что дедовщина в армии все равно сохранилась...

* * *

Все, что говорила Антонина Плутарховна, сбылось, как-то заметил Димон.

Аришка первый день проводила не дома, а в школе. И мы — снова вдвоем — ехали по шоссе, уводящему в область. У Димона уже была новая БМВ. Традиция бесцельных катаний у нас сохранилась. Теперь мы почти всегда брали с собой дочку. Но если в пору ранней молодости вдоль дороги больше мелькали обычные дома, чаще серые, лишь порой синие или даже зеленые, то сейчас мы ехали вдоль натяканных вплотную краснокирпичных коттеджей, «замков» с башенками, роскошных особняков, среди которых старые деревянные дома выглядели как старики с копеечными пенсиями, выброшенные новой властью...

— И когда отец умрет, предупредила. Все знала. Между прочим, она однажды попросила о тебе: теперь всю свою жизнь, Дима, будь с ней рядом, не оставляй ее, помогай, пусть за это Бог пошлет тебе самому жизнь очень долгую. Так и сказала. То есть и тебе как бы, получается, того же она пожелала. А про тебя еще прибавила: она не способна приспособливаться к реальности, одна — пропадет.

Вот обидишь тебя — старуха твоя с того света достанет. Он вздохнул.

А бросишь — так и сам отправишься прямо к ней. Во я попал.

* * *

Но тогда, в пору самого начала наших отношений, Димон внезапно уехал на полгода, оставив меня в растерянности; он не звонил: у нас не было с ним романа в привычном понимании, мы как бы просто приятельствовали, но его звонка я все-таки ждала.

Позвонил он внезапно утром, часов в девять. В пять утра умерла моя бабушка.

— Я это почувствовал, — сказал он. — Антонина Плутарховна подала мне весть, что умирает. Теперь, выходит, у тебя никого нет. Кроме меня.

Внезапно, через полгода после смерти бабушки, скончалась моя ма- чеха, и у меня снова появился отец; его жена, выпускница экономического факультета МГУ, до этого очень долго болела. Овдовев, отец стал срочно сближаться с теми, кого потерял в пути; самой главной его потерей оказа- лась я, то есть его дочь.

— Во как Антонина Плутарховна старается оттуда. Батяню тебе по- догнала, — сказал Димон, когда мы вышли из дома отца (я их познако- мила). — Интересный он человек. Порода!

По линии матери правнук штабс-капитана, смуглый, с темными ве- ками и несколько бунинским профилем, попивавший коньяк только из од- ной и той же старинной рюмки на серебряной ножке, в первый же вечер обыгравший Димона в шахматы, как я обыграла старика Сапожникова, отец произвел на моего будущего мужа сильное впечатление. И я видела: вызвал у него зависть. Может, потому, что бунинские «Темные аллеи» были у Димона долгие годы вместо Библии? Именно тогда я и поняла: все, что вызывало у Димона зависть, он должен сделать своим — воз- можно, так проявляла себя его генетика: все-таки захват чужого, видимо, был у него в крови. Но и материальные стимулы для Димона были не ме- нее существенны: квартира отца не просто не уступала его родительской, она была значительно лучше.

Ирэна, когда социализм рухнул, показала мне фото деда-купца, чтобы доказать: правнук похож на прадеда. Да, похож, согласилась я. И так же любит деньги, вдруг сказала Ирэна, глянув на меня со значением. А ты к деньгам равнодушна. Интонация ее была смутной — то ли вопрос, то ли утверждение. Дима мне сказал, что твой папа подарил вам квартиру.

Ирэна из-за болезни ног уже не могла выходить из дома. Готовить ей стало тоже тяжело. Охваченная чувством своей ненужности, Ирэна медленно исчезала: ее тень становилась все прозрачнее.

— Давай съездим на дачу, — попросила я Димона, — привезем Ирэне облепихи.

— Съездим. Как-нибудь.

Но это «как-нибудь» не настало.

Ирэна, которая уже не могла готовить, Ирэна, получавшая от новой власти крошечную пенсию, Ирэна, которой требовались дорогие лекар- ства, была Димону уже не нужна.

В доме и так пахло сытной едой: готовила крутобедрая домработни- ца. И рядом была я — в навязанной мне Димоном роли Ирэны...

Мы смотрели с ней фотографии, она тихо комментировала. Старик Сапожников хмуро смотрел на нее и на меня из-за стекла книжного шка- фа, и я подумала, что казачьи корни в нем совершенно не ощущались: он не был наделен ни смелостью, ни азартом, ни стремлением к преодолению дальних расстояний — всем, что имелось у Димона и делало его таким привлекательным для женщин, — за поблескивающим стеклом затаил- ся тихий мрачноватый фантаст, унаследовавший все свои черты, видимо, от какой-то другой ветви...

— А это дедушка и бабушка, бийские.

Поразительно: на желтой фотографии сидели рядом старый Димон и старая Галка...

О квартире сказал Ирэне Димон. Отец мой, охваченный чувством вины перед оставленной когда-то дочерью, продав свою отличную трешку, отдал семьдесят процентов суммы мне, себе купив однокомнатную квартиру и сделав меня владелицей собственной двухкомнатной квартиры в самом центре.

Та крошечная квартирелка в полубарачном доме, в которой обитали долгие годы мы с бабушкой, была продана, и деньги ушли на доплату за район и метры. Вскоре Димон мне сделал предложение. Выгнанный очередной неофициальной женой, каждая из которых имела для него свою утилитарную ценность, однако, окрашенную светом обязательного, романтизирующего ее Димонова представления, он оказался на тот момент фактически без своего жилья, ведь в его родительской квартире еще жила мать.

— Дима не любит меня, только требует и кричит, — закрывая альбом с фотографиями, сказала Ирэна, вздохнув. — Все мужчины у нас в роду такие. Он обижает меня. У меня ведь нет денег, крошечная пенсия, а ему даже не хочется купить мне новый диван, дыру вот старым пальто закрываю. Наверное, думает, чего деньги тратить, скоро ведь помрет, тогда он выбросит диван, и все...

Но Димон не мог и не хотел видеть себя таким — прагматичным и безжалостным. Ему нужен был самовозвышающий обман, какая-то идея о собственной личности, которая могла бы затмить утилитарные мотивы, а затмив, заменить их мотивом благородным. Такой идеей стала идея спасения. И он стал спасать Ирэну от кухни: она до сих пор пыталась иногда приготовить ему еду и потому чувствовала себя хоть немного, но еще нужной. Но Димон, объявив, что матери уже приготовление еды не под силу — то вот соль забудет положить, то суп переварит (все это было неправдой), — взял в дом громкоголосую домработницу, которая загнала Ирэну сначала в комнату, не давая даже подступать к плите (чайник и то она теперь ставила кипятить только сама), — и, соответственно, в гроб с удвоенной скоростью.

По квартире пронеслись быстрые тени: за окном мела метель.

— Я не хотела иметь сына, хотела дочь...

После ее похорон Димон мне сказал:

— Знаешь, даже самому стало стыдно — так я собой восхищался, когда произносил поминальную речь... Было много людей. Председатель Союза писателей, главный редактор «Новостей», старик Рабинович... Помнят батю.

Эти редкие проблески абсолютной честности в Димоне я очень любила: как драгоценные крупички среди пустой породы, они смиряли с тяжелыми горными перевалами его характера.



Новый диван Ирэне, по моей усиленной просьбе, Димон все-таки успел купить. Пожалел ли он после смерти Ирэны затраченных на него денег? На эту тему мы с ним никогда больше не говорили.

На удобном новом диване теперь спала домработница. Она приехала из Молдавии. Своего жилья в России у нее пока не было.

Ирэна деликатно уступила ей свое место.

* * *

Но ведь имелись свои призрачные проекции и у меня.

Очень старый фильм «Город мастеров» с Марианной Вертинской в главной роли мы посмотрели с маленькой Аришкой на видео. И два мужских образа оттуда — романтического горбуна дворника, которого потом распрямляет его любовь, и второго горбуна, злого герцога, а его ждет смерть, — точно связались у меня с Димоном, ведь я действительно как бы распрямила его. И таким он был всю первую половину нашего брака, до приобретения второй квартиры (которая в перспективе предназначалась дочке), до окончания строительства в деревне (там построили еще и гостевой дом на десять комнат, чтобы сдавать внаем) и до шуршания на его банковской карте настоящих денег, — благородным и добрым.

Когда он купил себе новый черный «кадиллак», что-то в моей душе тревожно дрогнуло. А стоило мне прочитать его сообщение из деревни, в котором он с гордостью упомянул гибэдэдэшников, которые с почтением теперь пропускают его, даже если он нарушает правила, — в моем сознании прозвучало: «Дорогу герцогу де Маликорну!»

Но все ж таки, в отличие от Димона, я понимала и вычленяла образы, во власть которых попадали мои чувства. От некоторых я легко освобождалась, другие строили мне ловушки, но, даже очутившись ногой в капкане, я могла точно сказать — почему и как такое могло произойти. Он же попадал в ловушки как человек с завязанными глазами.

Думаю, что мой более продвинутый уровень в понимании собственного подсознания являлся следствием не моих личных интеллектуально-интуитивных заслуг: просто предки Димона бийские казаки — открывали новые земли, захватывали, охраняли, воевали, крестьянствовали, а купец — приобретал и торговал, мои же предки в то же самое время учились — кто горному делу, кто инженерному, кто истории и филологии, кто математике. По одной линии тоже имелся небедный купец с двумя маленькими фабриками, но он не был ни благородным меценатом, финансирующим искусство или науку, ни просто хорошим человеком — он проклял свою дочь, мою прапрабабушку, за неравный брак: она против воли родителей вышла в 1873 году замуж за сироту — горного кандидата, с точки зрения богатого ее отца, почти нищего, который и жилье-то снимал, а своего ничего не имел.

Прапрабабушка порвала все связи с родственниками; дети ее и рано умершего мужа получили высшее образование, а внуки ушли в науку. То есть наш купец как положительная и одобряемая модель был вычеркнут из генетической памяти нескольких родовых линий. Смена курса страны в моей душе ничего изменить не могла. Мой отец, умерший через

год после Ирэны, даже не мог вспомнить его имя. А прадед Димона, наоборот, теперь был возведен в короли.

Портрет нищего философа был уже почти стерт, и поверх исчезающего изображения время нанесло новое лицо — героя нашего времени.

* * *

Чего ждать от такой Димоновой метаморфозы, я поняла быстро: внимательная к чужим биографиям, к истории рода моего мужа я, конечно, отнеслась с особым вниманием. У купца Белкиса был при живой жене роман с женщиной — счетоводом его конторы, потом он бросил жену... Почему-то Ирэне помнилось, что предшествовала измене торговля шкурками кроликов.

Но концовки новой пьесы я все-таки не угадала. И торговлю кроликами на сорока сотках возле нашего деревенского дома начал не Димон.

Между прочим, с кроликами у Димона было связано первое горькое переживание детства. Когда ему было лет десять, у него обнаружилась предрасположенность к туберкулезу и, поскольку туберкулезом долго болел его отец, отчего не попал на фронт в сороковые роковые, ослабленного ребенка определили сразу же в загородный туберкулезный санаторий. Там он пробыл недолго; у него неделю держалась высокая температура — так он отреагировал на разлуку с матерью, и она, приехав, его забрала, решив, что лучше снимут они с отцом дом в деревне и заведут хозяйство, огород, куриц и козу, ведь полноценное питание при чахотке — это самое главное.

Так и сделали.

Почти два года провели все вместе в области; дом сняли очень недорого, причем сразу с хозяйством: старики хозяева умерли один за другим, дед пережил на четыре месяца свою старушку, а сыну, живущему в городе, было пока не до сельского дома — он делал партийную карьеру. Какой-то общий знакомый Сапожникова с ним и договорился.

Дом был крепкий, хотя и небольшой.

Димона определили в сельскую школу, где он ощутил себя принцем. Еще бы — городской! Из другого мира. А когда учительница литературы прочитала детям на уроке только что опубликованное в газете стихотворение его отца (Сапожников, как многие писатели, начинал со стихов), ореол недоступного другим избранничества расцвел над ним — и в этой ауре он проходил два года.

В городской школе его быстро поставили на место, и хотя и там его отец считался человеком весьма уважаемым, но в классе были дети и других подобных родителей: у одного отец возглавлял кафедру в мединституте, у другого только что вернулся из Африки — городская школа была с углубленным изучением английского языка, куда в то время попадали только по родительскому статусу или по блату. Было такое слово в советскую эпоху. Сейчас оно заменилось «вступительным взносом»...

Кроме нескольких курочек, чьи яйца Димон ел в обязательном порядке на завтрак, двух коз, молоко которых Ирэна считала (и справед-

ливо) очень полезным и даже целебным, в сарае при доме жил одинокий кролик.

Димон, которому почему-то не разрешали приводить в дом деревенских детей, с ним играл и очень его полюбил. Причину, по которой Димона держали вдалеке от сельских детишек, сам Димон, рассказывая мне о детстве, определил смутно, он сам не знал точно: то ли Ирэна считала, что маленькие сельчане грубой лексикой и ранним знакомством с натуралистической стороной жизни запачкают чистую душу сына, то ли просто детский шум мешал Сапожникову писать. Так или иначе, но играл Димон только с кроликом.

От хорошего питания, свежего воздуха и ощущения себя лучшим все следы туберкулеза у Димона исчезли — он окреп, подрос и, наконец, пристрастился к чтению. Для Димона, как, впрочем, и для многих мужчин, всю жизнь питание стояло на первом месте. Он мог легко поехать на обед к человеку, который его недолюбливал, — почему-то на потребности Димонova желудка мистика не распространялась. Как можно принимать угощение от человека к тебе недоброжелательного, как-то спросила я, по моему, такая пища, приготовленная и предложенная без добрых чувств, просто вредна. Глупости, сказал Димон раздраженно, помолится мысленно — и ничто дурное к еде не пристанет. Ты супы не любишь, а я люблю, прибавил он, и хоть твоя Юлька выносить меня больше пяти минут не может, готовит она их отменно.

И тогда, в тот горький день детства, суп Димону очень понравился, он попросил добавки и, наевшись, выбежал во двор. Но вскоре вернулся.

— Мама, а где кролик? — спросил он с порога тревожно. — Я его не нашел.

Отец сидел за столом, обедая. Его сгорбленная спина оставалась неподвижной. Мать не ответила, поднося мужу хлеб.

Димон снова ушел во двор, обшарил сарай, где обычно обитал кролик и на сене еще оставалась милая вмятинка от его тела, зашел даже в туалет — деревянную будку с кривой дверью, исследовал и курятник, где сидели пестрые глупые несушки (Димон кур не любил: их перо вызывало у него аллергическую сыпь).

Кролика нигде не было.

— Я не нашел его! — войдя в дом, уже чуть не плача, крикнул он матери.

Ирэна снова не ответила.

Но отец, отодвинув пустую тарелку, белую, глубокую, с синим ободком, повернул к Димону свое очкастое серое одутловатое лицо и сказал спокойно:

— Ты съел суп из своего кролика. А я доел.

— Вот так мой суровый батя учил меня честности, — завершая рассказ, сказал Димон.

Или жестокости, подумала я. Но промолчала.

И тут же поняла, почему Димон всегда лжет.

Мою единственную подругу Юльку, с которой мы учились в институте, Димон выгнал из нашего дома как раз за правду. Юлька постоянно нигде не работала, а, как фрилансер, жила от заказа к заказу. И когда в очередной раз она оказалась без денег, Димон попросил ее временно побыть его курьером, и она пару раз свозила документы ООО в нужные инстанции, а потом к мужу его дочери от первой жены: двадцатилетней та вышла замуж за бизнесмена с большими деньгами и, разумеется, много старше ее. Впрочем, для нее это был удачный вариант. С фото на экране компьютера уставилась на меня молодая женщина, похожая на хитрую продавщицу овощной палатки, но тщательно ухоженную за большие деньги в дорогих салонах красоты. Ее бриллиантовые серьги, увеличенные монитором, победно сверкали.

И вот, съездив с каким-то поручением в семью дочери Димона, Юлька, вернувшись и только сняв плащ в прихожей, выпалила гневно:

— А ты, Димка, оказывается, с двойным дном! Почему ты до сих пор не сказал твоей дочери и ее мужу о семье и об Аришке? Они просили тебе передать, что, поскольку ты одинок, можешь жить у них в освободившейся двухкомнатной квартире. Они переехали в стометровую. — Юлька посмотрела на меня со значением: вот, мол, богачи.

Лицо Димона запылало, как пионерский галстук, которым он когда-то гордился, ты, по дурости вашей бабьей, все перепутала, заорал он, ничего я им такого не говорил, я им вообще никогда ничего не говорю, я сам давно хотел их с Аришкой свести, но боюсь, что жена будет против. И с моей внучкой Аришка бы играла.

— Ты была бы против? — удивилась подруга.

— Нет, конечно. Я давно его прошу нас всех познакомить.

— Она только на словах не против! А так... — Димон хмыкнул. — Бабка ее какую-нибудь порчу на мою внучку наведет!

— Что за чушь! — Юлия возмутилась. — Бабушки давно нет, и вообще...

Меня неприятно поразило, что, говоря обо мне, он употребил третье лицо, а мою бабушку, которую при жизни встречал и провожал с большим почтением, назвал «бабкой». Но чуть позже я догадалась: она по-прежнему была для него живой, однако подпадала теперь под графу «пенсионеры», а к пенсионерам Димон стал относиться — вслед за властью, определяющей пенсионный возраст как возраст доживания, а их самих как социальный балласт, — с пренебрежением. И на всех стариков, живых или мертвых, он автоматически переносил это уничижительное отношение.

— ...и вообще, совести у тебя нет, Димка, Антонина Плутарховна всем, кому могла только, помогала, мне помогла, матери моей, она была сочувствующая, а ты... — Юлька расширила глаза, точно еще сильнее удивившись, — ты ведь, как бизнесом занялся, Димка, просто каким-то мерзавцем стал... Я не хотела говорить, но видела тебя с твоей новой девкой...

— Это моя сотрудница, а не девка!

Больше Юля при Димоне в нашей городской квартире не бывала. Они поссорились навсегда. А мы с ней так же продолжали дружить, и я любила, когда с веселой улыбкой она сидит в моей кухне и мы пьем чай с клубничным вареньем, которое она сама же и принесла. Варенье она варила классное.

Большую часть времени Димон теперь предпочитал жить в деревне, уверенный, что дух бывшего хозяина, и точно, его там хранит от вредоносного воздействия моей бабушки *через* меня. Человек видит в другом человеке отражение своих мыслей, и если у него самого мысли опасные, то по принципу зеркального отражения начинает этого другого бояться. Так и Димон.

— Он хочет быть крут и жениться на молодой, — как-то сказала мне Юлька. — Помнишь фильм про гнусного вдовца? Ну, ты еще говорила, он его ставил раз десять. Лучше разведись с ним поскорее!

— Он против развода. И почему вдовец в фильме гнусный? Обычный.

— Ну... — Юлька подула на свою челку, и челка распушилась, точно усы ее любимого кота Матроскина, — гнусный, конечно, кто-то другой...

— Развода он категорически не хочет: он же собственник, для него катастрофа — делить все пополам. К тому же Аришке нет еще восемнадцати, и мы должны получить с ней три четверти. Или две трети — посчитай за меня.

— Ну да, — сказала Юлька, — а вдовцу досталось бы все...

— Не нагоняй мрака!

* * *

Димон теперь никогда не приезжал в наш городской дом без предупреждения. Кстати, это меня озадачивало. Возможно, он как бы страховался от внезапных моих приездов, которых не сильно желал? Но каждое лето Димон по-прежнему брал к себе Аришку. Обычно он отвозил ее сам — с вещами, игрушками, собакой (у нас был смешной и милый пекинес). Но когда Аришке исполнилось пятнадцать, сообщил, что в деревне у него дела и, если хочет, пусть приезжает сама. Я в деревню к нему ездить перестала. Но что было делать? Дочери нужно летом хорошее питание и свежий, не отравленный бензиновыми и прочими городскими парами приокский воздух.

И мы приехали без предупреждения.

Никогда не забуду тот день.

От автостанции до деревни курсировал облезлый автобус, стояла жара, в автобусе были открыты все окна, и травяной оркестр народных инструментов, расположившийся по обеим сторонам дороги, исполнял обожаемую мной музыкальную поэму луговых запахов: горчица домра полыни, сладко наигрывали балалайки клевера, добавлял странного звучания рожок пижмы, раскидисто подыгрывал аккордеон всех цветов сразу...

Димон не ждал нас.

Я прошла в дом, и он вышел мне навстречу.

Кто бы в этом коренастом, слегка склонном к полноте, невысоком, но красивом мужчине с легкой сединой в интеллигентской бородке, в очках с дорогой золотой оправой узнал того парня, чья темно-рыжая штанина брюк волочилась по асфальту, а в старом рюкзаке постукивали друг о друга, как тарелки в оркестре, две банки самых дешевых консервов?

— Арину привезла? — спросил Димон без всякой радости в голосе.

— Да. Оставляю ее и уеду. Автобус скоро.

И тут в дом ворвалась Арина.

— Здесь не останусь! — закричала она. — Иди, ма, посмотри, какие объявления на его магазине!

Легкая рябь смущения пробежала по лицу Димона.

— Попросили, вот я и написал. — Он вышел за нами следом. — Хозяин кроликов попросил. Ты, говорит, писатель, вот и напиши.

В деревне уже третий год работал продуктовый магазинчик, оформленный на Димона. Всю собственность мы оформляли только на него. Я не возражала.

— Смотри! — Арину трясло от негодования.

На темно-синей двери магазина висело объявление: «Убиваем кроликов прямо при вас и продаем свежее мясо».

— Я же тебе говорил, что уступил часть участка мужику: он кроликов разводит для продажи. А вот он и сам. Познакомьтесь. (Высокий мужчина с крохотной головой, но длинными крепкими ногами, вглядываясь в нас с Аришкой хитрыми быстрыми глазами, уже подходил к нам.) Супруга вот дочку привезла: она восьмой закончила, в следующем году ГИА, нужно отдохнуть как следует, витаминов набраться прямо с огорода.

Димон третий год был одержим идеей экологически чистых продуктов: ел только выращенное в деревне, пил только воду из колодца, яйца несли его личные куры, молоко давали собственные козы, а мясо заготавливал ему кроликовод Геннадий (он назвал свое имя), у которого кроме кроликов было две коровы и телята... Димон предпочитал телятину и, как признался мне сам, платил за нее не скупясь.

А мы с Аришкой мало того что ели все из городских магазинов, но еще и стали убежденными вегетарианками.

— Я не останусь у тебя, — повторила она, сердито глянув в сторону участка, где виднелись два ряда клеток.

— А глянуть на живых кроликов можно? — спросила я.

— Отчего нет?

Геннадий повел нас с Аришкой к той калитке, что вела на отгороженную для его хозяйства дальнюю часть участка. Впечатление он произвел на меня пренеприятное. Ему было уже далеко за сорок, но при ходьбе он как-то по-блатному подергивался, точно вороватый подросток. А лицо его искажал небольшой шрам.

Бандитская рожа, шепнула мне Аришка, когда он, обогнав нас на несколько шагов, уже открывал калитку.

Очаровательные кролики, маленькие и большие, белые и коричневые, в пятнышках и однотонные, глядели на меня и Аришку из клеток своими милыми глазами.

— Какие чудные! — восхитилась Арина.

Возле клеток сутились два работника-узбека. Геннадий посмотрел на меня вопросительно. Возможно, он ждал, что мы попросим какого-нибудь кролика на мясо. Именно затем нас сюда и привел.

— А для чего вы их разводите? — спросила Ариша. — Неужели всех для еды?

— Почему для еда, — сказал молодой узбек, — шуба делать.

— Но ведь, насколько я знаю, шкуры сдирают с живых животных. — Я смотрела на второго узбека, который казался более симпатичным и чувствительным, чем первый, и в моем вопросе угадал осуждение.

— Иначе шкурка испортить, — ответил первый.

А второй грустно кивнул и отвернулся.

— Жуть, — сказала Арина, — у него на участке сдирают шкуры с живых кроликов, они кричат, плачут от боли, умирают в ужасных муках, а он в это время пишет свои порнороманы. Поехали!

Мы уехали, не заходя в дом и не простившись с Димонем. Я только кинула ему эсэмэску: «Ариша не осталась. Мы уже в автобусе». — «Как хотите», — ответил он.

Оркестр трав уже замолк, и только прохладный ветерок отчуждения догнал автобус.

Но Арина знала не все: пока Геннадий хозяйничал, Димон не только писал романы от женского лица, но и приобщал к эротике дочь Геннадия — двадцатилетнюю Люсю. С молчаливого согласия ее отца. Это был их с Димонем бартер. Тот ему — дочь, Димон ему — деньги на развитие кроличьего бизнеса и часть участка.

Нет, они, разумеется, так трезво и жестко условий не обговаривали — просто однажды Геннадий заехал со своей дочкой к новому знакомому. Люся была хорошенькой.

— В нее все влюбляются, — криво улыбаясь, сообщил Димону кроликовод, — ты, это, смотри, ведь ее много старше, в отцы годишься. Я уже устал от ее парней... Но я сейчас на мели, ведь мы беженцы, из Казахстана, там жить стало невозможно... У меня кроме Люси еще двое, всех надо кормить, одевать, сам понимаешь. Она старшая. И сейчас без работы. Окончила училище, на повара училась.

Весь этот разговор Димон потом вставил в свой роман, написанный от лица женщины и рассказывающий в форме дневника о страстной любви «человека из среды искусства» к девушке с менталитетом пэтэушницы. Отрывки он публиковал в своем «Живом журнале», где признавался в любви к певице Пелагее, телеведущей-режиссеру Авдотье Смирновой и тут же излагал историю своей любви к пэтэушнице Люсе.

Психологический эксгибиционизм доставлял Димону удовольствие: пусть такая, но все-таки известность.

Поэтому я знала об их отношениях все.

* * *

Но впервые я узнала о Люсе не из «Живого журнала», который вел Димон, а из собственного сна.

О том, что мы все: я, Аришка и моя подруга — читаем его «любовнические записки», он так и не догадался. Не сговариваясь, мы об этом молчали. Даже Аришка, хотя ее так и подмывало прикольнонуться над отцом, ввернув ему его же собственную фразочку, проявила здесь поразительную стойкость.

Но еще до открытия мужниной исповеди в Интернете мне пришло, что Димон вводит в наш загородный дом девушку, они с ней приостанавливаются на пороге и он, внимательно поглядев на ее профиль, думает: «Чем-то похожи, но жена в двадцать лет была все-таки изящнее, тоньше». Похожи мы с ней были только цветом волос и чуть вздернутыми носами. Я светлая шатенка, она еще светлее, но уже не без химии.

Когда приехал Димон в город, я, уловив момент, когда Аришки рядом не было, сказала: и что за девушку ты ввел в дом?

— Кто донес?! — испугался Димон. — Все врут.

— Мои сны всегда точно показывают что есть, так что никто ничего не доносил. Как зовут?

— Люся.

— Откуда?

— Беженцы из Казахстана. Девушка чудо как хороша. Вокруг нее весь местный молодняк... У нее жених в армии.

— Она у тебя живет?

— Ну... — Димон замялся. — Она мне готовит, убирает...

То есть реклама кролиководы Геннадия сработала. Он получил деньги, а Димон — Люсю. Она стала готовить ему и убирать, а он эротически томиться и потихоньку ее совращать. В ЖЖ Димон написал, что лишил ее девственности: этот пост его был полон стенаний и сожалений об ушедшей юности, о современном распутстве и в итоге об утраченной девственности бытия.

Несмотря на неприятный факт близости собственного мужа с двадцатилетней Люсей, то, как Димон философски перешел от частного к общему, мне понравилось.

А Юлька, тоже читающая дневник Димона, едко съязвила:

— Это еще кто кого, знаешь анекдот про лису, которая себе девственность с помощью ежика возвращала? Уверена, не он первый ее этого сокровища лишил.

С той поры Димон окончательно осел в деревне и в городе проводил всего по несколько часов в неделю.

И вообще перестал ночевать дома.

Но по-прежнему не упускал случая устроить для общих знакомых какой-нибудь «перформанс» на тему: какой я бедный, потому что мне досталась ужасная жена. Правда, общих знакомых у нас было немного: мы как-то разделили свои области дружбы. Но вполне хватало двух жен, чтобы одна из них, позвонив мне, сообщила о какой-нибудь очередной моей отрицательной черте.

Димон обожал рыться в мусорном ведре. Ему нравилось извлекать оттуда выброшенный мной предмет или остатки еды, доказывающие

мою неэкономность, бесхозяйственность и легкомысленное отношение к деньгам.

Как-то он извлек свои же рваные носки, устроил скандал, надел носки и, сев в «кадиллак», поехал на день рождения к своему закадычному другу. Вы думаете, в доме не было целых? Да пар двадцать, не меньше! И конечно, назавтра мне позвонила приятельница жены его друга и рассказала, как бы с юмором, что Димон весь вечер демонстрировал гостям свои рваные носки и все жены обсуждали, какая плохая супруга ему досталась. Его жалели. Ему сочувствовали. Меня, разумеется, осуждали.

Но меня все это только смешило.

Димон был в своем репертуаре: он ведь актер, думала я, и привлечь к себе внимание любой ценой вполне в его характере. И пусть.

* * *

Но моя Юлька Димона возненавидела. Иначе как «твой старый козел» она его не называла.

Девушка, которую она видела с ним, была не кто иная, как Люся. Если в главной нашей с ним пьесе я была Мирандой, а он Клеггом, то в пьесе с ней он ощутил себя всемогущим Пигмалионом, человеком из гораздо более высокой среды, причем богатым (на фоне семьи беженцев), с крепкой загородной усадьбой, крутой тачкой и прочая, прочая, прочая...

— Смазливая, вульгарная девка, — сказала Юля. — Когда вы только поженились, я была о Диме лучшего мнения, но он так упал в моих глазах, что вызывает отрыжку. Он ничтожество с гигантскими амбициями!

— Ты не права, — возразила я. — Он интересный человек. И не бездарный. И внешне Люся вполне: роскошная блондинка.

— Правда, в ущерб своей здоровой природной красоте скопировавшая в качестве обложки стиль гламур, то есть вся такая блестящая и сиренево-розовая. Тьфу, как тупо!

Но личико у нее было и правда хорошенькое: Аришка залезла в почту Димона и показала мне фото. А фигура крепкой деревенской девки — по контрасту с моей subtilностью и плохим зрением — это для стареющего Димона было что надо.

И даже Димонова главная триада «красота — социальный статус — родословная» присутствовала, правда, в несколько измененном виде. То есть главная ценность — красота — была, как считал Димон, при ней, а социальный статус заменяла молодость. И с родословной все обстояло вполне: среди родни Люси обнаружилась советская кинозвезда. Геннадий и здесь не промахнулся с пиаром, сообщив, что его жена — двоюродная племянница знаменитой актрисы, кумира молодежи восьмидесятых годов прошлого столетия. И Димона в том числе.

В это слабо верилось. Но, впрочем, какая разница? Ведь главное, что поверил Димон.

Он был готов жениться.

И написал мне в сообщении, что это «фатум»: на него обрушилась «огромная любовь».

Во мне боролись два чувства, причем совершенно противоположные: некоторая горечь отвергнутой женщины и привкус счастья от замаячившего впереди освобождения — Люся разведет нас с Димонем и я наконец вырвусь из лабиринта его витально опасного для меня воображения.

Я ответила в сообщении, что готова сразу дать ему развод.

Подай в суд, написал он, отстегну вам с Аришкой что по закону.

Я удивилась: может быть, к Димону и в самом деле пришла последняя любовь и он готов ради нее на все?! Суд обязан разделить нашу собственность, и мы с Аришкой должны получить пусть не так много, но вполне достаточно для начала ее самостоятельной жизни и для моего творчества.

В общем, Люсю я, несмотря на полынную горечь от очередного мужского предательства, восприняла как *спасение*.

Он стал обучать ее английскому и к тому же игре на фортепьяно: Димон ведь окончил музыкальную школу. И пообещал вывести ее в свет и сделать звездой. Для модели она была тяжеловата, и в какой сфере Димон собирался зажечь сверхновую, я так и не узнала. Но, увы, он наткнулся на два неожиданных и непреодолимых препятствия: Люся вовсе не желала учиться и не желала выходить замуж за старика.

— Так чего же она хочет?! — негодовала Юлька.

— Я поняла, чего хочет она и ее родители.

— И?..

— О, это очень познавательно с точки зрения того, как влияет кино на далеких от искусства людей! Ты помнишь обожаемый Димонем фильм про вдовца, который женился на юной медсестре? Фильм просто зомбировал Димона! Но и родители Люси, кроликовод Геннадий и его помощница Светлана, попали под гипнотическое воздействие фильма — другого, но по содержанию с этой мелодрамой перекликающегося. В нем рассказывалось о любви богатого одинокого холостяка к юной красотке. Старик заболевает и перед смертью завещает все, чем владел, своей последней любви — этой девушке.

Люся сама об этом и рассказала Димону. А он все дословно записал и опубликовал в своем «Живом журнале».

— То есть твой козел и здесь наврал, — возмутилась Юлька, — и для первой жены и старшей дочери он как бы все эти годы одинок, и для семьи кроликоведа старый холостяк!

— Актер!

— Брачный аферист.

Аришка записи отца о его великой любви к Люсе назвала «жутким нытьем»: как я несчастлив, передразнивала она слог Димона, что Люся не хочет учиться и употребляет матерную лексику, как мне отучить ее жевать резинки в публичных местах и так далее.

— Всем врет, что одинок!

— Юля, — сказала я, улыбнувшись, — ну кто бы на него из двадцатилетних клюнул, если бы не надеялся на его собственность? Это же закон современной жизни: у него деньги или слава, желательно, конечно, то и другое, а у нее молодость. Они молодостью и красотой торгуют и должны быть уверены, что покупатель платежеспособен. А если у него имеется жена, значит, при разводе придется все делить, а главное, не факт, что развод состоится... Потому я думаю, что он абсолютно всем своим приятельницам все годы нашего брака выдавал себя за одинокого мужика. Причем несчастного. Такой вот враль.

— И она еще улыбается!

— А тем, кто меня хоть немного знает, лжет, что мы с ним давно не живем. Иначе бы его осуждали за постоянный блуд, а так его распутство как бы вынужденное. Не забывай, что Димон воспитан в советские годы как «пионер всем ребятам пример».

— Его ложь — это просто жуть. И эта Люся — кошмар. Ведь абсолютно тупая.

— Зато какое тело.

— Вас даже сравнивать нельзя — как параплан с мешком!

— И вообще, вечная ложь — это его защита. — Я вспомнила рассказ о съеденном любимом кролике. — Правда для него невыносима.

— И какая же правда для него невыносима? Что он пустое место?

— Он не пустое место.

— Он жадный и лживый тип. Да еще и прелюбодей. Как ты вообще могла выйти за него замуж?! Лучше быть одинокой, чем жить с таким гэ. Он мер-за-вец! Так что твой развод я только приветствую. Я вот живу одна — и ничего. Не страдаю.

— Я его любила. Понимаешь, мне, видимо, по жизни просто нравится превращать лягушек в королей. Тоже вид живописи, только жизненной... И наверное, и сейчас на дне моей души еще что-то к нему осталось...

— Знаешь, — вдруг тихо сказала Юлька, — ты идеалистка, оторванная от реальности, и я за тебя боюсь. Как бы этой жуткой семейке кролиководы не захотелось от жены избавиться другим путем, сохранив всю собственность потенциальному дарителю. Ты прочитала, что твой супруг сообщил о ее семейке: папаша судим.

— Судим?

— Ты, конечно, со своими отлетами главную информацию пропустила. Потому что тебе не хочется признать правду — у твоего Димона все пошлость и тупость: и вкус, и ценности, и его бульварная любовь.

* * *

Разговор с Юлькой напомнил мне об одной встрече. Лет в тринадцать я иногда по вечерам по просьбе бабушки бегала в универсам за хлебом и несколько раз встречала там удивительно красивую женщину. Мне и в голову не приходило тогда размышлять о ее возрасте: да, она была не молода, за пятьдесят, а возможно, даже и старше, но лицо ее было так красиво, что, стоило мне закрыть глаза, оно возникало на моем внутреннем экране, вызывая в который раз удивление и восхищение.

Димон бы никогда не обратил на эту женщину никакого внимания: едва он достиг того возраста, который в народе емко обозначен как «седи-на в бороду», красота и молодость стали для него синонимами.

Удивительную красавицу из универсама мне суждено было увидеть еще раз в связи с тем, что обретение овдовевшего отца приоткрыло и некоторые семейные тайны.

Бабушка Антонина Плутарховна моего отца терпеть не могла, считая пустым местом, распутником и лжецом. Улавливаете параллели? Ведь в Юлькиной характеристике Димона все это случайно отразилось, вызвав во мне саднящее и очень неприятное ощущение зеркальной несвободы от семейных и родовых образов. На самом-то деле бабушка моя была пристрастна и в ее характеристике только одна черта названа верно: мой отец был женолюб. Но скорее по несчастью, чем по призванию, ведь его развели с любимой женой тещи и свекровь. Мать женила его на дочери своей знакомой — экономисте и, не тем будь помянута, дуре из дур. Возможно, знай моя бабушка семейные тайны отцовского рода, зять вырос бы в ее глазах. Но она умерла раньше.

Несмотря на ее поразительную интуицию, граничащую с ясновидением, никакого впечатления мой рассказ о женщине из универсама на бабушку не произвел. Впрочем, в этом могла быть виновата ее неосознанная установка: считая себя некрасивой, бабушка пропускала, как песок сквозь сито внимания, даже упоминания о красивых женщинах.

Первая тайна отцовского рода касалась его деда, участника революционного движения и даже знакомого с Лениным, но до главной революции не дожившего. Правда, в Музее революции — на коллективном фото, рядом с великими соратниками, — дед присутствует до сих пор.

Бабушка всех революционеров называла разбойниками, а про Ленина говорила так: «Никто его собрания сочинений не прочитал, а там через каждую страницу “расстрелять” или “повесить”». Разумеется, выносить ее мнение за пределы стен наших двух комнат строго запрещалось.

Так что мой прадедушка подпадал под ту же графу — разбойников с большой дороги. Но оказалось, что на эту сомнительную стезю его привела существенная причина, вполне апологетическая: его революционная деятельность была движима идеей возмездия. О мести В. И. Ленина за казнь его брата Александра как возможной и глубоко личной причине его маниакального стремления развалить царскую Россию и погубить (казнить!) царя писали достаточно, повторять не стану. Упомянула об этом из-за параллельного сюжета, правда, мой прадед развалил не страну, а едва не погубил свою собственную жизнь: ему поручили убрать какого-то политического противника, он отказался, был подвергнут партийному суду и выпал из партии большевиков. Все черные тридцатые годы он провел на Крайнем Севере — куда ссылали. А он там прятался. Ведь вышибленному из партии грозил расстрел. Но я о другом. О лирике. Параллельный сюжет заключался в том, что любимая девушка прадеда, бывшая питерская гимназистка, вслед за своим старшим братом в девятнадцатилетнем возрасте вступила в партию большевиков, через

три месяца была арестована и вскоре умерла в тюрьме при непонятных обстоятельствах.

Бабушка моя любила трагические истории любви и, конечно, узнав такие подробности из жизни моего прадеда, не только бы простила его, но и наделила бы романтическим ореолом.

Вторая приоткрывшаяся семейная тайна была социально престижной: во Франции обнаружилась двоюродная сестра моего отца. А вот ее родная сестра, то есть вторая отцовская кузина, проживала в России... на соседней кленовой улице — через несколько домов от моего собственного.

И отец предложил меня с ней познакомиться.

— Посмотришь парижские фотографии, — сказал он.

Больше он ничего не добавил и ничего не стал объяснять. Был ли он со своими сестрами знаком с детства и почему я узнала о них не сразу — так и осталось в темноте прошлого, не высвеченное карманным фонариком или светом монитора.

* * *

Хотя расстояние до нужного места было всего лишь с полквартиры, мы доехали на машине. Мой отец почти не ходил пешком из-за травмы позвоночника. И здесь ассоциация с Димоном, его нелюбовью к пешей ходьбе и постоянным передвижением только на колесах, конечно, отчетлива, что скрывать... О проекции! Вы везде.

Сталинские тяжелые темно-серые дома — такова была вся соседняя с моей улица, и в таком дворе, закрытом кирпичными стенами с трех сторон, мы и припарковались.

Домофон был сломан, дверь подъезда открыта.

Старый лифт гремел.

Возле двухметровой двери лежал коврик с изображением мопса.

Отец неловко вытер о коврик ноги — и мопс скривился.

Открыла дверь носатая женщина лет сорока. И очень хорошо улыбнулась. И улыбка вдруг сделала ее очень привлекательной: большие, чуть навыкате, глаза осветились светом ироничного и доброго ума. Я догадалась, что это моя троюродная сестра: ее отцом был популярный когда-то актер, давно умерший, но сначала бросивший ее мать и сразу исчезнувший из жизни дочери. Все это она зачем-то рассказала нам, показывая семейный альбом, в котором имелась одна открытка с его изображением: он был сфотографирован в костюме Цезаря, а некоторые фотографии были те же, что в альбоме отца, потом доставшемся мне вместо отцовской дорогой дачи, гаражей и машины — все это справедливо ушло родне его жены, я даже не подала заявления на получение наследства, ведь мне отец подарил квартиру...

Она говорила долго, подробно описывая каждый фотоснимок. А ее мать сидела в соседней комнате и ждала нас.

Наконец альбом был просмотрен, и мы прошли между приоткрытых белых высоких деревянных створок в комнату, как бы служившую гостиной. В кресле у стола с журналом в руках сидела та самая красавица, которую я, тринадцатилетняя, встречала по вечерам в универсаме.

Теперь я была тридцатилетней. А ее вполне можно было назвать старой. Но не назвать ее по-прежнему очень красивой было невозможно.

Игра числительных была отмечена краем моего сознания: время точно подмигнуло мне, открыв с помощью всего лишь одного игрового хода вневременной закон подлинной красоты и тут же из моей жизни удалив навсегда — мать и дочь, их большую квартиру с высокими потолками и шлейфом подрагивающих пылинок, пересекающих комнату, где сидела женщина, теперь старуха, снова поразившая меня своим лицом: черты его остались теми же, они словно были вылеплены из глины, которая начала обсыпаться, но вдруг затвердела — уже навечно.

Отец мне потом сообщил мельком, что они переехали в Казань. Почему и к кому, он не знал, да, в общем, причины внезапной перемены их жизни и местожительства его не сильно интересовали: он второй год заливал коньяком страх смерти, которую предчувствовал...

И даже в этом Димон отражал в чуть искривленном зеркале некоторые черты моего отца.

* * *

Но мальчик со сросшимися бровями — моя первая любовь — не подходил ни на кого из моих родственников, вообще ни на кого. Его лицо проступило со дна какого-то освещенного чувством и ставшего прозрачным водоема генетической памяти, чтобы, всплыв, погрузиться в него обратно, не вызвав из глубины ни одного своего отражения.

Вспыхнули и погасли только пузыри на воде, только пузыри... В них сверкнули какие-то чужие призрачные лица: девочка, на которую он меня променял, потом его жена с коляской, потом он сам, тоже совершенно уже чужой, с одутловатыми щеками пьющего...

И все исчезло. Его сгубил алкоголь. Но, видимо, перед смертью он вспомнил меня, потому что его лицо — не взрослое, опухшее, а то, полудетское, кареглазое и смеющееся, — вдруг еще раз всплыло со дна озера, поднялось над ним точно воздушный шар, отразившись в воде, и, сделав круг, сверкнув, распалось на брызги и капли.

Исчезло навсегда.

О, сколько лиц исчезает навсегда, только промелькнув в наших судьбах — зачем?

После встречи с красивой женщиной из моего детства, внезапно оказавшейся моей родственницей, меня стал занимать вопрос: прохожие, которых я часто встречаю на своей улице и чьи черты, хотя мы незнакомы, становятся узнаваемыми, случайно ли появились в моей жизни? Или и за ними тянется какой-то тонкий и уже почти невидимый след, который может привести нас в далекое прошлое, в наши давно промелькнувшие жизни, где мы с ними встречались? Или это отсветы генетической памяти и чем-то связаны с ними в их прошлых судьбах были не мы, а наши прапрадеды или прапрабабушки?

Или, задавала я себе вопрос в аэропорту, почему именно этих людей собрала судьба и соединила со мной на четыре часа или на восемь часов в одном самолете?

А может быть, проекции — это всего лишь подсказки судьбы? И освободиться от них означает стереть свою судьбу, превратив ее в чистую белую страницу, которая останется одинокой среди других страниц, заполненных изображениями и словами? И не счастье свободы она принесет, не погружение в нирвану, а всего лишь чувство вселенской пустоты?

Может быть, так и устроен мир, что мы плетем наши судьбы из чужих картинок, для облегчения плетения пользуясь проекциями, — и, как ни странно, получаем свою, ни на кого не похожую гирлянду листьев-лиц?..

* * *

Юлькина неприязнь к Димону имела под собой и кое-что еще: у Димона с ней была короткая связь во время его первого брака.

Я помнила об этом. И Юлька знала, что я помню. Но мы молчаливо условились на эту тему не говорить.

Дело в том, что свое первое образование она получила в хореографическом училище и некоторое время танцевала на сцене — сначала в кордебалете, а потом и ведущие партии. То есть принадлежала к самому ценному Димонем классу женщин — к балеринам. И наружность ее Димону подходила: очень хорошенькая Юлька была худенькой, много ниже его — я рядом с ней казалась гигантшей.

Но в пору его ухаживаний за ней мы с Димонем хоть и существовали где-то в поле зрения друг друга, но даже не приятельствовали.

Хотя его катания начались как раз с ней. И вовсе не носили такого просто дружеского характера, как наши с ним поездки по области, — нет, с Юлькой у него был, как выразилась она, рассказывая мне о нем как о своем новом любовнике, «балет в машине». Но кто исполнял с ней па-де-де, она сначала не назвала. Их короткая связь открылась мне случайно: сама Юлька позвонила и сообщила, что едет на гастроли во Владик и туда же едет ее вздыхатель.

— Который? — спросила я. — У тебя их много.

— С которым па-де-де в машине, — засмеялась она.

А за день до этого я встретила в редакции журнала, где иногда брала заказы как художник, Димона, который договаривался с главным редактором о командировке во Владивосток, чтобы написать о гастролях балетной труппы «Сфинкс», тогда очень популярной.

— Но для командировки заданьице маловато будет, — возражал главный, — про балет давай. И главное, обрисуй нам, что там во Владивостоке с выборами, историю города покопай, какую-нибудь купеческую династию найди... В общем, все, что сейчас хорошо идет. Ну и про цены для пипла не забудь. Тогда оплачу. А то едешь за балетной девкой и еще хочешь не на свои, а на мои, хитер осетр!

И я спросила прямо: с тобой едет Дима? Я его знаю. Обаятельный.

Возражать она не стала: Юлька не любила и не умела лгать.

Понимаешь, сказала она, мне как-то не очень нравится, что он все время о тебе говорит... Так вот почему она скрывала имя своего любовника, поняла я, интерес к мужчине перевесил женскую дружбу.

Их поездки закончились после возвращения балетной труппы с Дальнего Востока.

Мы наскучили друг другу, вот и все, сказала Юлька, я освободила сцену.

Сейчас она сама лихая автолюбительница, стройная женщина без возраста в легком свитерке, джинсах в обтяжку — но всегда в туфлях на высоких каблуках. Пройдя через анфиладу романов, она стала убежденной феминисткой, мужчину она теперь воспринимает как стрелок цель, а постель с ним — как борьбу за власть. Это ее собственное признание.

Однажды Юлька все-таки попыталась побывать без регистрации замужем — за сутулым лысоватым репортером, ставшим со временем обычным алкашом, пить он начал давно, и все три года семейной жизни Юлька от его загулов страдала. Но, в отличие от Димоновой Галки, вытацившей из запоев двух мужей, отлучить своего мужа от водки так и не сумела. И раз и навсегда сделала вывод: если побеждает мужчина — это для женщины кандалы неволи и страдания, если побеждает женщина (а себя она почему-то посчитала в сражении с супругом победительницей) — кандалы страдания и презрения.

И провозгласила свободу от любви к мужчине.

Может быть, и мне для того и дан был этот опыт, сказала она, чтобы я поняла: мне по судьбе любовь приносит только несчастье. И я должна сбросить эти вечные бабские иллюзии, глупые бабские надежды на идеал и на взаимную равную любовь.

Я — свободна от любви.

И мне хорошо.

— Ты давно сделала такой вывод о своей судьбе, а я только сейчас, — прибавила Юлька. — И не думай, что я всего лишь подражаю тебе!

* * *

Аришка только на словах воспринимала дневник Димона в «Живом журнале» легко: то иронизировала над его «сексуальным нытьем», то жестко высмеивала его вкус, стиль изложения и натуралистические детали, которыми Димон — не без некоторой установки на эпатаж — делился с пользователями Интернета.

На самом деле ей было это тяжело.

Ведь она его любила. Даже больше, чем меня. Так часто бывает: дочери выбирают отцов...

И он был ее авторитетом. На крутой машине. Генеральный директор ООО, твердивший ей с самого раннего детства, что он все делает для нее, его дочери, пусть она радуется жизни, ее будущее он обеспечит и так далее и тому подобное. В общем, в его обещаниях она была как в латах. Стрелы тяжелых жизненных векторов пробить их не могли. Но дочь была меня значительно трезвее и материалистичнее, несмотря на свой Гринпис и жалость к братьям нашим меньшим. Другое поколение, выросшее без того чувства социальной защищенности, которое все-таки было у нас в детские и юные советские годы. Правда, у нас все рухнуло. Но мы не сразу

это поняли. А поколение Аришки уже родилось в мире, где каждый сам за себя. И надеяться она могла только на Димона. И вдруг эта Люся! Аришка сразу учуяла опасность. И как-то странноотреагировала: иронизировала, осмеивала, носила фотку Люси в гимназию. Ей только исполнилось семнадцать, начиналась пора ЕГЭ, жуткого испытания для детей и родителей, а Димон, вместо того чтобы поддержать ее, писал о своих муках любви и стараниях «окультурить пэтэушницу». Как часто случается у немолодых отцов, он проецировал на свою любовницу, Люсю, образ дочери — опять же чисто по Фрейдю — и, о ужас, не Люся стала окультуриваться, а моя Аришка начала превращаться в Люсю!

Начался настоящий кошмар: к тестированию ЕГЭ она демонстративно не стала готовиться, ее лексика пополнилась тем сленгом, который она всегда с иронией отвергала, ее одноклассники излазили Интернет, сравнивая вузы, вступительные баллы и оплату, если вуз был негосударственным, Аришка же никакого интереса к высшему образованию теперь не проявляла вообще (а ведь еще год назад мечтала о биофаке МГУ!), она и одеваться стала в эти ужасные сиреново-розовые тона с блестками и стразами, над которыми сама же недавно потешалась... И вскоре, подтверждая мои наблюдения, Димон, уверенный, что его «Живой журнал» дочь не читает (я так и не стала ему сообщать о нашем коллективном изучении его дневниковых записей), написал, что его любимая Люся похожа на меня в молодости и на его дочку Арину. И он счастлив — он счастлив! — что все его три главные женщины-девушки одного типа наружности.

Прочитав, я пошла и посмотрела на себя в зеркало: хмурая женщина далеко за сорок строго смотрела на меня сквозь стекла очков. Ни капли гламура — дорогого или дешевого, ни капли смазливости. М-да.

В общем, один экзамен Аришка завалила. Я побежала в поликлинику, просила справку, объяснила, что у девочки стресс, ну и наговорила всего того, что в таких случаях полагается. Справку дали. Экзамен она пересдала. С трудом.

А ведь про нее преподаватели говорили, что у нее академический уровень мышления...

* * *

Я часто вспоминала свою кошку Читту.

Как там она? Жива ли?

Тогда я нашла женщину-зоолога, которая, выйдя на пенсию, занялась устройством котят и щенков. Ее звали Ольгой Львовной. Она всегда давала телефон семьи, взявшей питомца, то есть за те пятьдесят рублей, которые брала, действительно находила маленькому детенышу дом. Ведь, говорят, есть те, кто, взяв за котят деньги и пообещав им найти хозяев, просто выбрасывают бедных малышей или топят в реке. Но Ольга Львовна была настоящей защитницей животных. Именно она пристроила всех Читтиных котят. И я, преодолев стыд, попросила ее пристроить Читту. Она ответила, что взрослой кошке найти новый дом очень сложно, но она попробует. И стала искать.

На примере Читты я убедилась: у некоторых животных тоже есть судьба.

Читта каждый вечер устраивала у нас дома жуткий вой — просилась на улицу. Родив котят, она уже не могла жить без кота. Можно было стерилизовать ее, как сейчас делают многие, превращая животных в пушистые домашние игрушки. Но я — не решилась.

Никогда не забуду того мрачного и тяжелого вечера, когда я посадила Читту в красный рюкзак и отдала рюкзак Ольге Львовне.

Читта высунула свою мордочку, точно измазанную сажей, и посмотрела на меня — не понимая, зачем и куда ее несут.

Вечером Ольга Львовна позвонила и сказала, что Читту ей пришлось закрыть в кухне, потому что она распугала всех собак. Знаете, добавила она, я, как бывший зоолог, скажу вам честно, она у вас не совсем домашняя, оттого и все проблемы, кошка с какой-то примесью, как это получилось, трудно сказать, но возможно, у нее в родословной кто-то был, и не так давно, из диких, может быть даже из камышовых...

А на следующий день, когда Ольга Львовна стояла с Читтой у зоомагазина, к ней подошли мужчина и женщина из Одинцова. У них несколько недель назад погибла под колесами машины своя черепаховая кошка, и женщина переживала и скучала о ней до сих пор. Котенка она выращивать не хотела, да и вообще не хотела больше заводить кошек, но в своем доме, в котором они жили, на первом этаже шуршали по ночам мыши... И тут она увидела мою черепаховую Читту.

— Как похожа, — сказала женщина мужу, — посмотри. Только у этой мордочка будто с пятном краски и вообще больше черного в окрасе, чем рыжего.

— Похожа, — согласился муж.

— Если она ко мне пойдет, я ее возьму.

— На улице выпускать нельзя, — сказала Ольга Львовна и повела их к себе домой.

— Читта, Читта, — позвала женщина, стоя в дверях квартиры.

Никакой реакции.

— Читта, ну иди ко мне!

Кошка моя стояла и смотрела на женщину.

— Люблю женщин с характером, — пошутил муж, наблюдая за этой сценой.

— Читта!

И вдруг Читта к ней пошла и встала у ее ног.

— Она нашла свое счастье, — сказала мне потом Ольга Львовна, — такая кошка и должна была жить не в квартире, на девятом этаже, а там, где свой дом, большая территория, сад...

Но я плакала о Читте, пряча свои слезы от маленькой Аришки. И через неделю мне приснился такой сон: на диване в очень большой комнате (я во сне знаю, что это первый этаж) сидит женщина в брюках и розовой вязаной кофте, она смотрит телевизор, а на коленях у нее Читта, у кошки две головы — одна повернута к женщине, вторая смотрит на меня.

И я догадалась: женщина нравится Читте, но меня она еще помнит...



— Почему ты отдала нашу Читту? — как-то спросила Аришка; ей было уже пятнадцать, но свою пушистую любимицу она так и не смогла забыть.

— Твой отец сказал: или кошка, или я. Читта раздирала ему руки до крови, не пуская в дом. Впрочем...

— ...впрочем, лучше бы ты выбрала Читту, ты это хочешь сказать, ма?

* * *

Однажды одиннадцатилетняя Аришка назвала меня стоглазым Аргусом.

Но, к сожалению, все мои сто глаз панической матери были устремлены только на нее. Сейчас я понимаю: моя семейная жизнь с Димоном была пронизана страхом, причины которого крылись, с одной стороны, в моей сильнейшей (и, возможно, глупой) впечатлительности, с другой — в улавливаемых мной образах Димонова темного подсознания. И мой вечный мучительный страх за дочь породил опять же Димон. Толчком послужил один эпизод. Димон, как всегда, отдыхал накручивая километры на загородной автотрассе, прихватив и меня — необходимого слушателя его критических монологов. Доставалось от Димона и правительству, и «масонам», и мне, как «либеральной дуре» и «неумехе в быту». Если бы его обличительные речи были частыми, с ним ездить было бы, конечно, мучительно и невозможно, но, к счастью, впадал он в раж только при нехватке денег, а когда в кошельке у него хоть что-то было, предпочитал за рулем молчать и дорога становилась для нас обоюдным отдыхом, средством для бессловесной медитации и пр.

И в тот день мы ехали молча. Но вдруг нас обогнал грузовичок — «газель» с открытым кузовом, в котором подпрыгивал маленький красный гробик.

— Ребенок, выходит, у них помер, — сказал Димон. И вздохнул. — Но это нормально. Бог дал, Бог взял.

И, произнеся это, он со значением глянул на меня. И в его взгляде мне почудилась спокойная готовность потерять ребенка. И — о ужас! — может быть, даже готовность с оттенком желанья. Ведь ребенок — это вечные траты, обуза, долг.

Аришка должна была родиться через три месяца. И с той поездки я стала бояться за ее жизнь, сопровождая каждый ее шаг, проникая в ее мысли — нет ли в них чего-то опасного, сканируя ее организм, просвечивая, как рентген, — не носит ли она в себе зародыш болезни... И я не способна была видеть главного: вечный страх за дочь мешал мне и ее любить легко и радостно. А главное, лишал Димона того необходимого ему, как витамины, как солнечный свет, потока внимания, которого, если честно, вполне заслуживает любой муж. И Димон заслуживал тоже.

Ведь во многом, обличая меня, он был прав, ну кому ты нужна, кроме меня, говорил он, ведь ты не способна даже нарезать сыр как полагается — тонкими ломтиками, во второй ряд холодильника ты никогда не заглядываешь, сдачу проверить в магазине не умеешь! Ты во всем идиотич-

на! На тебя орут даже тетки в ДЕЗе, а кассирши жутко обсчитывают, потому что ты наивная идеалистка. Впрочем, за идеализм я тебя и люблю.

А я? Любила ли я его?

Сейчас зима. Белый ровный свет снега. Черные силуэты прохожих. Ты всегда точно не здесь, иногда ворчал Димон, у тебя нет слияния сознания с живой минутой жизни. Ты вечно погружена куда-то.

Я смотрю в окно. Он прав.

Вечный роман моей души гораздо ярче для меня, чем самый яркий спектакль. Мне не мешает соседская дрель, я просто не замечаю ее, но сильно мешают мысли соседей обо мне.

Как говорил Димон: у тебя нет слияния сознания с живой минутой жизни. Может быть, и любила я не Димона, не его живую плоть, не его голос, а только просвечивающий сквозь него колышущийся призрак моего давнего детства?

Этот манящий туманный свет невозвратимого, летучие тени несбывшегося, нежные отсветы детской мечты...

И потому-то живого Димона, Димона реального прогнала моя кошка Читта...

* * *

Вообще с животными у меня связано много печального.

Не могу забыть рыжую морскую свинку, которая умерла по вине соседей, забывавших добавлять в поилку воды. Аришке я сказала, что наша морская свинка, наш милый Пушистик теперь родится человеком...

А какое чувство вины испытываю до сих пор перед крошечным хомячком! Тельце у него было рыжеватое, а мордочка черная, и вообще он походил на гибрид хомяка и мыши. Аришка из самых лучших побуждений набрала ему свежих опилок для подстилки, а я не проследила. Дело было на съемной даче, следить нужно было за дочкой, собакой — пекинесом и едой на плите. У хомячка слиплась вся шерсть, он стал кричать от боли, мы с Димоном повезли его в соседний подмосковный город к ветеринару, но не довезли...

Еще вот голубь.

Да, голубь. Больной голубь переходил дорогу, еле-еле, медленно-медленно. Машины тормозили, а он шел и шел. А я следила, замирая, вдруг какая-то из машин не остановится и... Но не подбежала. Чтобы, взяв птицу в руки, просто перенести на ту сторону улицы. Боялась заразиться не сама, а принести какую-нибудь опасную птичью инфекцию в дом — Аришке. Выбежала из соседнего подъезда женщина в домашней одежде, глянула на меня осуждающе и убрала голубя с дороги — отнесла его туда, куда он шел...

Был ли он обречен?

Скорее всего, да.

Но какая великая тяга к жизни заставляла его, волоча свое больное тело, с трудом ковылять через поток машин!

Потом мы с Аришкой спасли другого голубя — со сломанным крылом. Нашли во дворе. Я надела перчатки, положила его в коробку, и мы отнесли его к голубятне.

— Кормить буду, но в голубятню не возьму, пусть коробка стоит рядом, срастется крыло — он сам улетит, у меня голуби породистые... А это — сизарь-помоечник... — так сказал нам владелец голубятни.

— Голубь — это тихая, мирная, добрая птица, — сердито ответила ему Аришка. — Любо́й голубь — птица мира!

А вот моя бывшая соседка, которая жила этажом выше, ненавидела городских голубей, называла их летающими крысами... И когда я думаю, что меня Бог мог наказать за то, что я не помогла голубю, вспоминаю ее: она такая верующая, православная и, в общем, неплохая женщина, регулярно исповедуется, не пропускает ни одного церковного праздника — и от года к году они с мужем становятся все богаче...

Но семилетняя Ариша очень тосковала о Читте, и я решила все-таки взять котенка. Который бы не кусал Димона! Мы увидели у метро рыженького котенка в картонной коробке у старушки и принесли домой. Я люблю рыжих кошек.

Котенок был так слаб, что, когда сидел, качался. На лбу у него виднелось какое-то белое пятно. Аришке он не понравился — не походил на ее любимую Читту. Она даже не стала с ним играть, проходила мимо, глянув краем глаза, как я кормлю его, и все. А он все слабел и слабел.

— Да он больной, — сказала мне Юлька по телефону, — смотри, заразит Аришу, она же еще тоже котенок. Есть смертельно опасные инфекции! Или у него лишай, который уже не вылечишь.

Я испугалась. Кормила и выхаживала, но в детскую котенка не пустила. Однажды, когда я укладывала Аришу, он пришел и жалобно запищал под дверью, и я побоялась его впустить, подумав, что он сразу заберется к ребенку в постель... Мне было так жалко его — маленького, никому не нужного, плачущего под дверью детской. И сейчас я думаю: лучше бы я тогда рискнула ипустила его — это был бы урок доброты. Но страх за своего ребенка был во мне сильнее всего — даже умной и сердечной педагогики.

Котенок дня через два умер, мы скрыли это от Аришки, сказав, что Димон отвез его к доктору.

Но Аришка скучала и скучала по Читте, вспоминая ее каждый день.

— Читта вернется? — спрашивала она.

И я повела ее в зоомагазин «38 попугаев», тогда там еще продавали котят. И один, с черной мордочкой, так выразительно из клетки посмотрел на Аришку, что она воскликнула: «Ма, вот этого котенка берем! Он как Читтин сыночек».

Кот и сейчас живет у нас.

Это умный, наглый, трусливый, эгоистичный субъект, который, если что не по нему, сразу портит ножку стола, диван или обои...

Димона он не царапал, наоборот, когда тот брал его на руки, из подбострастия лизал его скулу.

— В деревню, что ли, его к себе забрать, — как-то сказал Димон, — красивый такой вырос, породистый!

Но мы с Аришкой ему кота не отдали.



* * *

Я уже говорила, что слово «забрать» или, что точнее, «отнять» служило для Димона одним из стимулов в его отношениях с женщинами — и очень существенных стимулов! — во время всего его бега по жизни. Распространялось это и на личные связи как природно-первобытная модель отношений между полами.

Девушка или женщина в общем мало что значила для Димона — пока у него не было соперника. Но стоило тому обозначиться рядом с подругой, начиналась дуэль оленей.

А иногда — просто кража.

КазакИ ведь не брезговали и таким способом приобретения красивой калмычки или телеутки, пока им это не запретила российская тогдашняя власть.

Интересный факт, косвенно относящийся к Димону: и у Белкисов в роду имелась какая-то прапрабабушка-калмычка, ее выдали замуж за Белкиса, ссыльного из Белоруссии. Было это где-то в окрестностях Каинска, который называли «сибирским Иерусалимом». В том же Каинске в XIX веке торговал богатейший виноторговец, купец первой гильдии Венедикт Ерофеев... А другой Венедикт Ерофеев (уверена, что его дальний родственник) написал гениальную винопоэму и, как всем известно, был алкоголиком...

Но — о Димоновых страстях.

У женщины, которую Димон намеревался отнять, должен был оказаться рядом не просто претендент на постель, а именно судьбинный мужчина — жених. Или даже муж. То есть «намеревался отнять» звучит для этой повторяющейся Димоновой пьесы слишком рационально. Ведь это был не логический план, а драйв. Обнаруженный соперник, как хлопок сигнального пистолета, заставлял Димона мчаться, догонять и захватывать. Первую жену он лениво пас, пока она не сообщила ему, что выходит замуж за молодого учителя из ее же школы: она преподавала русский язык и литературу. Тут Димон сразу предпринял марш-бросок и женился.

Обретя стабильную семейную жизнь с регулярными обедами и супружеской постелью, через некоторое время он начинал скучать и все больше ездить. Я уже говорила, что в начале девяностых он пытался организовать свою торговлю, но неудачно: овощи, которые он скупал по дешевке у сельчан, сгнили на родительской даче, сваленные возле баньки, которую Димон сложил сам и очень этим гордился, хотя она была кривой и столь маленькой и низкой, что нагревающий котел обжигал кожу и стоять в баньке можно было только согнувшись и так же согнувшись полагалось мыться...

После овощей настала у Димона эпоха тюля. И снова провал. Тюль, который он скупил, мешками лежал у него в материнской квартире.

— Я приходил, как коробейник, с ним в институты, девушки выбегали, смотрели, трогали тонкую ткань, глаза их светились. А купить ничего не могли: зарплаты ведь не платили месяцами! И накопленные отцом деньги в одночасье стали копейками.

Шли лихие и тяжелые девяностые годы.
В 1995-м родилась Аришка.
Именно тогда Димон произнес:
— Сними с меня программу неудачника! Ты сможешь!

* * *

Вторую жену, фигуристку Илону, отнимал Димон у ее любовника, тележурналиста, который и сейчас мелькает на экране. Но Димон был соvestливый — такой ильф-петровский голубой воришка, и потому и здесь, в его вечном остроугольном треугольнике, должно было содержаться его, Димоново, оправдание. Он не мог ведь, как «пионер всем ребятам пример», взять да отнять жевательную резинку, жвачка должна была оказаться «вредной для здоровья» — и Димон тогда конфисковал бы ее как спасатель. А если серьезно, обычно дело обстояло так: внедряясь в чужой роман и ухудшая его — как любой третий элемент двузначной системы, Димон начинал «спасать» женскую половину системы от мужской. Первую жену он вырывал из рук легкомысленного учителя, который совратил молодую коллегу, но как-то медлил с женитьбой. То, что он стал медлить после внедрения в отношения Димона, самим Димоном из виду упускалось. Учителя таким образом как соперника он победил.

Таким же путем он победил тележурналиста.

Но здесь ситуация была чуть иной: журналист оказался женат, Илона (бывшая фигуристка) рыдала и просила развода, журналист уже пообещал ей жениться, но тянул — ему как раз хотелось сохранить трюичную систему, поскольку так ему было удобнее. Илона рыдала и рыдала. Димон спас ее от коварного телевизионщика и от ее страданий: он женился на ней. Потом он попытался оторвать от Илоной квартиры комнату — но это ему не удалось. Правда, рассказывая мне об Илоне, Димон всегда добавлял, что помог ей написать диссертацию и даже сам отвозил к старому профессору, ее руководителю, на «запорожце» прямо домой.

— Жена его, старушка, была на даче. — Димон куксился, и его длинный кончик носа подрагивал печально, мне сразу виделся Маленький Мук. — Можно сказать, я Илоной жертвовал ради ее же будущего...

Вскоре Илона сама бросила Димона: ей надоело его безденежье (он жил на ее зарплату, правда, питался очень экономно). Надоели его вечные отлучки: то он уезжал в Коктебель летать на дельтаплане, то в тайгу... Дельтаплан он купил подержанный, но тоже на деньги супруги.

Я стала третьей женой Димона.

Меня он отнимал у молодого начинающего бизнесмена.

Каждый побежденный для Димона означал не только победу над конкретным человеком муж. пола, но и победу над тем, что для него тот или иной соперник символизировал, что он на него проецировал.

На моего жениха (а дело шло к свадьбе) Димон проецировал образ коренного москвича — и, побеждая его, боролся с «московским снобизмом».

Илонин журналист воспринимался им как «продажные СМИ» — о, Димон был далеко не прост! А купив «кадиллак», он заявил мне, что,

гоняя дорогую машину как отечественный уазик, разбивая ее на неровных российских дорогах, дает отпор «зажравшемуся американизму».

Все это было бы смешно... И тогда я смеялась.

Бедный Димон.

Способ, какой Димон избрал для победы над московским снобом, был груб и прост: выследив его, несущего мне огромный букет роз, и сообразив, что сноб собирается сделать мне предложение (и Димон был прав), Димон побежал в магазин, купил сумку продуктов, сверху водрузил банку красной икры, бутылку шампанского и листок бумаги, на котором написал: «Я считаю тебя уже своей женой!» — все это поставил к моей двери, позвонил в дверь и убежал.

Я открыла.

Ни мое очень удивленное и растерянное лицо, ни попытка объяснить — не спасли положения.

Димон победил.

Но вышла я за него замуж только через полтора года, когда он закрыл меня на старой отцовской даче...

* * *

Юную Люсю Димон тоже отбил. У ее ровесника, за которого Люся собиралась выйти замуж, когда тот отслужит в армии.

Здесь Димон как бы победил молодость.

После того как мы с Юлькой узнали о мечте родителей Люси, подруга решила одну меня в деревню ни за что не пускать. Ее папаша — криминальный тип, сказала она, мало ли что с тобой может там случиться.

— Я и не собираюсь вообще теперь туда ездить, — успокоила я ее, — что мне там делать? На несчастных кроликов смотреть? Или на кроликовода-мясника? Или на Люсю?

— Ну на Люсю-то стоило бы еще поглядеть.

— Мне достаточно фото.

В то же время Димон нашел новую продавщицу в магазин, Риту, молодую женщину, сестру местного фельдшера. Черноглазая и быстрая, она предложила Димону и убирать у него вместо Люси, а Люся, мол, пусть только готовит. Все детали переговоров, характер Риты, ее наружность Димон подробно и нудно описывал в сетевом своем дневнике. С особенным удовольствием — ревность Люси. Которая наконец не выдержала и угостила Риту коктейлем собственного приготовления.

Рита, провалявшись с отравлением десять часов, с трудом встала, собрала манатки и заявила Димону, что с этой стервой, которая ее чуть на тот свет не спровадила, работать и жить рядом она ни за что не согласна. Да, может, это случайность, пытался урезонить ее Димон, совпадение, ты сама поела столовской еды где-нибудь, припомни, ничего я нигде не ела, говорила Рита, вздрагивая, если слышала шаги Люси, которая демонстративно затеяла в доме уборку, я только хлеб ела да еще омлет, все сама сделала, а потом ее коктейль... Нет, Дмитрий Андреевич, ищите в свой магазин другую.

И Рита уехала.

Случай с коктейлем доказал Димону Люсину «любовь» к нему.

А моей Юльке только подтвердил, что сей семейки нужно опасаться.

— С кем он связался, боже мой! — сокрушалась она. — Ведь они не просто чужие люди, они нехорошие чужие люди.

— Ма, — Аришка услышала и вышла из своей комнаты, — тетя Юль права: па теперь не отличает твоего деда Арсения от этого жуткого Геннадия. У него стерлась внутри какая-то черта — для него теперь все одинаковы: что наш дед, что этот урод.

— Он считает Геннадия очень красивым, написал об этом в ЖЖ.

— Тетя Юль, — Аришка хмыкнула, — для него все мужчины, которые выше его на десять сэма, красавцы. Я раньше считала его умным. А посмотрев на его Геннадия и прочитав про эту тупую Люси, которой он плющит мозги, — Аришка сделала ударение в имени на последнем слове, — поняла: мой отец и сам идиот. Вы только посмотрите его запись от девятого сентября. Это полный абзац!

— Полный абзац, что ты никуда не стала поступать! — подала реплику я.

— Это чтобы походить на Люсю? — съязвила Юля.

— Заткнитесь, вы... обе! — Ариша развернулась и выбежала из дома.

Как устойчивы в русском языке (да и в других языках) словесные штампы. Мне так и хотелось сейчас написать: «хлопнув дверью».

Но Аришка дверью не хлопала никогда. И никогда не кричала.

— Тихая, но вредная.

Я чуть не заплакала.

— И это пройдет, — утешила Юля. — У девчонки такой трудный возраст, а твой козел... Извини.

— У него тоже трудный возраст. Мужской гормональный кризис, читала?

* * *

Но я действительно была для Димона и Люсиных родителей помехой на пути к достижению целей: Димону хотелось походить на настоящих крутых бизнесменов, это «типа как с Рублевки» — то есть чтобы из дорогой машины выходила не верная жена, с которой прожили двадцать лет, а молодая самочка, обязательно хорошенькая блондинка, с длинными волосами, длинными ногами в мини, с загаром, подчеркивающим, что они только что из Майами или, на худой конец, из Испании. А Люсиным родителям страстно мечталось переселиться из небольшой съемной квартирki в областном центре по соседству с Голубицами, где спали они в три этажа, один над другим на самодельных кроватях, в просторный дом Димона, который он им, конечно, подарит. То есть не им, а очаровательной Люсе, а Люся всех своих заберет к себе... Такая вот рождественская сказка о добром дядюшке Сэме и милой несчастной крошке. И участок большой, и место чудное — Ока! И на машине Дмитрий Андреевич уже начал Люсю учить. Все идет к тому, что сказка станет былью: он любит Люсю и скоро ей все отдаст.

Нужно только, чтобы его старая, гадкая, мерзкая жена... лучше сама исчезла.

Подруга моя иронизировала, а я видела сны.

Сюжет повторялся: мужчина, лица которого я не могла разглядеть, пытался запихнуть меня в печь. Это был, так сказать, ремейк одного триллера девяностых.

Просыпалась я ночью с жутким сердцебиением.

А днем в который раз пыталась понять: почему я не вижу лица мужчины? Потому ли, что это Геннадий, отец Люси, который пока скрывает свои намерения? Или мое подсознание просто не хочет признать правды: лица мужчины во сне я не вижу потому, что мужчина этот не Геннадий, а сам Димон?

Люся по-прежнему жила в его доме и по-прежнему в качестве Галатеи. Ведь на роль Миранды она не подходила никак, и даже не из-за среды, в которой выросла, а из-за собственного воинственного отстаивания права жить в своей среде, быть в ней всем довольной и счастливой благодаря отсутствию «взрывающего мозга» высшего образования. Сценарий «Пигмалиона» Шоу тоже хромал: Люся упорно держалась за свою противную лексику, мотивируя тем, что сейчас даже «в компе» все так пишут.

Но Димон, всегда испытывающий ни с чем не сравнимый кайф попадая в центр внимания, с Люсей этот кайф испытывал постоянно: вот она выходила на шоссе из машины, открывала капот — и проезжающие сигнализировали ее крохотным шортам и алому топу, обнажающему часть спины. Тогда Димон высовывался в окно машины, чтобы все увидели, кто этими частями роскошного тела владеет.

Я так и вижу раскрасневшееся от переполняющего его счастья гордое Димоново лицо, выглядывающее из «кадиллака». Ведь короткие его ноги давно срослись с машиной, и вместо клоуна, волочащего по грязному асфальту темно-рыжую штанину, явил себя миру король-кентавр!

Со мной такого счастья у него никогда не было. Потому что я застенчивая. Во мне нет той здоровой доли истеричности, которая заставляет демонстрировать свои достоинства или превращать в оные недостатки. Я всегда старалась сесть в машине на заднее сиденье. Я люблю дорогу, люблю ощущение скорости, но не себя на дороге. Просто у меня другой тип получения удовольствий и другие удовольствия.

Например, Димон страшно боялся летать на самолетах и ненавидел больше всего взлет и посадку. Но стоило мне представить, что он спокойно спускается по трапу, и сказать ему об этом, как он успокаивался. Это правда. Но сама я, несмотря на вполне закономерное беспокойство перед полетом, как раз очень люблю момент, когда самолет набирает скорость и вдруг отрывается от земли. Это одно из самых сильных удовольствий для меня. А вот поездов я не люблю: после двух суток в поезде асфальт на дорогах под моими ногами и пол в квартире едет еще неделю.

И внимания к себе не люблю тоже. Мне больше интересен другой человек.

А Димону всегда был интересен только он сам. Это его личное признание. Но я под ним могу подписаться, как свидетель.

И рядом с Люсей он, конечно, себе очень нравился. Как выразилась Аришка: такой вот папик с тугим кошельком, в дорогом прикиде из центрального бутика, на крутой тачке, с купленной телкой.

— Пошло.

— Для тебя, ма, да, для толпы — привлекательно. Стаи таких Люсь носятся по Интернету, выискивая толстые кошельки. Ты отстала от жизни. И одеваешься... как...

— Как?

— Как-то (я поняла, что Аришка хочет выразиться помягче), ну... мне не нравится.

* * *

А в общем, признаемся, друзья, что ничего удивительного в том, что стареющий петух носится по двору за только что оперившейся курочкой, не было и нет. Возможно, он догонит ее, совершит то, ради чего потратил свои последние силы и пыл петушиной души, и упадет замертво. Мир души глубок и бесконечен, а мир проявленный часто пошел и примитивен. Так везде и во всем: сколько таких жен Илон отвозят сами мужья по вечерам к руководителю-профессору, когда его супруга на даче, ради будущего статуса жены? Сколько актрис и поэтессок по первому зову режиссера, издателя или крупного покровителя бегут к нему в отель?

И я считаю, что как раз Люсю не за что осуждать. Она *лучше* этих Илон всех мастей. И я сказала Юле: Люся ни при чем, понимаешь? Да, ей нравится быть в кругу парней, ей нравится, что на нее обращают внимание, когда она входит в ресторан вместе с респектабельным немолодым господином, но у меня есть оправдание ее связи: она старалась охмурить Димона не ради этих звездных минут на ковровых дорожках ресторана или ночного клуба, а ради своей большой семьи, ведь именно ее родители превратили свою дочь в сладкую наживку для богатого старика — Димон был старше Геннадия! — именно родителям она и хотела помочь. И еще своим двум сестрам: тринадцатилетней Оле и двухлетней Ксюше. Хотя с Олей Люся постоянно ссорилась. А вот Ксюшку обожала и даже сама купала в деревенском корыте, поскольку в доме, где поселилась, приехав из Казахстана, семья, не было горячей воды и ванной комнаты. Потом Димон купил и подарил для Ксюши просторную ванночку. Ксюшку приводил отец к Люсе, иногда оставляя ее в доме Димона на целый день, — Димону это не очень нравилось, он как-то пожаловался в своем сетевом дневнике, что девочка мешает ему работать и что для нее нужно отдельно готовить... Впрочем, ради звездных минут с Люсей он готов был терпеть и это.

* * *

Но внезапно, сразу после нашего приезда в деревню к Димону, когда моя дочь сорвала объявление о продаже кроликов с дверей магазина, в Голубицах начались трагедии — точно невидимый режиссер задернул сцену темным мрачным пологом.



Все началось с того, что земная девушка Люся, даже не знающая слова «мистика», поскольку все непонятные и чуждые ей слова она не пропускала в свое ограниченное сознание, как не пускают во двор, огороженный высоким забором, чужих, стала слышать по ночам в доме шаги. И эти шаги уходили в сад, где чернели стволы столетних яблонь. Люся, конечно, решила, что в дом по ночам забирается вор. В деревне поговаривали, что в двух километрах от Голубиц, на берегу Оки, в крутом песчаном склоне вырыты пещеры и в этих пещерах обитают московские бомжи, перебирающиеся туда на все лето с городских вокзалов и свалок.

Вот такого бомжа Люся и ожидала увидеть, когда, схватив поварешку, кинулась вслед за уходящими шагами и — нагнала их. Шаги прекратились. Кто-то остановился прямо возле Люси. Но никого она не увидела. Кто-то постоял, потом, вздохнув, пошел от Люси к двери в сад, дверь открылась, скрипнув, и тут же захлопнулась. А Люся с диким истошным воплем кинулась в дом, к Димону.

Понимаю Люську, это, наверное, жуткое чувство — когда стоишь напротив невидимого человека, записал на следующий день он в «Живом журнале», но непонятно, почему она, испытав ночью страх, стала бояться не призрака, а меня? Зря ей рассказал о бывшем хозяине, который погиб, сбитый поездом. Это не для ее слабых мозгов. Она даже не дает теперь себя поцеловать... Надо ее свозить на море...

И Димон повез Люсю в Египет.

Но до этого недалеко от Голубиц погибли сначала два гастарбайтера (те самые, что показывали нам с Аришкой клетки с кроликами), их нашли убитыми возле железнодорожного полотна, а потом, почти на том же месте, погибла сестра Люси Оля. Как написал в «Живом журнале» со слов Геннадия Димон, девочка случайно оказалась в промежутке между двух несущихся товарных поездов и умерла от стресса: у нее от рождения было слабое сердце...

— Не верю я в эту версию, — прочитав, задумчиво проговорила моя Юля, — помнишь, Димон как-то сообщил, что Люся вся в шрамах, потому что отец, когда она была подростком, жестоко стегал ее ремнем, она рано стала заглядываться на парней, и он ее учил так уму-разуму. Ну и семейку выбрал твой благоверный! Но я о другом. Здесь, чувствую, что-то аналогичное: Геннадий, наверное, решил наказать вторую девчонку, она от него побежала, у нее действительно от рождения было слабое сердце, и...

Люся горевала по-настоящему. А Димон все подробно описывал. Но, что странно, в его сетевых дневниковых рассказах не просматривалось сочувствия. Описал он вскоре гибель бедной Оли и в художественном произведении, то есть в рассказе, который даже сумел опубликовать в печатном сборнике. Кончалась история так: герой стоит с Люсей (ее имя сохранено) у могилки сестры. Люся плачет, герой ее утешает.

То есть, как сказал бы неискушенный читатель, «всё как в жизни». Кроме одной детали: погибшую девочку в рассказе Димон назвал не Олей, а моим именем.

Они отсутствовали две недели.

И все дни Димон, как психологический эксгибиционист, сообщал в своем «Живом журнале» народу, как выглядит Люся на пляже, как реагируют на нее мужики, а немцы вообще падают от ее красоты, сетовал, что ему сложно было после всех необъяснимых и трагических событий победить ее страх и вернуть ее на путь их любви...

То есть, хотя Димон про то, что он едет не один, разумеется, мне не сообщил, мы с моей Юлей и так всё знали. Мы даже знали, что у Люси на очаровательном животике (как писал Димон) появились две складки, уж не беременна ли она?

Жуть, сказала Юлька. Еще и родит.

— Исключено. Он проверялся, когда Аришке было три года, хотели второго ребенка, но ему вынесли вердикт, что он уже не сможет стать отцом.

— То есть его сперматозавры к тому времени уже повымерли?

— Именно. А мне было бы даже неплохо: роди она — тогда мы, точно, разведемся. Я сама не решаюсь почему-то подать на развод.

— Ну и дура! Пожалеешь об этом!

— Может быть.

— Но, конечно, тебе просто Аришку жалко. Так и не общается с ним?

— Как сорвала объявление о кроликах с дверей магазина, так и с ним порвала. И записей его не читает больше, и на его звонки не отвечает. А когда он приезжает, сразу убегает из дома.

— Страдает?

— Еще бы! Она его любит. И с ним ей было просто. Я ведь совсем другая: могу молчать сутками, работая или думая, сама знаешь, замкнутая.

— Все так.

— И в кармане у меня нет таких денег, чтобы поменять Аришке старый мобильник на новый, это ее угнетает не меньше, чем сам разрыв с ним. Но самолюбие ей пойти на перемирие не позволяет. Он ждет, что она попросит прощения, она — что он о ней заскучает.

— Ему некогда!

Конечно, мне не совсем приятно было читать о любви моего мужа к этой Люсе, а уж про поцелуи и прочее тем паче. Я не мазохистка. Но мы с Юлей каждый вечер просматривали — и очень внимательно! — сетевые дневниковые записи Димона, чтобы, так сказать, я была готовой ко всему.

Но, увы, развязку этой пьесы угадать еще было невозможно...

И сказка для Люсиных родителей так и не стала былью. Люся действительно забеременела, но оказалась совсем не такой стервой, какой видела ее моя подруга: она честно призналась родителям и Димону, что ждет ребенка не от него, а от «одного из». От какого-то местного парубка, вроде экспедитора из областного центра. В общем, какая им разница? Вряд ли они пожалели того парня, которого не дождалась Люся из армии.

Стенания Димона в «Живом журнале» стали назидательными: он благословлял Люсю, писал, какие щедрые подарки сделает ей к свадьбе (одним был дорогой брендовый костюм), мы проследили срок ее родов — и вот сам Димон торжественно сообщил, что приехал на «кадиллаке» забирать Люсю и привез ее молодого мужа, а вместе с ним отца и мать. Так сказать, дал им ощутить привкус сказки...

Не знаю, как пережили они крах своей мечты о «добром дядюшке» и подаренном им богатстве, возможно, утешились тем, что их Люся вышла замуж за молодого да бравого.

Стоял март, все еще было холодно, Димон приехал в город забрать мои картины: он решил сделать деревенский дом более «светским». Настроение у него было не ахти: все-таки не зря он бегал к экстрасенсу, чтобы узнать, какого качества у Люси энергия (об этом он тоже открыто рассказал в Интернете).

Когда я прочитала: «У вашей Люси сейчас вообще нет энергии?!» — я решила, что у Димона, как говорится, несколько съехала крыша. И вспомнила, ведь мне еще Аришка на это намекала, даже давала прослушать записанный на ее телефон монолог Димона (что дочь фиксирует его слова, он не заметил):

— Мама, ты только послушай, как он объяснил, что мы с ним попали в аварию! По-моему, у него что-то с головой!

* * *

Они попали в аварию, потому что Димон, как нередко с ним это случалось, заснул за рулем. Слава богу, дело было в пробке, которая еле еле рассасывалась, и потому двигались все автомобили очень медленно. Тем не менее, задремав, Димон впечатал свою машину в бампер впереди ползущей. И, хотя ехали по-черепашьи, капот сжало, как меха аккордеона, — жаль, не столь ровно.

— Это произошло из-за нашей мамы, — стал объяснять Аришке Димон, когда они сидели в машине и ждали ГИБДД. — Мы уезжали, я на нее наорал, а она, как всегда, мне не ответила тем же, а промолчала, но дала нам в дорогу булочку с сыром, нет, ничего такого, то есть плохого, для меня и для тебя она не хотела, смерти не желала, просто вложила в сыр свою энергию, и, когда мы поехали, я откусил от булочки и ее энергия меня усыпила. Она ведь *все* может. И перевернуть машину тоже. Потому что ее бабушка, Антонина Плутарховна, обладала силой, когда старушку я увидел, сразу понял, к кому я попал.

— К кому? — спросила Арина, продолжая беседу записывать.

— К ведьме настоящей, урожденной.

— Какие глупости ты говоришь, — возмутилась Ариша. — Мама очень добрая. И она рассказывала про мою прабабушку: она тоже была хорошей.

— Соглашусь, мама добрая. Но не в ней дело. Все идет через нее. Когда она меня любит, через нее идет поток силы, у меня тогда все полу-

чается, а когда впадает в отчаянье, это катастрофа — такие идут мощные разрушительные потоки от нее, что жди несчастий!

— Ну мы же не перевернулись, — после молчания подала еще одну реплику озадаченная Аришка.

— Но и обидел я ее не так уж сильно.

Тут Арина посмотрела на меня вопросительно:

— И мне потом сказал: ты тоже станешь ведьмой.

— Ариша, — сказала я, — на свете еще много необъяснимого, твой отец чует нашу родовую генетическую силу, просто не может ее объяснить иначе как с помощью обывательских суеверий.

— То есть твоя бабушка, и точно...

— Нет, конечно!

Я поняла, о чем хочет спросить Ариша.

— Если коротко тебе попытаться объяснить, дело вот в чем: каждый человек рождается с какой-то своей задачей, которую должен выполнить. У одного это просто продолжение жизни, то есть он только мостик к следующим поколениям; у другого это социальные задачи: например, вырвавшийся из глухой деревни начинает делать политическую карьеру, и его дети, а потом внуки поднимаются по социальной лестнице еще выше; у третьего — это творчество. Но человек обольщается, полагая, что задачу своей жизни он выбирает сам — выбирает его род. И порой сила рода бывает такова, что любое отступничество от поставленной перед человеком сверхзадачи грозит отступившему гибелью. Вот и у нас так.

— А при чем тут сыр? — спросила Ариша хмуро.

И я почувствовала: ей не хочется быть рабыней родовой воли.

— Ни при чем, конечно. Видишь ли, у отца Димона, твоего деда, за восемь лет до смерти заболела рука...

— У па тоже болела, помнишь?!

— Именно тогда он и решил, что ему осталось жить всего восемь лет.

Это было...

— Я помню!

— Из-за страха смерти у него несколько съехала крыша. А поскольку я тоже знаю дату, он видит во мне опасность.

— Почему?

— Потому что ему кажется, что, если дату забыть, можно через нее проскочить, и сам он всячески от этого как бы мистического знака отвлекается...

— С Люсями!

— В том числе. Или человека, который помнит дату, просто нужно убрать из своей жизни. Его должно не быть. А в то, что я забуду, он не верит, поскольку проецирует на меня свое желание освобождения от меня. Значит, такой вот получается параноидальный синдром, узкокализованный.

— Блин! — воскликнула Аришка, и мне послышался никогда мной не слышанный голос Люси. — Мне не нормальные родители достались, а чудики!

Но один параноик — это не так страшно, а вот когда появляется рядом с ним советчик, причем гораздо более сильный как личность, побитый жизнью и отсидевший за то, что застрелил человека, — это уже серьезно.

И такой нашелся: по объявлению в Интернете о том, что в строящийся гостевой дом на Оке требуется работник, в деревню приехал заниматься на работу некий гражданин Антонов. Он представился бывшим военным, и вот как описал их знакомство сам Димон (с некоторой свойственной ему «художественностью»):

«Вечером позвонил жене и сообщил, что в дом, строящийся под пансионатик, нашел наконец работника. Отреагировала как-то вяло — типа, твое дело, бери кого хочешь. Ей лишь бы ее не трогали и давали деньги, чтобы она могла делать свои картинки. Полная пофигистка. А я из-за этой новой стройки сижу как проклятый уже полгода безвылазно в деревне, руковожу предприятием через скайп. В общем-то, руководит больше мой директор, толковый мужик, что скажешь, правда, без руки, руку он потерял в Афгане, а я больше имитирую через Интернет бурную деятельность.

Мужик на работу приехал устраиваться с женой — это мне то что надо. Мы оказались с ним ровесники, у них с женой брак недавний, у нее взрослая дочь, живет где-то в другом городе. Нормальный мужик, бывший военный, беру. Пусть живут в маленьком домике и начинают работать. Баба его будет мне готовить. От супруги ведь не дождешься милостей, не придет сварить мужу вкусный обед! Правда, я сам у нее забрал машину и отдал своей бухгалтерше. Но хорошая жена и на автобусе придет! Два с половиной часа дороги для любящей женщины не преграда. Так разве она умеет любить? Ни хрена. Живет в каком-то иллюзорном мире, и ей там хорошо.

Вечером Анатолий (мы сразу перешли на «ты», он стал меня звать по отчеству, так сказать, по-простому) пришел ко мне на чай.

— Мне бы паспорт, — сказал я, надо признать, не без робости: неприятное это дело — ощущать себя полицейским.

Блин, он оказался судим.

— Судим?!

— Было дело. Но я доказал свою невиновность. По ошибке взяли. Иди, иди, Зоя, — он махнул рукой жене, — готовь обед.

Врет, конечно, что по ошибке.

— А сколько?

— Сколько отбывал? Пять годков.

— И за что?

Ё, пять лет не хухры-мухры. Точно, врет.

— Больше бы сидел. Говорю же, доказал, что на меня свалили, а я был козлом отпущения. Замполит, полковник, лейтенанта молодого по ревности пристрелил, а на меня свалил.

— Не гонишь?

— Чтоб мне... Меня даже в звании восстановили, вот в военном госпитале карточку разрешили завести. — Он потыкал пальцами по мо-

бильному: — Зой, карту из госпиталя принеси. Но я с пятнадцати лет ни разу не болел, такой организм.

— Все от Бога.

— Неверующий я. Опииум для народа.

— Да ты что?! — вскричал я. — Ты совершенно темный, как выясняется! Как это — не веруешь?

— А так. Пока сидел — многое передумал. И пришел к выводу: все обман. Никакой души нет и никакого Бога тоже. Придумки тех, кто жить не умеет. Себе и своей слабости в оправдание. — Он помолчал. — А ты, Андреич, чего без жены-то здесь живешь? В разводе, что ли?

— Нет, не в разводе.

— Так баба должна при мужике быть, кормить его, постель ему стелить, ублажать, носки стирать, как вот моя. Сколько твоей?

Ну, сказал, что без малого полтинник.

— Э, — вздохнул он, — выходит, старая. Моя вон Зойка еще родить может, а твоя уже все, бесполоая. Молодую телку тебе надо, а то совсем закис.

— Пять лет назад она нефрит острый перенесла, не могу бросить, если вот только помрет. А так с ней, и точно, никакой жизни: ни радостей, ни утех. Может, у меня и радикулит от отсутствия секса!

Тут Анатолий как-то странно на меня глянул. Но промолчал.

— Правда, сейчас в Египет еду на три недели. Немного развлекусь.

— А куда?

— В Хургаду.

— О, я там был три года назад. Там клево. (Этот Анатолий нередко использует лексику из нашей с ним давней юности.) Отель уже заказал? Я жил в трехзвездочном. Я ж не бизнесмен какой, коммерцией не занимался сроду, последние годы простой работник, правда, все умею, сам знаешь теперь, бывший вояка. И здоровьем бог не обидел: ни разу не болел. Денег у меня на роскошные отели нет. Назывался... сейчас вспомню... Вроде “Лилия”, только не по-русски.

— У меня какой-то “Минамарк”...

Но, в общем, мужик нормальный, ужин тетка его приготовила отменный. Так что решено: будут у меня работать».

* * *

Димон часто ездил теперь то один, то со своей подругой детства — той обширной бизнесменшей Инной Борисовной, которая завидовала тому, что мы обитаем в Москве, и меня ненавидела. Он побывал в Скандинавии, в Нидерландах, Италии, Испании, отдыхал в Греции, Египте, Турции, на Филиппинах, в Таиланде...

Представьте, я за время нашего с ним двадцатилетнего брака съездила за рубеж только один раз — в Париж, на выставку, где экспонировались две мои картины, а поездку оплатил какой-то фонд. Я художник, так сказать, нераскрученный, и денег от продажи своих работ у меня хватало только на одежду. Димон же всегда говорил: я руковожу предприяти-



ем — мне нужен отдых, а ты и так всегда отдыхаешь. Или: я еду в Германию не развлекаться, а по делу. Лгал. Никаких дел с зарубежными партнерами у него не было: по своей психологии он так и оставался кустарем-одиночкой, опасавшимся чужих и предпочитавшим держать в своих руках полную власть над своим бизнесом, пусть это и сильно ограничивает возможности его расширения.

И в этот раз, собираясь в Хургаду, он думал взять с собой Инну Борисовну, но передумал. В том, что у него с подругой детства был интим, у меня сомнений не было: не таков Димон, чтобы отказать женщине, которая плачется ему в жилетку, что у нее несчастная личная жизнь, муж был подлец, а дочке уже почти тридцать, а замуж она никак не может выйти, потому что состоит в любовницах у хорошего человека, тоже бизнесмена, а тот вот никак не бросает жену и двоих детей. Бедная девка влюбилась в него, а он...

Но то ли у деловой Инны Борисовны были какие-то свои планы, то ли Димон решил скататься в Египет без сопровождения, но на этот раз он полетел в Хургаду один.

А мы с Юлькой стали ждать его исповедей в «Живом журнале».

— Странно, что он не допрет, что ты можешь прочитать его дневник в Рунете, — удивлялась она.

— Может быть, ему как раз хочется, чтобы я все это читала и страдала.

— И про секс?

— Видишь ли, он и в своих рассказах описывает только то, что было: придумывать он просто не умеет. И прекрасно знает, что я все понимаю.

И Димон не заставил себя долго ждать: во второй вечер мы уже знали о его знакомстве с очень красивой девушкой...

* * *

16.08

...начал изучать рекламный проспект, который всучили в турфирме, «Отдых для вас»: «Возникнув в начале XX века из поселка британских нефтяников-поисковиков на берегу Красного моря, Хургада начала превращение из военного района в процветающее место отдыха лишь после заключения Кэмп-Дэвидского соглашения между Египтом и Израилем...»

Елки-моталки, кто может осилить такую мутоту? Но ведь надо хоть что-то узнать!

Нет, лучше все буду изучать на практике, ведь явно, что автор проспекта не мудрствуя содрал все с «Википедии». Кругом лодыри и лжецы. И рвачи. 1800 долларов за три недели. Вроде не так дорого. Номер со старой мебелью, кондиционер шумит, полотенца, черт их дери, такие старые, что годятся разве что на подстилку на лежаки. Инка, сволочь, мне бронировала этот отель! Узнала бы сначала! Никому верить нельзя, все врут.

Пошел обедать.

17.08

Но пляж оказался приятный, лежаков много, не надо вставать рано, чтобы успеть занять себе. А вообще, все сволочи, дурят туристов. Какие это четыре звезды, я бы и три не поставил!

17.08. Вечером

Однако утешает: в отеле отличная кухня, Инка молодец, главное — какая еда. А здесь жратва приличная, даже более чем, значит, все хоккей.

Валюсь с ног.

18.08

Вчера, как только лег, тут же заснул. Выспался отлично, завтрак тоже неплох, хотя дома я бы такое есть не стал, разве можно есть сосиски?! Но съел две. Сок оказался разбавленным. Салат нормальный. С креветками. Из экскурсий выбрал только две: разумеется, в Каир, к пирамидам, и путешествие на квадроциклах по непонятно какой пустыне. Там спрошу. Достаточно пока помнить: Египет, Хургада, Красное море и название отеля. Экскурсоводша потом все расскажет. Приятная моложавая женщина, загорелая, с длинными стройными ногами и лицом Барби. Но все-таки уже стара. Лет сорока пяти. Зрелый сладкий виноград не люблю, нравятся мне ягоды незрелые, с отчетливой кислинкой.

Думал сначала проехаться на верблюде, но как-то боязно стало: еще оплует.

19.08

Утром был на пляже. Выбрал место чуть в отдалении от кромки воды, краем глаза заметив, что соседний лежак, покрытый прозрачной шелковой тканью, придавленной несколькими камушками, явно принадлежит женщине. Причем молодой. Шорты такие, они там же обнаружили, носят только юные девчушки. Мамамы в них не влезут.

Маску, трубочку и ласты привез с собой.

Красное море оказалось не красным, а вполне синим, вода теплой, все, в общем, хорошо. Иногда чувство вины у меня бывает, что никогда не вожу на отдых жену и Аришку. Нет, Аришку все-таки раза два брал. А вот жену — нет. Чувство вины задавил. Она и так всегда отдыхает. А дочери позвонил. Помирились.

Наплавался.

Вернувшись на лежак, с приятным удивлением обнаружил рядом тоже приятную молодую брюнетку в отдельном купальнике коричневого цвета, так остроумно сливавшимся с уже сильно потемневшей кожей, что мимолетному взгляду брюнетка показалась бы обнаженной. У нее прелестный задик, ровный, упругий, очерченные ягодички точно две половинки моего детского резинового мяча: он был наполовину синий, наполовину красный. О эти женские задки!

Брюнетка рассказала, что разведена, есть маленький сын, он остался с бабушкой, ее мамой, а сама она работает в фирме, которая занимается переводами, не денег, нет, а с других языков и на другие языки, в подмосковном Железнодорожном.

Завязав интрижку, так сказать, на море, можно будет ее продолжить и на суше.

* * *

Как он мерзок, прочитав очередной опус Димона в «Живом журнале», негодовала Юлька, только расстался со своей Люськой, уже ловит других, задика он, видите ли, обожает, гей, что ли, тьфу, читать противно. Меня теперь от всех мужиков будет тошнить. А что он с собой акулу свою обожаемую Инну Борисовну не потащил в Египет? Или для нее Египет — дешевка?

Не знаю, сказала я, мне его И. Б. по барабану. Меня Аришка беспокоит: она хотела стать биологом, уйму читала, даже свою теорию придумала в пятнадцать лет! Говорила: получу Нобелевку! А сейчас не учится, грубит мне, как хабалка... И *ничего* не читает!

Пройдет, шмыгнув носом, сказала Юлька. Еще прощения у тебя просит.

— Когда?!

— Когда-нибудь. У меня вот нет детей и проблем нет. А знаешь, почему я не родила? Я ведь тебе не рассказывала?

— Не рассказывала.

— Первая связь. В хореографическом училище, в пустом зале после репетиций. Нам было по шестнадцать. Сделала аборт, тетка моя меня прикрыла, забрала к себе на месяц и справку фиктивную сделала, что у меня ветрянка. И после этого детей у меня уже быть не могло.

— А если лечиться?

— Сейчас поздно. Я ведь, ты знаешь, тебя только на год моложе... И если честно...

И тут Юлька достала сигарету и закурила. Курила она очень редко, но всегда одни и те же сигареты — «Винстон» с ментолом.

— Погляжу на нынешних тинейджеров, и все сожаления, что у меня не получилось родить, сразу как ветром сдувает. Монстры.

— А как насчет детей индиго?

— Вранье.

Я включила музыку, Морриконе, на концерт которого ходила три года назад в Крокус-Сити-холл. Звала и Аришку, и Димона. Аришка сказала: «Я его не люблю. Это композитор для буржуев», — тогда еще она иронично относилась к обуржуазиванию Димона и сутками напролет читала и книги, и в Интернете по биологии.

— Знаешь, ма, — как-то, начитавшись, сказала она, — у меня уже есть своя теория о теломерах.

— Поделись, если есть желание.

— Понимаешь, наш русский ученый еще в семидесятые годы написал, что благодаря особому ферменту — теломеразе — можно удлинять

концы хромосом, которые год от года становятся все короче, — именно от них (точнее, в частности от них) зависит долгота человеческой жизни. Нобелевскую за теломеразу получил не он, а зарубежные ученые, ну, так часто бывает, открытие заимствуют, а открывший остается ни с чем, а я подумала: ведь медуза *Turritopsis nutricula* фактически бессмертна, потому что ее хромосомы имеют кольцеобразную форму — то есть не имеют конца, закрутить человеческие хромосомы вряд ли удастся, хотя это был бы оптимальный вариант (наряду с параллельными средствами) продления человеческой жизни в сторону бесконечности, но есть еще один вариант удлинения теломер — так называемые бессмертные клетки в человеческом организме. Раковые и стволовые...

И тут меня отвлек мобильный.

Аришка обиделась и ушла в свою комнату.

— А ты не думаешь, что твоя Арина могла связаться с каким-нибудь наркоманом и сама...

— Нет. Несмотря на то что она именно так последнее время выглядит — как опустившаяся наркоманка, наркотики она даже не пробовала. Я чувствую. И таких приятелей у нее нет. Она все-таки умная.

— У нее, скорее всего, тяжелый кризис взросления, который усугубил «Живой журнал» Димона. Она сама его нашла?

— Конечно.

* * *

Когда я ждала Аришку (было уже четыре месяца беременности), Димон решил сделать мне приятное. В одном из иллюстрированных журналов у него работал заместителем главного редактора хороший знакомый, к которому он меня направил как иллюстратора. Я пришла. Знакомый Димона оказался плюгавым тощим человечком с ленинской лысиной, которую он непрерывно, разговаривая со мной, то пощипывал, то почесывал — это, видимо, в зависимости от контекста, с иронией думала я, наблюдая за ним. Но графику мою он принял с восторгом, раз пять произнес слово «талантливо» и пообещал публикацию с краткой справкой об авторе (то есть обо мне) в июльском номере журнала. «Димон! Как я рада! — тем же вечером сказала я Димону. — Он пообещал и цветную вкладку, и обложку!» Но ни в июльском, ни в каком другом номере мои графические работы опубликованы не были. Плюгавый человечек через неделю мне позвонил и сообщил (как хочется написать: «таким же плюгавым голосом», но удержусь), что Димона он знает давно и не может ему отказать, а двух авторов, точнее, автора и художника... но все равно двоих сразу провести через главного редактора ну никак нельзя, потому в июльском номере, к сожалению, вместо моей графики будет опубликован рассказ Димона с его авторскими иллюстрациями.

— Но он ведь не умеет даже белку нарисовать! — воскликнула я.

— Примитивизм в цене. — Человечек дунул в трубку. — Главное, что авторские иллюстрации. И, понимаете, он сам меня об этом попросил, а я ему кое-чем обязан. Так что простите.

— Вы же мне лично обещали, — сказала я, чуть не плача, — но это же обман! Нечестно!

— А где вы видели сейчас честность? — всхлипнул человек.

И тогда внезапно — каким-то не своим голосом — я произнесла:

— Но и вас тогда скоро в журнале не будет!

Димон, которому я единственный раз в жизни, именно в тот вечер, дала пощечину, потом говорил, что дух моей бабушки его приятелю отплатил: того уволили через месяц, он потерял престижное и неплохо оплачиваемое место под солнцем, остался без работы и вынужден был стать поденщиком. Но я, прочитав в десятый или двадцатый раз письмо деда Арсения, подумала: не сама ли родовая сила вступилась за меня?

— Ты не боишься своего Димона? — как-то спросила Юлька, снова обвитая сигаретным дымом, как прозрачными змеями. — Ведь, я уверена, он жаждет твоей смерти, чтобы жениться на другой какой-нибудь юной телке, раз с Люськой не вышло...

— Порядочная девушка оказалась, — усмехнулась я.

— Или решила, что у твоего Димона мало денег, чтобы купить ее, такую красавицу!

— Не боюсь, — с опозданием ответила я на ее предыдущий вопрос. — Точнее, уже не боюсь. Знаешь, я начала чувствовать что-то такое, как объяснить, ну точно на мне панцирь непробиваемый, непроницаемый, от которого все зло, направленное на меня, отскакивает и рикошетом возвращается к тому, кто мне зла пожелал.

— Значит, твой Димон скоро помрет!

— Я этого не хочу. У меня ни разу, в самые тяжелые моменты наших с ним конфликтов, таких мыслей не было. Пусть живет и процветает, я жду, что он все равно вот-вот кого-нибудь подцепит и подаст на развод сам... Хотя мне без него будет скучно: он как человек-театр.

— Только пьесы становятся все более зловещими! Твой Димон тебе готовит подлость, вот увидишь! Еще когда я узнала, что он скрывает от своей первой жены и старшей дочери, что у него есть семья, про него мне стало все ясно. Он нормальный среднестатистический гад. Уж прости.

— Димон совершает подлые поступки, всегда имея для них благовидное объяснение. То он спасал приятеля от его «чувства собственности» (так он в очерке своем написал) — и потому пытался прихватить у него часть бизнеса, правда, ему это не удалось, то не дает мне кредит на открытие персональной выставки, чтобы у меня «не развилось тщеславие»...

— Завидует он всем и тебе, вот и все. Всю вашу совместную жизнь. А ты просто непробивная, у тебя нет коммерческой жилки. Какая может быть коммерческая жилка у летающей улитки? И, между прочим, почему ты сама не можешь вынуть деньги из оборота предприятия? Это же ваш семейный бизнес? Почему он должен тебе давать, благодетель нашелся!

— Юля, — сказала я грустно, — если бы я требовала у него больше денег, чем прожиточный минимум, на который живу с Аришкой и который он отстегивает от общего бюджета, ездила бы за рубеж, устраивала себе выставки, я бы уже умерла! А теперь прикинь, были ли у меня деньги на меня, Аришку ведь нужно было обувать, одевать, ведь она бурно

росла и сейчас еще растет, и вкусы ее меняются, а кроме того, необходимо покупать ей электронику, книги, оплачивать дополнительный английский, бассейн, художественную школу и так далее. Попроси я давать мне из общего бюджета больше, его бы жадность просто убила меня, выстрелив без промаха — лучше инога киллера. Как его жадность убила мужа его первой любви — Галки. Ведь, надо отдать должное прагматичному и одновременно странному, как может показаться, уму самого Димона, он *все о себе знает сам*. Я раньше считала, что его мистические объяснения — невроз, а после поняла: под его мистикой — правда. Правда его собственного подсознания. И сила его жадности именно такова! И она вступает в противоречие с его совестью.

— У него есть совесть?!

— Есть. И есть тот допустимый предел отступления от правды, который для Димона, как он считает, не опасен. Просто он очень лжив — и скрывает свои настоящие мотивы в первую очередь от самого себя.

— С хорошим, однако, мэном ты связала свою судьбу, дорогая подруга!

— Он не худший. Сейчас почти все бизнесмены, возвращенные при социализме, таковы: двойная мораль у них в крови. А Димон все-таки одаренный человек...

* * *

21.08

Жара. Правда, жару я переношу легко. Да, впрочем, и холод тоже.

Вот смена погоды на меня действует кошмарно: сутками тогда болит голова. Мы с моей шоколадкой поплавали, и, когда вернулись на лежаки, я чувствовал себя снова молодым... Лучшее, что было в моей жизни, — студенческая пора. На филфаке ведь почти одни девушки! Мы легли и стали беседовать. Вдруг смотрю, напротив какая-то девушка показывает своему парню чудеса растяжки: она села на шпагат и выгибается то в одну сторону, то в другую. Как раз в желтой прессе вчера прочитал про роман президента с гимнасткой, а что, гимнастки, точно, впечатляют. Почти как балерины.

Прочитала все это я со смартфона, гуляя по парку с Юлькой. Было воскресенье, Юля вчера сдала очередную работу и могла себе позволить расслабиться, а я, в общем-то, работаю всегда, ведь художник — это прибор восприятия, и если он отключается, значит, художника больше нет.

Юля выглядит очень молодо: маленького росточка, худенькая, с коротким каре пепельного цвета — очень симпатичная у меня подруга. Я не удивилась, когда она, взяв напрокат велосипед и бросив меня на теплой дорожке, по которой скользили солнечные блики, играя в жмурки с тенями листьев, вернулась не одна, а в сопровождении велосипедиста. Около меня они остановились, придерживая велосипеды.

— Знакомься, это Юрий. Причем Юрий Юрьевич!

Я представилась. Юрий мне понравился: умные глаза, офицерские (до 1917 года) усы. Лет... А, в общем, какая разница, сколько ему лет,



шелестела Юлька, когда, сдав велосипед и простившись с новым знакомым, вернулась ко мне. У нас ведь с тобой тоже начало осени. Не согласуешь. Почему? Знаешь, периоды жизни делятся как бы на подпериоды: например, молодость можно разделить на юность молодости, молодость молодости, зрелость молодости и старость молодости. И человек, у которого старость молодости, старше того, у кого юность зрелости. А у нас с тобой сейчас еще не осень, а вторая половина августа, самая зрелость зрелости. Так что не унывай!

— И не думаю! — ответила Юлька, и ее сорокасемилетняя челка озорно подпрыгнула.

* * *

А через три недели мне позвонила наша бывшая домработница Клавдия, та, что невольно поспособствовала скорейшей отправке Ирэны на тот свет. Я не любила Клавдию. Но старалась быть справедливой: мне она помогла в самый трудный период, когда Аришка вдруг заболела корью, да еще с тяжелыми осложнениями. А потом Димон забрал Клаву в деревенский дом. И, кстати, стал ее звать Клеей. Клава-Клея оказалась страшно общительной молдаванкой, ее словоохотливость меня напрягла, ведь я способна молчать днями, занимаясь своей работой. И готовила она, на мой взгляд, ужасно: вкус подгнивших помидоров в супе, испорченной сметаны в блинах и купленных по дешевке, почти просроченных конфет, конечно, напоминал Димону сверхэкономную кухню его детства. Картины мои и графика показались Клаве-Клее непохожими на жизнь; ее здравый и хитрый ум отметал все ирреальное, фантазийное и просто непонятное, и она меня сразу осудила за то, что я из-за дурацких картинок не создаю мужу сытный, пусть и гниловатый уют в деревенском доме, и все это тут же и выпалила. То, что я ему там нужна как рыбке зонтик, было для Клавы за пределами ее понимания семейных отношений. Предоставленная мной Димону эротическая свобода — как сделал Дали когда-то со своей Галой, пустившейся в осеннем возрасте во все тяжкие, — воспринималась Клавдией, которой я что-то попыталась объяснить, как моя бабская глупость. Что ж. Может быть, в каком-то смысле она была права...

— Да ты что, — возмутилась она, без всяких экивоков перейдя сразу со мной на «ты», — мужика в этом возрасте, когда бес в ребро, нужно дома тихонько подпаивать и сладкой семейной постелью убаюкивать. Тогда никуда старый хрыч не денется.

— А если сопьется?

— Да глупости ты говоришь, хозяйюшка, — пропела она с неожиданной ласковой интонацией, — вино для того Бог и создал — чтобы с его помощью мужа держать. Выпивать он должен спокойно и весело у себя дома, тогда и никуда бегать ему не захочется. А ты, небось, сама вина не пьешь?

— Не пью.

— И секса не хочешь?

Я не ответила. Но она ответила за меня.

— По тебе видно, что в облаках витаешь, не по земле нашей родимой ходишь. А мужику в возрасте нужен теплый дом, сладкая постель, сытная еда — и все, он тогда к дому привязан.

— Спасибо, Клавдия, за советы, — сказала я ей, — но есть кое-что еще: мода. Сейчас среди тех, кто имеет приличные деньги, модно иметь молодую любовницу и демонстрировать ее окружающим. Или даже поменять старую жену на молодую.

— Это ты-то старая? — Клавдия покачала головой. — Да ты еще женщина вполне!

— Для моего мужа все, кто старше сорока, уже старые.

— Я вот ему покажу, кто старый, а кто молодой! — И глаза Клавдии сверкнули озорным мстительным блеском. — Он-то сам каков, а?!

Коротконогая, слегка переваливающаяся, черноволосая, сладкоголовая — Клавдия очень нравилась себе, в этом был залог ее личного счастья.

— Муж мой так меня любил, не выскажешь. — Она вздохнула. — Помер три годка уже.

За деревенский дом Клава взялась с энтузиазмом. Чего там Димону она показала, меня, если честно, не сильно интересовало: Димон давно не вызывал у меня ревности. Главное, что Клавдия как домоправительница вполне устраивала Димона, все меньше времени проводящего в Москве и все больше в деревне. Она готовила ему на испорченном масле, собирала с земли подгнившие овощи для супа... В общем, все было как в детстве. Но через некоторое время совершенно внезапно Клавдия получила от Димона от ворот поворот в связи с появлением Люси. Домработницу это очень обидело. Она даже позвонила мне, вылила через телефон ушат оскорблений в адрес Димона и «развратной девки», высыпала кучу обид на его скупость и завершила разговор фонтаном негодования, что деньги у него за работу приходилось буквально вырывать силой, что он на любую девку заглядывается на дороге, потому штрафы платит в три раза большие, чем зарплату Клаве... Клава с ним, когда ездила на рынок, чуть от страха не помирала: всегда он по шоссе несется задним ходом, если увидит какую смазливую бабенку, и поворачивает там, где нельзя, и вообще он недостоин такой хорошей жены, какой являюсь я. Устроилась она горничной в маленькую гостиницу соседнего с деревней населенного пункта. Последний ее пассаж (о хорошей жене) меня искренне удивил. Но еще больше удивил новый звонок Клавы, ведь между двумя нашими с ней разговорами, точнее двумя ее монологами, пролегло несколько лет.

— Вы бы, это, — сказала Клава, запамятавав, что когда-то легко звала меня на «ты», — в деревню-то бы наведались, ваш муж новую девку привел в дом, та-то Люська была простая и открытая, все на лице написано, и улыбалась много, а эта прячется от людей, ее раз увидела, столкнулась в дверях, так она точно оскалилась, а не улыбнулась. В деревне говорят, ее к вашему-то посадил Анатолий, который у него теперь с женой работает, жена вредная, но как батрачка у него, видно, из-за денег, а сам-то он бандит. И старики Цыгановы сказали мне по секрету, что он не зря к вашему нанялся в работники: у него дальние планы насчет усадьбы, он все захватить хочет — и дом, и гостевой дом. В деревне его боятся, мало ли что он может по мести сделать. Даже малых детей от него



прячут. И что я вам скажу: как увидела я, что в доме вашем тень этой девки мелькнула, сразу почувяла, ваш муж уже не жилец, а этот Анатолий все присвоит, вот увидите. Подавайте, пока не поздно, в суд на раздел общего имущества, это теперь можно оформить как брачный договор... И что вы своего... раньше-то не бросили?

— Спасибо, Клавдия, — сказала я, непонятно чем более пораженная — то ли новостью про Люсю дубль два, то ли доброжелательным советом Клавдии. — А вы-то как?

И она стала рассказывать, что владелец гостиницы платит ей исправно, но постояльцев мало и то почти все приезжают летом... И что у нее родился в Кишиневе внук, и что она скоро уедет туда, может быть и навсегда. Ее капля доброжелательности так сильно подействовала на меня, что мне, никогда не испытывавшей к Клавдии никаких теплых чувств, вдруг почему-то стало очень грустно, что эта грузная, тяжелобедрая молдаванка уедет навсегда.

* * *

И, конечно, я сразу позвонила Юльке и пересказала ей наш разговор с Клавдией, и, конечно, она ко мне примчалась, обкурила всю кухню, и мы с ней залезли в «Живой журнал», чтобы узнать подробности — что за особа, которая не улыбнулась Клавдии, а как бы оскалилась, появилась в доме на Оке? Но, к нашему удивлению, ничего не узнали. После рассказа об эпизоде с гимнасткой на пляже Димон вдруг замолчал. С 21 августа записей не было. А на компьютере значилась уже дата 14 сентября.

— Замаскировался, — разочарованно сказала Юлька.

— Нет, скорее весь охвачен новой страстью. Клавдия, кстати, сообщила, что девицу ему подсадил новый работник Анатолий, по ее словам, бандит, который хочет всю деревню, то есть наши дома, присвоить.

— Это не так легко!

— В наше время все возможно.

— Если этот Анатолий действительно бандит, это посерьезней, чем розовая мечта родителей Люси, согласись!

— Не хочется мне впадать в детектив.

— А давай съездим в деревню, все увидим на месте. И этого Анатолия.

— Давай. Только когда Димон уедет.

— А она останется?

— Думаю, он возьмет ее с собой.

— В качестве кого?

— Юля, ты что, сама с Луны свалилась? Какая разница? Оформит ее на предприятии каким-нибудь менеджером временно и командировочные заплатит.

— И не только командировочные.

— Не только. Так что подождем.

И я оказалась права. В конце сентября Димон приобрел квартиру, на покупку которой он требовал от меня экономии больше десяти лет, и устроил жуткий скандал, что Аришка просит у него ключи, что-

бы попробовать пожить отдельно, как он же, Димон, ей и обещал уже три года подряд. И не только обещал, но всячески настраивал ее против меня (Ариша все мне рассказывала), тебе нужно от матери отделиться как можно быстрее, учил он, какое время, такая и правда, сейчас время активных и напористых, она же совсем не такая, она и тебя воспитывает неправильно, ты вот биологию выбрала, что, хочешь мыкаться на копейки, как лохи, тебе нужно начать свой бизнес, я помогу, финансирую тебя на первом этапе, как только ты отделишься от своей матери, которая выживает только благодаря своей экстрасенсорике, бабка-ведьма ей до сих пор с того света помогает, я ее боюсь смертельно! А ты нормальная девчонка, и твоя мать на тебя дурно влияет, она старомодная, хотя почти Мессинг, а тебе жить в реальном современном мире, станешь жить одна, буду тебе помогать, вот покупаю для тебя квартиру.

— Всё у меня хотите отнять! — злобно орал теперь Димон. — Я, можно сказать, первую свою квартиру заимел — и ту жаждете присвоить!

— Но ведь ты сам мне обещал! — кричала Аришка в мобильный. — Ты все годы мне твердил, что я должна жить отдельно от мамы! Должна становиться взрослой! Ты мне деньги на бизнес обещал!

— Ты мерзкая, гадкая, ленивая девчонка, — ответно орал он, — тебе бы только все забрать у отца! Не отдам я тебе квартиру, поняла?! Не! От! Дам! Хватит сидеть на моей шее! Иди трудись! Мети улицы! Зарабатывай себе на кусок хлеба! Ты вообще, может, мне не дочь! У твоей матери и до меня был мужик, небось от него она тебя и произвела! Ты на меня ни капли не похожа!

— Ты! Ты! — Арина заплакала. — Мама ни разу тебе не изменила, а ты... ты... Я и не хочу быть на тебя похожей!

Ариша лежала на диване и рыдала. Я сидела рядом.

— Зачем, зачем он так гнусно о тебе говорит?! Почему он стал таким ужасным?!

Я молчала.

— И что, у тебя до него, точно, был другой?!

— Да, — сказала я. — Я собиралась за него замуж. Но Димон разрушил наши с ним отношения. Устроил шантаж. Это был 1993 год. Больше мы с ним не виделись. А через полтора года я вышла замуж за твоего отца.

— Он тебе все разрушил, а ты простила?!

— Он просил прощения и клялся, что причиной была его большая ко мне любовь.

— И ты поверила?!

Вскоре Димон уехал в город Н., где работало наше предприятие (там у Димона по-прежнему сохранялись нужные и дружеские связи, было дешевле сырье), и увез свою новую любовницу с собой.

Ни в Москву, ни в дом на Оке он уже не вернулся.

(Окончание следует.)

Любовь КОЛЕСНИК

ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

* * *

В нищем саду соловьином
хмурая речка течет.
Пахнет зоманом, заринном,
явкой с тоскливой повинной,
вывеской «Переучет»,
выведенной на картонке
ржавой помадой губной.
Краешек хлебушка тонкий,
краешек небушка звонкий —
все это рядом со мной
в страшном лесу безголосом,
в нищем саду нежилом.
Гибель проходит с покосом.
Небо кровит купоросом.
Птичке Твоей тяжело.

* * *

Значит, осень все-таки существует:
холода по утрам, паутень тумана.
Скрой меня скорее, из неба дует.
Одолей-трава отболела рано,
отмолилась венчиком, отломилась.
За деревней лес, а в лесу деревья.
В этой серой башне хранили силос
те, кто нынче умерли-постарели.
А земля незыблемая такая,
как при Пересвете и Челубее.
Я встаю на утопленный в поле камень,
и ему не делается больнее.
Да и мне. Постылость одна, усталость,

морозь-изморось; росно, промозгло, сыро.
 Журавли улетают, а я осталась,
 как забытый конь городского цирка.
 И киваю белым своим плюмажем
 посреди откосов, осин, укосин.
 Паутень тумана, земная сажа.
 Значит, осень все-таки.
 Значит, осень...

* * *

Темно, как у негра в хижине дяди Тома.
 Мы так одичали, что впору стучать в тамтамы.
 Мой маленький город, в Москве от второго дома
 до новой работы ты вместишься весь до такта.
 Лежащий костями в безымянном земельном братстве,
 меняющий глав, как горящие шапки Сенька,
 мой маленький город, в зеленом твоём убранстве
 пылит седина, оседающая на семках.
 И я оттого ли сиплю и скриплю зубами,
 бреду, спотыкаясь, сквозь площадь твою на ощупь?
 Мы что-то не сделали в темень этой сами.
 Холодная Волга проносит врагов, полощет
 ковры, устилавшие днища трущоб хрущевок.
 Мой маленький город, сто первой верстой накрытый,
 пропущенный Пушкиным, далее был прощелкан.
 Дожди, колея бездорожья стоит корытом.
 Какие-то люди мимо проходят, ежась.
 Ржавеет вода, растекается соль по следу.
 Мой маленький город, с кем ты тут остаешься?
 — Приедешь обратно?
 И я говорю:
 — Приеду.

* * *

День энергетика или
 самая длинная ночь?
 Лунная пуля навывлет,
 мягкая желтая сочь —

круглая, с контуром бледным.
 Холод простерся вокруг.
 Провод ли сдвоенный медный,
 сцепка сжимающих рук?

Что меня в жизни удержит
или тебя сохранит?
Солнце, встающее реже?
Водка, оплетка, магнит?

Все, не успела. К закату
катится лампочка дня.
Что там гудит? Трансформатор?
Или же все-таки я...

* * *

На небе щелкнуло реле,
снег выпал скопом, оптом,
и мы бредем в белесой мгле,
придерживаясь оптим.
Снег выпал, городок пропал,
завьюжен и засвечен.
Петляет четками тропа,
и согреваться нечем.
По ней уходим в полусне
к сердечному зимовью.
А лето капает на снег
шиповниковой кровью.
Вот повод поклониться льду,
твердейшему, как яхонт.
Снег падает, я в нем иду
и грею горстку ягод.

* * *

Колоннады речного вокзала, немаков цвет,
штукатурочный саван падает в Волгу долго.
Я дроблю отражение камнем, схожу на нет,
осыпаюсь с ветхим кораблеприимным домом;
отсыпаюсь, солдатка чрево несет пустым,
и кирпичные зубы крошатся с голодухи.
Я несусь на щите в межстоличный четвертый Рим
и себе и ему постилаю на божьем пухе,
на лоснящемся пузике маковки золотой,
на звериной пуще, что нас через век накроет...
На закате, в закате, распластанном над водой
из любви и печали снова его отстроят.

* * *

Лабухи на набережной Цоя
громко исполняли мимо нот.
Мы за Цоя выпивали стоя,
собирались через море вброд.
Выпивали, пели, выпивали,
перемен хотели, перемен
и слова друг другу отдавали,
ничего не требуя взамен.
Лыко, что вязали, было в строку,
говорила со звездой звезда.
Знали, что не будет одиноко
больше никому и никогда.
«Ты такой большой, а веришь в сказки...»
Над тобой смеялась, над собой.
И луна, как дырка от указки,
над моей зияла головой.

* * *

Креозотно кричит электричка —
александровский голос труда.
Медным тазом легко и привычно
нас с тобой накрывает беда.

Растворенные в городе этом,
винно-водочном, ватном, ямском,
мы идем, словно крутим планету,
каждым шагом скрипим башмаком —

как повинной, лежащей на рельсе,
как невинной, сеченной стократ.
От железки студено, согрейся —
без закуски, рывком, как Сократ.

Чтоб не видеть далекого сада,
и чубушника (он же жасмин),
и небесного Града — не града
из заоблачных белых седин.

Ничего, ничего, кроме пыли —
умирание, водка, тоска
и везущие грузы утиля
караваны Владимир — Москва.

Время вышло, осталась привычка,
и некованы счастья ключи.
Надрывается в ночь электричка,
и мы тоже как будто кричим.

* * *

Не(мой), не дорогой, не говори —
обозначай пунктирными кивками.
Из пальца в мякоть клавиши вотри
гемоглобин, не сниженный стихами.
Летят леса за вымытым стеклом,
и я лечу, ничейное свеченье,
нигде мой дом, не свившийся гнездом,
на ржавых крыльях — птичье порученье.
Немилий, не люби, все хорошо,
пей водку горлом, заправляйся «пятым».
Ты сквозь меня еще не допрошел
всем тем, что в пустоте бывает свято.
Я через Лету на лету веду
мотив собой, себя веду мотивом.
Нетленный мой, неданный, ты редут
для воздуха, редукция рутины.
Тону в тебе, не подавай руки,
смерть в сказанном, а ты не поддавайся.
Ты слово мне, все прочее — другим,
не подходи, но все же оставайся.
Не(мой), молчи, и ничего, нас нет,
сердца на месте, и не надо света.
Каток-закат размазал силуэт
какой-то птицы ржавчинного цвета.

* * *

Полюби меня до гроба:
после смерти загс никчемен.
Небо, красное, как небо,
ветер тучам дует щеки.
Вечер вычтен из кармана,
медной мелочью рассыпан.
После смерти все нормально,
и земное чрево сыто.
Серый сад, изюмный творог.
Белый флаг, капитулирен.
Мне сегодня стало сорок,
так же каплет соль с градирен.
Дореми, рядами ноты
образуют марш Шопена.
Забери меня с работы,
но не сразу, постепенно.
Вот и кто мы? Гнуса сонмы,
слово, стынувшее в насте,
кораблеющие сосны,
нас вмещающие насмерть.

Данило РАЗИНЯ

ПУТЬ КАРЛЮТЫ

Рассказ

Памяти Тани

Уважаемая редакция! Предлагаю вашему вниманию рассказ на злобу дня. Сам я киевлянин. Скрываюсь под псевдонимом. О себе, пожалуй, пока все — так безопаснее. У немцев, кажется, есть поговорка: «Дьявол в деталях» — и я предпочитаю обойтись без подробностей личного характера, во всяком случае до поры. Почему — надеюсь, поймете, когда ознакомитесь с содержанием.

Автор

Р. С. Парням из СБУ советую особо не обнадеживаться: интернет-кафе, из которого я пишу, ко мне никакого отношения не имеет. Наоборот, у них здесь все очень даже патриотично: яичница и та с каким-то голубоватым отливом, кстати, невкусная. Не приду сюда больше.

Был исход ноября. Погода соответствовала. Вверх по бульвару Шевченко шел человек и любовался городом. Город, действительно, выглядел здорово. Намного лучше Донецка. Да что там здорово — он был красив. Вернее, оставался красив. Назло низким свинцовым тучам, загаженным после очередного футбола тротуарам и понатыканным где только можно нацистским билбордам с патетически-дегенеративными харями.

Дойдя до конной статуи Щорса, человек остановился и какое-то время ее рассматривал. Лихой комбриг, слегка размытый ранними осенними сумерками, казалось, вот-вот опустит воздетую к небу гранитную длань, вздыбит танцующего от нетерпения коня и продолжит методично крошить недодавленную тогда, в девятнадцатом, петлюровскую сволочь.

Налюбовавшись, человек продолжил свой путь. Только пошел не вниз, к площади Победы, а свернул влево, куда глядит памятник. На улицу еще недавно Коминтерна, а нынче, вы не поверите, имени Симона Петлюры.

Человека по его внешнему виду вполне можно было принять за потенциального путешественника: кеды, штормовка, тертые джинсы, большой туристский рюкзак за спиной, да еще вдобавок ко всему буйная, торчащая веником борода. Как у какого-нибудь киношного геолога. Или штурмана дальнего плавания. Разве что не хватало зажатой в зубах дымящейся трубки — ну чтобы полностью соответствовать образу.

Вот только в рюкзаке у человека было вовсе не то, что носят геологи. Никаких тебе компасов, образцов породы, энзэшной фляги со спиртом, теплых носков. Хотя нет, носки там были. И в каждом из них, облепленные перцовым пластырем от собак, уютно постукивали друг о друга осколочные гранаты РГД-5. В количестве тридцати трех штук. И еще две в карманах штормовки.

Когда человек очутился у массивных, открывающихся в обе стороны дверей зала ожидания вокзала Киев-Пассажирский, уже практически стемнело. Какое-то время он стоял неподалеку, прислушиваясь к попискиванию датчиков и наблюдая за шныряющими туда и обратно нервными пассажирами. За две с половиной минуты в его поле зрения попало как минимум четыре милицейских наряда. Приняв наконец решение, человек бодро щелкнул языком и двинулся в обход здания — по направлению к пригородным электричкам.

Впрочем, электрички его не интересовали. Так же как и находящаяся рядом станция метро. Человеку нужен был львовский поезд. Ненадолго. И он пошел прямо на первый путь. Только с улицы — без всякой помпы и избегая назойливого внимания расположенных повсюду в помещениях камер слежения.

Дойдя до конца перрона, человек спрыгнул на рельсы и споро перебрался сначала на вторую, а затем и на третью платформу. Туда, где на электронном табло значилось: «Львів — Київ. 19:43». И здесь уже аккуратно снял с плеч рюкзак и поставил его рядом с собой. В тени, у пропахшей мочой стенки перехода на второй этаж вокзала.

План был простым. После объявления о прибытии поезда забыть рюкзак на перроне, перейти на другую колею и из-за остановившихся вагонов бросить гранаты. Одну и за ней вторую. Для верности. Остальное сделает детонация.

Человек выдохнул, вытащил из кармана пачку «Прилуки» и обнаружил, что она пуста. Щелкнул языком, на этот раз озадаченно. Пачку смял, но не выбросил — положил обратно. Оглядевшись, направился к находящемуся в нескольких метрах киоску. Сигарет в продаже не оказалось. Зато льющийся изнутри неон на мгновение осветил лицо покупателя. Он был рыжим. Совершенно рыжим, с очень незначительными вкраплениями соломенного. Волосы, ресницы, борода — все рыжее, до ржавости.

Звали человека — Карлюта. Вообще-то в лежащем в кармане синем, с трезубцем, паспорте значилось другое имя — Антон. Однако так его никто не называл. Обращались по фамилии — Карлюта. С детства. А кроме того, это был не его паспорт. Его — оказался сожжен «градом». Вместе с женой, сыном и еще половиной подъезда типовой девятиэтажки на окраине Донецка.

Карлюта родился на Донбассе. Его мать не пережила родов. Сепсис: врачи не досмотрели. Главная виновница села в тюрьму. Карлюта остался с отцом. Отец был шахтером. Сыном шахтера. И внуком. Ну и так далее. Им вдвоем, конечно, приходилось нелегко. Но ничего — сдюжили.

Впервые Карлютой его назвала воспитательница: она всех звала по фамилии, когда злилась. Четырехлетнему Богдаше понравилось. Особенно раскатистое «р» посередине. Сам-то он тогда еще не выговаривал трудную букву — так, щелкал языком в нужных местах. И потому стал нарочно баловаться во время тихого часа — чтобы лишний раз услышать выжделенное: «Кар-р-рлюта, мать твою!» Хотя вообще-то ребенком он был покладистым, беспроблемным, по темпераменту — чистый флегматик, самый, говорят, счастливый психотип. И даже когда его задевали, а с таким цветом волос это случалось чуть ли не каждый день, терпел до последнего. Но если надо — дрался. И обязательно побеждал бы, если бы не одно но: в драках Карлюта всегда стремился наносить исключительно симметричный урон. То есть абсолютно. Не замечая боли и планомерно преследуя обидчиков повсюду, даже в девчачьем туалете. Как какой-нибудь робот или маньяк из взрослого фильма ужасов. А дав сдачи, сразу же приходил в себя, будто разбуженный лунатик. То еще было зрелище.

А потом пришла пора подростковых войн. Все поселковые пацаны, хочешь не хочешь, обязаны были участвовать в обусловленных веселым гоном сражениях стенка на стенку. Дрались около танцплощадки, чтобы видели дамы сердца. По воскресеньям, под слейдовский «Far Far Away». Здесь Карлюта тоже выделялся — неизменно, с упорством, достойным лучшего применения, целил только в то место, куда прилетало и ему. И в результате, как правило, бывал бит. Поскольку, пока он, вопреки здравому смыслу и всем канонам уличного махача, старался поразить противника непременно в левое ухо, тот беззастенчиво пользовался Карлютиной принципиальностью и лупил куда ни попадя. Впрочем, как уже было сказано, дрался Карлюта нечасто. А танцевал и того реже — стеснялся своей рыжести. Из развлечений предпочитал кино. Не в последнюю очередь из-за того, что сумрак зала хотя бы на время скрывал его непохожесть на других. Как в той поговорке про ночь и кошек.

Учился парень ни шатко ни валко. Брал в основном усидчивостью. Друзей у него, рыжего, практически не было. Да он в них особо и не нуждался. А если требовалось поговорить, шел к отцу...

Так, подождите. У нас на перроне кое-что происходит.

В его сторону шли двое. Милиционеры. Первый, сержант, совсем еще мальчишка, с торчащей из форменного кителя цыплячьей шеей. Второй — покрепче. Карлюта передвинул рюкзак поглубже в тень и поспешил им навстречу.

— Чолом, коллэги. Дубак якый, нэ?

Он старался говорить по-западенски — с подчеркнутой артикуляцией ударных гласных и характерным галицийским «нэ?» в конце фраз.

— А ну, почастьуйтэ-но котрыйсь цигаркою... вэтэрана АГО.

Прикуривая от зажигалки тонкошеего, ветеран придерживал того за руки и продолжал балагурить.

— Зараз пацанив зустрину зи Львову... Вы б тэж нэ видмовылыся по склянци, нэ, пановэ? О-ва! Чуэтэ, щоб нэ забыты: тамтай якыйсь зух

до людэй чиплявся. От тилькы зараз. — Карлюта ткнул сигаретой в сторону первого пути. — Крычить: «Ложись, гады! Аллах акбар!» И в руци якась хэрь.

Милиционеры подобрались.

— Давно?

— Я ж кажу — тикы зараз. Такый гвалт стояв, капэц.

— Пьяный? — Это спросил второй, подкаченный. — Куда дернул?

— Дидько¹ зна. До вокзалу, здається.

Значительно посмотрев друг на друга, милиционеры стали спускаться на рельсы. Карлюта поощрительно покивал:

— Бувайтэ, хлопци, хай щастыть. А я щэ тут трохы походю. — За тем с наслаждением пыхнул сигаретой, разжал в кармане ладонь с согретой в ней эргэдэшкой и произнес уже в спину парням: — Слава нацийи!

Те на секунду приостановились.

— Я кажу, слава нацийи...

— Задрали вы уже своей «славой», — процедил сержант и припустил за прыгающим по шпалам напарником.

Рассеянно глядя вслед, рыжий надувала несколько раз щелкнул языком. Как будто изображая лошадку. И пошел за рюкзаком — перебазирроваться.

— Дидько знае.

Карлюта вздрогнул от неожиданности. Взял себя в руки. Искося посмотрел из-за плеча. За спиной никого не было. Тогда он медленно обернулся.

Пацан стоял прямо перед ним. Вернее, под ним: росту в нем было метр двадцать. Ну, может, с кепкой. Но не больше. Лет десяти. Уши как локаторы, на макушке вроде ирокез.

— У нас у Львовы нэ кажуть «зна». Трэба «дидько знае». И «походю» нэ кажуть. — Здесь малолетний лингвист ненадолго задумался, а потом выдал: — Все мэнты тупи. — И, явно кое-кого передразнивая, добавил: — Нэ?

Карлюта обалдело потряс головой:

— Ты кто?

Притворяться с этим кадром, судя по всему, не имело смысла.

— Розвиднык Пэтро Сокрыко.

— Кто?

— Розвиднык. Пластун.

— Скаут, что ли?

— Сам ты скаут. Сказано — розвиднык. Э трэтього рою зелэного гнизда станыци имэни Ивана Гонты.

Карлюта улыбнулся. Неизвестно чему. Точнее, сам себе — в первый раз за последние полгода. Но не весело, а очень даже жутковато. Если бы не сумрак, от этой улыбки у Петра Сокрыко зашевелились бы его подстриженные по-индейски волосы. Впрочем, Карлюта достаточно быстро совладал с лицом.

¹ Черт (укр.).

— Слышь, малой, а много вас здесь таких... разведчиков?

— Нэ, я сам. А шо?

— Да нишо. Интересно просто. От тебя одного башку снесет, а если б целый, как это у вас там, «рой» — труба дело. Ну ладно, байвай... пластун. Пойду.

— Дядьку!

— Шо ты хочешь?

Ответ, надо полагать, был заготовлен заранее:

— Трыдцать чотыры гривни я хочу.

Сказать, что Карлюта сильно удивился — так нет. Он подсознательно ожидал чего-то подобного.

— А почему не сто?

— Бо морозыво коштуе трыдцать чотыры. — Пацан показал на киоск: — Я розвидав.

Взрослый попробовал сблефовать:

— А я вот щас твоим родителям тебя вломлю... Будет тебе мороженое... и все остальное.

— Бог в помич. А я покы що тых мэнтив пошукаю.

Сдаваясь, Карлюта полез за деньгами:

— На, аферюга. Тут сотка — мне тоже купи.

Малый с достоинством принял купюру и зашагал к освещенному ларьку. Вернулся очень довольным.

— На тры пачкы достачило: трохы своих доклав.

Карлюта, который уже надел рюкзак, только покачал головой. Он развернул мороженое и направился было в другой конец перрона. Но внезапно остановился:

— Але, тебя искать-то не будут?

— Напэвно, що будуть... А ты чому тых двоих дурыв? Вид армии ховаешься?

— Вроде того. Только с чего ты решил, что «дурыв»? Из-за «походу»?

— Нэ. Тому що я щэ до тэбэ тут усэ досліджував. Тикы ты мэнэ нэ бачив, бо ж я...

— В курсе. Разведчик. Дальше.

— Так от, ништо з тиеи стороны ничего нэ крычав. И ни з якою...

А щэ ты дав гроши: нэ боявся б — нэ дав.

Карлюта почесал затылок. Два-ноль.

Тем временем шантажист облизал пальцы и выразительно посмотрел на третью, неначатую порцию мороженого в руках у Карлюты. Тот усмехнулся, на этот раз почти по-человечески:

— На.

— Дякую. Я тоби половыну зальшу.

— Слышь, а правда, шел бы ты к родителям. Они ж, типа того... волнуются.

— Нэ, мамо спыть. Я морозыво дойим и пиду.

— А батя твой где?

— Так мы ж його и зустричаемо. Вин ботаник.



- Э-э... типа задрот?
- Сам ты задрот. Вин в инстытути. А щэ в рэгби грае. Як дасть у вухо, будэ тоби задрот.
- Ладно, не злись.
- Они помолчали. Потом пацан лизнул мороженое (оставалось чуть больше половины) и спросил:
- А твий?
- Что?
- Ну твий. Тато. Вин хто?
- А-а, мой... Мой умер. Давно уже... Тебя еще на свете не было.

Отец еще назывался папка, а если по-взрослому — батя. С ним Карлюте было хорошо и надежно. Отец избегал проявления родительских чувств, но, если требовалась помощь, непременно оказывался рядом. И делал то, что надо. Менял подгузники, строчил на машинке костюм Петрушки для новогоднего утренника, стоял в очереди на молочную кухню. Позже, когда Карлюта пошел в школу, они вместе получали двойки по математике и мастерили заданные по трудам скворечники: дисциплинированный папка ни от чего не отказывался. А выполнив все необходимое, снова исчезал с земной поверхности. Он, как и большинство жителей поселка, большую часть жизни проводил под землей.

Что касается слабостей, нельзя сказать, чтобы батя был трезвенником: тогда в тех краях мало кто не пил — разве что нарождавшееся наркоманское племя, младое и незнакомое. Но напивался он редко. Не систематически. Скорее системно — два-три раза в месяц, как часы. По скользящему графику, в зависимости от смен и загруженности общественной работой: его постоянно переизбирали в местком шахты. Каждый раз, поднимая рюмку (стопку, фужер, бокал, граненый стакан), с чувством произносил одни и те же слова: «Глюк ауф!»² Этому короткому тосту почетного стахановца выучили гостившие по линии профсоюза рурские горняки. Так в давние времена, перед тем как сесть в полусгнившие корзины и отправиться вниз, напутствовали друг друга их предки — и браво салютовали наполненными шнапсом глиняными кружками. Хотя у самих, наверное, леденела от страха кровь: на-гора возвращались далеко не все.

Карлюта-старший из всех сил стремился к этому самому «счастливному подъему». Когда у сына в раннем детстве обнаружили предрасположенность к туберкулезу (называлось «положительное Пирке»), они каждый год стали ездить на море. В Алушту, в санаторий «Рабочий уголок» — характерное для той эпохи название. Льготные путевки исправно выделял местком. Ни разу раньше не покидавший пределы области, отец влюбился в ЮБК сразу и окончательно. И загорелся идеей переселения. Он ни много ни мало задумал облапошить главную из шахтерских напастей — ту, что до срока свела в могилу несколько поколений его предков.

Многие в тех местах помнят байки о приезжих, опасавшихся по прибытии в какую-нибудь Макеевку покидать поезд. Поскольку на перроне

² Счастливо вернуться на-гора! (нем. Glück auf).

толпились кряжистые дядьки, все сплошь с подведенными глазами и легкомысленными букетиками в руках. Неместным потом уж объясняли, что дело не в сексуальной ориентации встречающих, а во въевшейся в их веки всепроникающей угольной пыли.

Там, на своем поле, она непобедима. Поэтому и туберкулез. И прочие профессиональные заболевания. У подножия же Аюдэга этой пакости просто не было. Вообще. Хотите верьте, хотите нет.

Они начали копить деньги. Шахтерам, по советским меркам, платили много. На хрен тот институт, если в забое за год зарабатывалась хорошая «копейка». В смысле, машина. Правда, еще столько же приходилось ждать очереди. Но — дожидались.

Раньше батя никогда не жмотничал. Давал без отдачи в долг, с зарплаты под настроение мог угостить половину смены, регулярно переводил средства в пользу шахтерского забастовочного движения. Забастовочного — на Западе, разумеется. У нас тогда ничего подобного не было: отсутствовали основания. Услышав, а главное, увидев в программе «Время» огневолового Артура Скаржилла, лидера мятежных британских угольщиков, он тут же внес более полутора тысяч рублей на борьбу братьев по классу с этим ихним окончательно потерявшим нюх правительством тори. Да, я забыл упомянуть: мастью Карлюта пошел в родителя.

И вдруг прежнего рубаху-парня как будто подменили. В доме был учрежден режим строгой экономии. Все подчинялось единственной цели — копить на Крым. Отец даже бросил пить — как отрезал.

В конце каждого месяца они вместе отправлялись в гараж. В гараже царил сверкающая красная «Ява». Единственная отцовская крупная покупка — сделанная в честь собственной свадьбы, чтобы катать невесту. О матери, кстати, говорили редко. Батя не хотел. А может, не мог. От случая к случаю рассматривали немногочисленные фотографии да приводили в порядок заросшую барвинком могилку на семейном участке поселкового кладбища. Несколько раз во время уборки Карлюта, не отрываясь от работы, вполголоса спрашивал, какая была мать. И получал односложный ответ: «Красивая». А дальше, в зависимости от того, насколько давно и как часто звучал пресловутый немецкий тост, либо: «Как ото в кино кажут французском... за Анжелику», либо: «Не то шо профуры здешние зашморганные... Рви давай, он там бурьян, бляха, сбоку!» В принципе, этого было достаточно. Оба варианта устраивали.

Хотя кое-что Карлюта все же знал. Однажды зимой у поселкового кинотеатра на него налетела пьяненькая Роза Ипатьевна, местная киноманка. И за десять минут выложила больше, чем батя за всю Карлютину жизнь. Что мать воспитывалась в детдоме, вроде бы в Белгороде. Потом окончила институт и приехала сюда по распределению. Работала учительницей русского языка. А молодой тогда еще батя влюбился в нее без памяти и больше года обхаживал — даже записался в вечернюю школу. Весь поселок за них болел. А потом они поженились и жили счастливо. Только недолго. Вот как-то так. Впрочем, не исключено, что Ипатьевна что-то перепутала: в тот день как раз крутили «Весну на Заречной улице».

Так вот насчет денег. В гараже они расчехляли «Яву» и складывали в коляску увесистые пачки пятидесятирублевков. На каждой из пачек имелась аккуратная надпись: «Дом», «Катер», «Теплицы», «Боде на свадьбу», «Внукам» и так далее. К 1991 году нужная сумма оказалась почти собранной. Оставалось совсем чуть-чуть.

Но, как выяснилось, все это время пыль просто выжидала. А затем перешла в атаку и одержала верх. Не напрягаясь — она просто превратила в себя деньги. Посредством печально известной павловской реформы — когда в одночасье купюры достоинством в пятьдесят и сто рублей стали стоить не дороже бумаги, на которой были напечатаны.

Отец поднялся из лавы 25 января. К тому моменту все уже было кончено. Узнав о случившемся, бедняга купил ящик водки. И прямо из забоя отправился в запой, из которого так никогда и не вышел.

Это длилось около полугода. Сначала его, недавнего передовика и ударника, перевели в шахтоуправление. Затем учетчиком. И так далее — вплоть до вахтера на складе списанных вагонеток и прочей лабуды.

Однажды старик вернулся домой почти трезвым. Взял с полки альбом с фотографиями и ушел в гараж. Пробыл там долго. А потом выкатил за ворота прекрасную даже в темноте, вкусно пахнущую бензином «Яву». Та завелась с первого раза, как будто ждала. Она и ждала — без малого двадцать лет, с тех самых пор, когда хозяин осторожно высадил из коляски молодую беременную жену и повел ко входу в родильное отделение.

Карлюта, почуяв неладное, выскочил во двор. Да не успел. Мотоцикл взревел и умчал седока прочь.

Полночи необычный рокер носился от террикона к террикону, оглашая окрестности заполошным: «Глюк ауф!» Казалось, это очнулась и мечется по степи неуспокоенная душа какого-нибудь удушенного молодого вардейцами фашистского самокатчика.

Но, несмотря на сто раз повторенное заклинание, он так и не воспарил. Наоборот, после очередного своего клича провалился сквозь землю. И там сгинул вместе с мотоциклом — как потом оказалось, угодил в одну из первых нелегальных копанок³.

Начиналась новая эра. На смену Госплану приходили господа Щербани и Ахметовы. Серьезные господа. И абсолютно безжалостные.

— Шановни пассажиры, швидкый поизд Львив — Къив затримується на нэвызначенный тэрмин. Про час прыбуття будэ павидомлэно додатково.

Как говорил Штирлиц: «А вот этого предвидеть не мог никто». Одно дело — ждать полчаса, а другое — неопределенное время шариться по перрону с полным рюкзаком гранат. Возможно, и до утра.

Надо что-то придумать. Как минимум уйти пока с точки атаки. Здесь слишком заметно.

Тем временем пацан вдруг занервничал и быстро протянул Карлюте недоеденное мороженое:

³ Копанка — кустарная угольная разработка.

— На, твоя половына.

Тот хотел было отказаться, но мальй скороговоркой прошептал:

— Бэры швыдко, мама йдэ.

Впрочем, было уже поздно. Позади послышался быстрый, усиленный эхом платформы цокот каблучков, а затем возник голос. Очень мелодичный голос. Несмотря на грозную интонацию.

— Ах ты ж... лайдаче! Тоби хто дозволив? А ну ходы сюды. Пэтрэ... кому кажю!

«Лайдак» и не подумал послушаться. Разве что, скрестив на индейский манер руки, невозмутимо развернулся в сторону угрозы. Карлюта тоже посмотрел назад. Мама у Пети была стройной. С короткой мальчуковой стрижкой. По мере приближения ее голос звучал все менее требовательно. Сначала в нем появились примирительные, а под конец едва ли не просящие нотки.

— Ну хйба так можно? Я ж хвылююся... Пэтрэ! Ты йив морозыво!

Это был не вопрос. Это было утверждение. А голос снова перешел в обличительную тональность.

— Ну йив.

— «Ну йив»...

Она уже стояла рядом и передразнивала очень похоже — видно, семейное. А еще женщина оказалась очень симпатичной.

— Що ты за дытына... людына така? Забув, що ликар казав?.. И дэ ты взяв гроши?

— У нього. Знаюмся, це Рудый Лыс⁴. А ця скво — моя маты.

Карлюта смущенно протянул руку:

— Антон.

Безошибочно определив в нем русскоговорящего, она ответила без всякого акцента:

— Очень приятно. Лина. Вы нас извините, пожалуйста. Сколько я вам должна?

— Да нисколько. Я ему сам предложил: не лезло уже. Накупил сдуру три пачки. Психанул.

Они помолчали. Лина спросила:

— Тоже «Львов — Киев» ждете?

— Да, жду.

— Встречаете кого-то?

— Я-то? Ну да, вообще, встречаю.

— Мы тоже. Папу нашего. А вы? Жену?

Карлюта секунду помедлил, глянул на пацана. Потом ответил:

— Не. Не жену.

Он встретил свою будущую жену, приехав в родной поселок продавать дом.

Как только схоронили отца, вернее то, что от него осталось, Карлюта перебрался в Донецк. В армию его не взяли по той же причине, что

⁴ Рыжий Лис (укр.).

и в шахту, — из-за слабых легких. Сказали, что солдата из парня не выйдет. Кстати, ошиблись.

Оглядевшись в городе, Карлюта попытался поступать и пролетел. Без шансов. Срезался на первом же экзамене. Не смог ответить, что такое принцип талиона. Потом нарочно посмотрел — очень понравилось. И запало в память. Что же касается высшего образования, не очень-то и хотелось. Подумаешь, институт.

Он решил определяться на работу. И ничтоже сумняшеся обратился в бюро по трудоустройству (была в советские времена такая организация). Оттуда молодого, аккуратно причесанного комсомольца официально направили в недавно созданное предприятие с интригующим названием «Спецкомбинат № 1». На должность агента в конторе ритуальных услуг.

Карлюте повезло. Он, можно сказать, стоял у истоков: спецкомбинат только начинал свою славную историю. Уже через полгода за свободную вакансию здесь давали пять тысяч рублей. Соискатели, все сплошь солидные люди, с вузовскими дипломами, душу готовы были заложить, чтобы попасть к Карлюте в стажеры. Если бы не сделали этого много раньше, по совершенно другим поводам. А так — просто платили деньги. Разумеется, не Карлюте.

Наш герой оказался как будто рожден для этой работы. Он был немногословен, надежен и всегда трезв, в отличие от большинства коллег. Внушал, в общем. Скорбящие родственники стремились иметь дело именно с этим вежливым, искренне соболезнующим молодым человеком. Говорили так: «Слышь, в пятой комнате рыженький такой штымпок — вот к нему идите». И Карлюта не подводил. У него неизменно находилось для каждого время, правильные слова, а также не предусмотренный прейскурантом оркестр и надежные «плечевики», опять же трезвые. И много еще чего, за вполне разумную цифру. Кстати, он предпочитал мелкие купюры. На всякий случай.

Через год накопленных дензнаков хватило на вполне приличную кооперативную квартиру в Куйбышевском районе. А на обстановку не хватило. Вот он и решил реализовать неумолимо ветшающий родительский дом. И засобирался в поселок. Покупатели нашлись заранее, поэтому дело оставалось за малым — оформить куплю-продажу.

Стефа (редкое для наших краев имя) работала поваром в столовой, куда Карлюта зашел пообедать. Тоже приехала на практику, как когда-то Карлютина мать. Только после кулинарного техникума. И не из Белгорода, а из-под Ивано-Франковска. В СССР это было в порядке вещей. Правда, Союз к тому времени уже распался: шел 1992 год. Но кое-какие рудименты в системе профтехобразования еще оставались. Как и сама система. Хотя и недолго.

Карлюта увидел ее в окошке раздаточной — как она в запарке сдувает со смуглой щеки выбившийся из-под поварской шапочки непослушный иссиня-черный локон. И тут же влюбился.

Плюнув на все дела, юный негоциант дождался закрытия и пригласил девушку в кино. Раньше рыжий никогда на подобное не решался. И поэтому был несказанно удивлен и даже слегка запаниковал, когда

Стефания согласилась. Почему, что она в нем нашла, мы с вами знать не можем.

В общем, они пошли в кино. На «Анжелику — маркизу ангелов». Вместо того чтобы смотреть фильм, Карлюта исподтишка любовался тонким, четко очерченным Стефиным профилем. Девушка, наоборот, была полностью поглощена происходящим на экране. Она сидела, слегка подавшись вперед, и в наиболее драматические моменты прикрывала ладошкой по-детски припухлые губы. И это было лучшее, что видел Карлюта за свои неполные двадцать два года. Лучшее. И вообще все было замечательно. И все устраивало. Даже обосновавшаяся в первом ряду, готовая в хлам Ипатьевна, периодически объявлявшая очаровательную Мишель Мерсье проституткой.

Назавтра показывали серию «Анжелика и король». Ипатьевна, видимо, страдая похмельем, отсутствовала, обстановка располагала, и Карлюта решил: посреди сеанса он прокрался рукой за спинкой соседнего кресла и неумело обнял свою спутницу. И ничего страшного не случилось. Стефа затрепетала, глядя прямо перед собой, прошептала что-то вроде: «Нэ можно... Нэ руш», а сама, вместо того чтобы отодвинуться, робко прильнула к его плечу. Так они просидели до самого финального титра.

Через день, на «Неукротимой Анжелике», отдохнувшая Ипатьевна исполняла свой репертуар по полной. Но это уже ничего не могло изменить. В тот вечер Карлюта и Стефания поцеловались.

А в субботу, после «Анжелики и султана», он сделал ей предложение. И увез в Донецк обставлять новую квартиру: сделка по дому все-таки состоялась.

На следующий после свадьбы год Стефины родичи признали Карлюту зятем и даже приехали в гости. И тогда признали еще больше: «рудый дурэнь» неожиданно оказался прекрасным хозяином. В Прикарпатье таких любят.

Молодые зажили дай бог каждому. Стефа трудилась в солидном ресторане, а Карлюта все там же — в спецкомбинате. Его коллеги становились директорами кладбищ, шли в бизнес, гибли от пуль конкурентов, некоторые, кто поудачливее, избирались в Раду, уезжали в Киев и уже там гибли от пуль черт-те кого, а он оставался рядовым, овечьим преданием агентом городской ритуальной службы. Снискавшим заслуженное уважение сотрудников, равно как и клиентов... извиняюсь, их родственников. Имел пусть не заоблачный, но вполне солидный, а главное, стабильный доход. Стабильнее некуда. С тенденцией к возрастанию — в полном согласии с демографическими показателями в регионе и спецификой нашей постсоветской действительности, где смерть намного неизбежнее чего бы то ни было, даже налогов.

Счастливая пара стремительно богатела. Сначала появилась машина. Чуть позже — дача в Урзуфе, на берегу Азовского моря. Не Крым, конечно, но все же. Потом были регулярные поездки за границу и много прочей приятной всячины. Не было только детей. Как они ни старались. Однако терпенье и труд все перетрут — через четырнадцать лет родился Степан. В 2006-м. Парень глазами-сливами и оливковой кожей пошел



в мать, а рыжестью и упрямством — в Карлюту. И очень способный к музыке. Будущий флейтист. В шесть лет выдавал такие фруллато — майка заворачивалась, как говаривали ритуальные спецы, описывая особенно страдную вахту. Учительница из детской джазовой школы души не чаяла в маленьком Стыце. И давала наставления по его воспитанию.

У этой бездетной учительницы, бывшей шестидесятницы и тайной хиппи, имелась весьма оригинальная педагогическая теория. Она считала, что если ребенок будет постоянно слушать «Битлз», а особенно Джона Леннона, то обязательно вырастет хорошим человеком. Даже не зная английского.

Карлюта со Стефой не относились к таким уж меломанам. Предпочитали советскую эстраду: «Песняров», «Веселых ребят», Софию Ротару. В крайнем случае группу «Кино». Но, будучи любящими родителями, не могли не учитывать мнение специалиста. Пусть и слегка с придурью. Поэтому в доме часто звучали всевозможные «Рабер соулы» и прочие «Хард дэйз найты». Что иногда немного доставало. Особенно по вечерам, после трудного трудового дня.

Еще Карлюта временами ревновал. Про себя. Абсолютно, надо сказать, обосновательно. А в остальном все шло хорошо. Почти двадцать лет. Они жили долго и счастливо... но умерли не в один день.

...Когда все началось, у Карлюты на работе было собрание. Разбирали дело одного придурка из кладбищенских. Накануне тот, находясь в изрядном подпитии, нахамил старушке. Что-то они там отмечали, на одном из дальних участков. В сумерках. Старушка подошла к веселой компании с целью договориться подсыпать земли на могилку мужа. Сугубо для облегчения коммуникации она спросила, помнят ли ее «мальчики». И, услышав в ответ сакраментальное: «Помним, любим, скорбим», хлопнулась в обморок. А потом накатала жалобу.

Придурок шмыгал носом и божился, что это он пошутил. Ну что тут скажешь? Карлюта председательствовал. Он как раз собирался подытожить и внести предложение о переводе придурка в «действующий резерв». На два месяца. С сохранением исключительно официальной зарплаты. Чтобы тому стало не до шуток.

Председатель встал, все замолчали. (Перед этим в задних рядах зубоскалили по поводу объявленной накануне в Киеве антитеррористической операции.) Карлюта приготовился говорить, открыл рот, и... это спасло его барабанные перепонки. Где-то рядом, в непосредственной близости от здания, возник натужный рев, тут же превратившийся в вой, а затем послышалась череда самых настоящих взрывов. Все, кто был в актовом зале, ринулись к выбитым ударной волной окнам. И успели заметить уходящий в зенит штурмовик.

Внизу на причудливо вздыбленном, кое-где оплавленном асфальте лежали люди. Некоторые из них явно подпадали под категорию «клиент». Глаз у сотрудников спецкомбината был наметан. Даже у девочек из бухгалтерии. Участники собрания на несколько секунд уподобились соляным столбам. И вдруг не сговариваясь все разом ринулись на улицу — помогать раненым. Впереди, оглашая пятиэтажное здание пятиэтажным матом, мчался давешний придурок...

Это было начало горячей фазы гражданской войны на Украине.

Он сразу решил перевезти своих в Урзуф. И даже взял для этого недельный отпуск. Но тут пришла новость, что в пригороде поврежден подведомственный спецкомбинату объект — вследствие артиллерийского обстрела. Томимый нехорошим предчувствием, Карлюта рванул туда.

Предчувствия его не обманули. Вряд ли взэсушны⁵ пушкари нарочно целились в погост. Вряд ли эти паскуды вообще целились. Однако попали — и штук двадцать ухоженных могил, в том числе Карлютин семейный участок, превратились в одну сплошную воронку. Братскую. На дне ее посверкивала антрацитовыми вкраплениями старая знакомая — пыль. Она снова дождалась своего часа и вернула батю туда, куда определила его изначально — в тартарары. А вместе с ним мать и всех остальных, случившихся рядом.

Карлюта вытер глаза ладонью, и та стала черной. Он вдруг понял, что самое страшное еще впереди. И метнулся обратно в машину.

Он гнал изо всех сил, но не успел. Уже въезжая на свою оштетинившуюся покореженной арматурой улицу, Карлюта был подсознательно готов к тому, что увидел через несколько минут. Родная, сплошь в саже девятиэтажка плялилась на него разбитыми окнами. И в ней вместо пяти парадных теперь оставалось четыре. Одного не хватало — как раз Карлютино.

Выскочив из машины, он столкнулся с соседями из дома напротив. Те волокли изрядно помятый холодильник и походя ознакомили Карлюту с подробностями, от описания которых прошу меня уволить. Разве что эта: «грады» начали атаку ровно в час дня, когда надо было собираться в музыкальную школу...

Карлюта какое-то время бродил по пепелищу, размышляя в том ключе, что мог бы устроить похороны по высшему разряду. Если бы, конечно, было что хоронить. В одном месте он наклонился и провел рукой по невзорвавшейся болванке. Под слоем пыли обнаружилась каллиграфическая, явно сделанная женской рукой надпись: «Єдина країна — Єдина страна». И помельче: «Привіт зі Львову». Он рассеянно покивал. Достал было телефон, чтобы сфотографировать увиденное, да передумал. Просто запомнил. И неожиданно даже для себя щелкнул языком, словно поставил точку. Затем отогнал машину в гараж и отправился записываться в ополчение.

— Говорят, где-то недалеко от Львова вуйки⁶ рельсы перекрыли.

— На кой?

— Родители, шо ты хочешь. Детишек от армии спасают.

— Черт знает что такое. У меня товар скоропортящийся.

Карлюта и Лина сидели в одном из бесчисленных кафетериев второго этажа вокзала и пили чай. Он решил рискнуть, тем более что ничего другого ему не оставалось. Да и прикрытие было вполне приличным — обычная семья из трех человек. Папа, мама, сын. Почти как раньше. Разведчик Петро Соқырко проводил рекогносцировку снаружи, у сувенир-

⁵ ВСУ — Вооруженные силы Украины.

⁶ Дядьки, крестьяне (галицийск.).



ных лотков, Лина старалась не упускать его из виду, а Карлюта от нечего делать прислушивался к разговору за соседним столиком.

Там вольтерьянствовали. Двое. Лет пятидесяти каждый. Тот, который поделился новостью про «вук», запрокинул голову и вбросил в себя стопку «Ай-Петри». И не без издевки спросил:

— Чоколятки возишь или шо?

Он говорил нарочито громко, чтобы слышали окружающие, особенно Лина.

— Какой там... — Второй, со стянутой в «конский хвост» седой шевелюрой и выпученными глазами, горестно скривился (как будто это он, а не его визави только что принял на грудь). — Музыканты, мать их. Как-то с анализами связано. Щас гляну... О! Гурт «Вильный радыкал»! Творят в стиле патриотический панк. Что такое, хер знает. Теперь стопудово укурятся без присмотра. Либо забухают не по-детски, потом на сцену не выгатишь. Концерт завтра... А то еще наглотаются дерьма всякого и от публики прятаться станут... за барабанной установкой... или от софитов шарахаться — было уже. Каждый лишний час в пути умножает вероятность катастрофы... Утырки бандерштатские!

Он в отчаянье сунул в рот чуть ли не весь кулак и стал похож на Саакашвили из знаменитого ролика.

— Да не вибрируй ты так, Веня, обойдется, — с притворным участием похлопал приятеля по плечу любитель коньяка. И попутно нацедил себе новую стопку.

Веня, не слушая, продолжал ныть:

— Господи, за что мне это... Говорили умные люди, бросай к свиньям свой сраный Укрконцерт, переходи к нам на ТВ. Ты же и говорил. Сидел бы щас на этом вашем жлобском ICTV да Путина материл... с девяти до шести. Ниче, потом отмолить можно. Зато жил бы как люди! (Буфетчица вздрогнула и уронила чашку.) Так нет же, сука... Я, видите ли, с самим Патом Мэттини работал! В восемьдесят третьем еще. С Маркусом Миллером самогонку квасил. Мулявина видел... Гордыня, мля. Выгонят меня, чую, ой выгонят. А то еще и в АТО какое-нибудь забреют. С моим счастьем.

Он, очевидно забывшись, резко сжал в кулаке только что надкушенный чебурек. Мясной сок брызнул в разные стороны.

— Да ладно тебе, слышь, чувак, расторчись! На вот, выпей лучше крымского... Напоследок.

Он плеснул товарищу. Чувствовалось, что у него-то как раз все хорошо. Незадачливый антрепренер выпил. Но не «расторчался».

— А разогнать этих вук на хрен! Битами! Сами же всю эту маету начали. Вот пусть и воюют их ушлепки — гопота западенская. А то хитрые не в дугу! Достали уже... Оккупанты.

— Н-да, — лицемерно покивал в ответ первый. И снова дернул стопочку.

Лина покраснела и стала массировать виски. Затем негромко заговорила:

— Мы с Петькой сегодня в лавре были. Я молилась. О своем. А он рядом стоял, не разведывал, как обычно, не язвил. В общем, хорошо себя

вел. Зашли в трапезную пообедать. Там две бабки услышали наш говор, пересели подальше. Смотрели так — кусок в горло не ползет. И после, в метро, сумасшедшая какая-то: «Из-за вас всё, западенцы проклятые, Бог вас накажет». И тоже: «Оккупанты!» А какие мы с Петькой оккупанты? Ну разве похожи?

Она тряхнула светлой, модно подстриженной копной и через силу, сквозь слезы улыбнулась. И напомнила Карлюте Стефу, когда та, чуть не плача, подкладывала загостившемуся тестю лучшие куски — в то время как тот, хлебнув лишнего, сначала благодушно, а потом все мрачнее попрекал дочку потраченными на нее деньгами. Всё вспомнил. Вплоть до ползунков и гэдээровской коляски «Мальвина».

Карлюте стало жарко. Он улыбнулся в ответ (в третий раз за полгода) и успокаивающе произнес:

— Не, не похожи. — И, чтоб окончательно разрядить обстановку, кивнул в сторону пацана: — А чего ему мороженого нельзя? Простужается?

И услышал в ответ короткое, как щелчок курка:

— Рак.

Лина закурила тонкую, очень подходящую под ее изящные пальцы сигарету.

— Рак горла. Первая стадия. Слава богу, вовремя диагностировали. Мы из-за этого в Киеве. Три дня уже. Должны были остановиться у швагра⁷, а его нет... Квартира опечатана. Соседка сказала, арестовали на днях. За коррупцию: он в транспортной милиции работал. Сама бы я и здесь, на вокзале, да с малым как? Мне, правда, женщина одна еще в поезде подсказала: можно Петьку в лагерь. Круглый год работает, бесплатный. В Пуще-Водице, «Азовец» называется... (Тут ее собеседник почему-то закашлялся и, отвернувшись в сторону, энергично поскреб искрящуюся золотинками бороду.) Мы приехали, походили... Вы знаете, гитлерюгенд какой-то. Воспитатели как из фильмов про эсэсовцев. В общем, ну его... Снимаем комнату здесь недалеко, на Соломенке. Условия жуткие: не помыться, холод ужасный. И дорого. Каждый день в Святошино надо, в онкоцентр. Отмечаемся, с понедельника химиотерапия... Если муж деньги привезет.

Последняя фраза прозвучала неуверенно.

— А много надо?

— Каждый цикл — сорок четыре тысячи... гривен. Да у нас есть, больше даже. Как бы есть — на счету, в банке. Срок договора истек, а они не отдают. Мы просили, справку вид онколога показывали — все равно не отдают. Муж адвоката нанял. А пока у друзей позычаем... Кто сколько сможет. Только вот могут не все. И не много. — Волнуясь, Лина непроизвольно вставляла в свою в общем-то правильную русскую речь украинские слова.

В кафетерии появились новые посетители. За одним из дальних столиков рассаживались четверо. В ладно подогнанном камуфляже, не-

⁷ Здесь: муж сестры (западноукр.).



бритые, молчаливые и, по всему видно, основательно нюхнувшие пороху. Фронда по соседству приутихла.

Один из вошедших показался Карлюте смутно знакомым. Вернее, не столько он, сколько синеющая на бритом затылке татуировка: покосившийся каменный идол со свисающим между слепыми буркалами оселедцем. Впрочем, времени на воспоминания не было: Лина о чем-то спрашивала.

- ...наверное, показался странным?
- Да нет, наоборот, прикольный пацан... На моего малехо похож.
- У вас тоже сын?
- ...Ну да, тоже.
- С мамой сейчас?
- Что?
- Я спрашиваю, дома остался, с мамой?
- Ну как бы да — с мамой... Дома остался.

Сына у Карлюты теперь не было. Зато остался он сам, Карлюта. На горе нынешним и будущим сиротам из Центральной и Западной Украины. Из него получился идеальный солдат. Дисциплинированный, безынициативный и абсолютно лишенный каких бы то ни было эмоций. Такие выживают чаще других. А если и погибают, то максимально рационально. Однако Карлюте нельзя было погибать. Точнее, можно, но только нанеся предварительно симметричный урон. В памяти вертелось, вертелось и вспомнилось — принцип талиона. Вроде так называется.

Воевал он под началом того самого придурка. Придурок на поверку оказался бывшим кадровым военным. Прапорщиком. Отбарабанившим когда-то пять лет в Афгане и спившимся с круга после принудительного увольнения из родимого ДШБ⁸. Какая-то темная история...

Придурка звали Палычем. Он был воином. Из тех, кто, получая боевую задачу, не интересуется численностью противника, а спрашивает: где он? Пьяница и неудачник в повседневной жизни, на поле боя Палыч полностью преобразался. Становился изобретателен, искрометен и едва ли не блестящ. Взять хотя бы тот случай, когда они добыли «дикого гуся»⁹. Вернее, гусыню. Вернее, пару.

...Трехэтажная обшарпанная хрущевка находилась в ничейной зоне. Она маячила на небольшом холме, как бельмо на глазу. И не давала двигаться дальше основным силам: из окон простреливалась вся окружающая местность, в том числе единственная ведущая вглубь вражеской территории шоссейная дорога. А надо было двигаться, причем быстро: обэсэшники¹⁰ готовились в очередной раз зафиксировать линию разграничения.

Сложность состояла в том, что наряду с «укропами» в доме продолжали оставаться жильцы. Едва ли не в половине квартир. То ли их загнали, то ли они сами забаррикадировались в своих малогабаритных гостинках. Ор был слышен за километр. В общем, как минимум сотня

⁸ ДШБ — десантно-штурмовой батальон.

⁹ «Дикие гуси» — наемники (амер. сленг).

¹⁰ ОБСЕ — Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.

заложников, работа не для артиллерии. Так объяснило начальство, ставя задачу. Не лично, само собой. По спутниковому телефону, акцентируя внимание на двух обстоятельствах — хорошо и, как водится, плохо. Хорошо было то, что засевшие в доме вояки, очевидно, сами не ожидали от себя такой прыти. И теперь, вырвавшись далеко вперед, не имели никакой поддержки с тыла. И их было мало, не более тридцати (какой-то смельчак, вроде мальчишка, просемафорил с крыши). Скорее даже не полноценное боевое подразделение, а какая-нибудь оборзевшая разведгруппа. Что же касается плохого, то, по данным воздушной разведки, обэзэшники уже выехали.

Выслушав приказ, Палыч с сомнением прищурился на стоящее в зените холодное октябрьское солнце, воткнул в подсумок выдавший виды «Иридиум»¹¹, заботливо заплевал изрядный еще окурочек и повел бойцов в бой.

На прикрытие брони рассчитывать не приходилось: у единственной на тот момент приданной группе БМП не далее как вчера в кашу расплющило правый трак.

Двигались прямо с фронта. Без бесполезных из-за резкого встречного ветра дымов, зато в наскоро отобранных у местных ушанках и ватниках, маскируя под ними штатные АК-74. Все громоздкое: миномет, два станковых СПГ-9 и прочее — оставили на исходной. Все равно их нельзя было применить.

Шли через вытоптаный пустырь. Не бежали, а именно шли. Во внезапно повисшей вибрирующей тишине. И не цепью, а плотной гурьбой, вроде бы по какому-то сугубо цивилизованному делу — буднично, не особо спеша и в упор не замечая темных оконных проемов впереди. Во многих из них уже можно было различить озадаченные, пляшущие сквозь бликующую оптику лица. Если присмотреться. Но они не смотрели: запретил Палыч, который всю балагурил и вполголоса, сквозь зубы, сдерживал слабонервных, чтобы не рванули под прикрытие теперь уже совсем близких, лежащих на полпути к дому гаражей. Сам он щеголял в натянутой поверх кевлара женской плюшевой кацавейке и цветастой, повязанной на манер бурнуса плахте с люреком.

Наглость сработала — первый выстрел раздался, когда до спасительных «ракушек» оставалось всего ничего. Рядом с Карлютой щелкнуло. И еще раз. Кто-то неподалеку взвыл от боли. И только тут Палыч, отбросив притворную беззаботность, деловито скомандовал: «Ломим!» И сам подал пример. Да так, что не всякий спринтер угонится. Несмотря на солидное брюшко и еще более солидный возраст, он птицей метнулся вперед и первым оказался под защитой стоящих в несколько рядов штампованных железных коробок. И сразу же скрылся в их лабиринте.

Добежали почти все. Позади, на выжженной летним зноем земле, осталось человек пять, не больше. Вернее, тел.

Карлюта нырнул в спасительную тень гаражей одним из последних. В буквальном смысле — рыбкой. И одновременно услышал, как будто

¹¹ Спутниковый телефон.



кто-то с силой швырнул на металлическую крышу над ним несколько горстей высушенного гороха. Ополченец, который бежал рядом, ойкнул и осел наземь: одна из пуль срикошетила и уже на излете, практически из-за угла, клюнула его в ногу. Карлюта ухватил раненого за шиворот и втащил в безопасную зону. У того на бедре под камуфляжем быстро расплзлось бурое пятно. Карлюта зубами вскрыл упаковку промедола и прямо сквозь штанину воткнул шприц-тюбик бедняге в ягодницу. Потом осмотрел рану. Выглядело скверно. Скорее всего, разорвало артерию, что в данных обстоятельствах означало одно: парень не жилец. Но — и в этом был весь Карлюта — он встал на колени и начал бинтовать. Несуетливо и методично. Строго по инструкции.

Свинцовый град слегка поутих. Рядом кто-то молился, чуть дальше двое, упершись руками в колени и дыша как загнанные собаки, истерически смеялись неизвестно чему. Успокаивались на мгновение, переглядывались и снова заходились от хохота. Где-то впереди, в ржавом, гулком нагромождении, собрались основные силы отряда. Оттуда звучала беспорядочная стрельба и мат. Материли в основном Палыча. Мол, ну и че теперь? От крайней линии гаражей до здания оставалось еще хороших двести пятьдесят метров. Только уже по совершенно открытой местности. Это если атаковать с левого фланга. А если с правого — то все триста.

— Сука! Иван, мать бы его, Сусанин. Еще и урыл хер знает куда. От де, де он шарится?

— Мало ли, может, бражку ищет.

— Якщо знайдэ, вобщэ труба.

— Да типун тебе на язык, не дай бог!

— Не, ну не придурок?

Карлюта едва не улыбнулся. Впереди продолжали причитать:

— Во попали мы, пацаны, во попали... От же, прости господи, повезло со старшим...

И вдруг все стихло. И выстрелы и голоса. Очевидно, Палыч нашелся: при нем не очень-то помитингуешь. Себе дорожке. Ну и к тому же командира любили.

Тем временем раненый умер. Когда Карлюта закрывал ему глаза, то заметил, что из них вытекли две крупные черные слезы. Может, копоть. А может, и гадина пыль. Паскуда такая. Карлюта сочувственно щелкнул языком, поднялся на ноги и, подобрав автомат погибшего, поспешил к своим. Вслед за давешней парой весельчаков.

Палыч сидел, прислонившись к облупленной кирпичной стене то ли бойлерной, то ли щитовой, и невозмутимо добивал затушенную перед атакой сигарету. Рядом пощипывала реденькую травку невесть откуда взявшаяся, зыркающая исподлобья коза. Или скорее козел, судя по запаху. Мужики, выстроившись в две шеренги, переминались с ноги на ногу.

Докурив до фильтра, Палыч выстрелил чинариком далеко в сторону, встал и деловито помочился на щитовую. А затем произнес короткую речь. Вот ее тезисы. Раз — если кто чем-то недоволен, могут валить назад. В спину стрелять не будем: найдется кому и без нас. Два — нычиться среди гаражей тоже не фонтан: бандерлоги явно чего-то ждут. Да и ме-

сто приметное, артиллерии на два залпа работы. Даже корректировать не надо: первый пристрелочный, вторым накроют. Три — запоминаем! Здесь Палыч раскрыл блокнот — ну вылитый Джон Сильвер, предьявляющий своим удалцам вожделенную карту. Оказалось, все это время он с крыши щитовой вычислял огневые точки противника. Их было порядка десяти, из которых как минимум две — снайперские позиции. И еще одна под вопросом.

Дальше последовали команды:

— Как мы с Карлютой начнем — Котя со своими в обход. Бешеному кобелю сто верст не крюк. Заходите со стороны шоссе: там вряд ли минировали — для себя коридор держат. Не останавливаться, не пытаться залечь — перебьют. Только вперед. Остальные прикрывают. Встречаемся внутри. Вон то парадное, верхний этаж. Сейчас рассредоточились и отвлекающий огонь. Высовываться не обязательно, главное — участие. Патронов не жалеть: если что, не понадобятся. У кого кончатся, вон там стекла целый штабель — набейте и в глаза им маячьте, солнце как раз хорошее, яркое, може поможе. Короче, не сцо! Карлюта, готов?.. Все, погнали.

Козел подытожил сказанное протяжным «бэ-э!» и увязался следом. Один из весельчаков прыснул.

Замок на присмотренном Палычем боксе оказался с секретом — пришлось повозиться. Изъятый мотоцикл здорово походил на отцовский. Только черный.

Они с ревом вылетели из-за гаражей и помчались строго вперед. Не с левого и не с правого фланга, а точно по центру — со стороны солнца. Сквозь сектор самого что ни на есть перекрестного огня. И, как выяснилось потом, угадали: все остальные подходы к дому были заминированы.

Козел старался не отставать. Но когда засвистели пули, взмекнул дурным голосом и дернулся в сторону. Через секунду позади раздался взрыв. «Газу, газу, газу!» — азартно орал Палыч в ухо, изо всех сил прижавшись к Карлютиной спине. Детский грибок рядом прошла очередь. Однако мотоцикл уже пересек мертвую зону. Времени тормозить не было, единственное, что Карлюта успел, — отчаянно вывернул руль, подставляя стремительно надвигающейся стене пустую мотоциклетную коляску. Это смягчило удар и позволило им обоим удержаться в седлах. Мотор в последний раз взвыл на самых высоких оборотах и заглох.

Палыч уже крался вдоль фасада в сторону левого углового подъезда. Быстро-быстро, где надо ужом стелаясь под нависающими сверху балконами. Карлюта бросился следом. Очутившись под козырьком, они позволили себе перевести дух. Карлюта взглянул в сторону детской площадки и вздрогнул: из расщепленной пулями песочницы мертво таращилась искромсанная козья морда. Тело несчастного животного валялось в нескольких метрах, у входа в решетчатую желто-голубую космическую ракету.

Палыч бормотал:

— Ца, ребята, ца... накрошим укропа... — Проследив за взглядом товарища, успокаивающе похлопал его по плечу: — Ну-ну, все, все... У войны, мой друг, не женское лицо. — Немного подумал и добавил: — Хотя за козла ответят!

После чего решительно выскользнул из-под козырька и, изловчившись, метнул первую гранату. Стоя спиной к стенке, как бы за себя и вверх, почти вертикально. Где-то на уровне второго этажа посыпались осколки. Пару секунд ничего не происходило. А потом раздался взрыв, вопли и снова взрыв: видимо, сдетонировали боеприпасы. Или рванул газовый баллон.

Карлюта плохо запомнил последующие десять минут. Как-то кусками. Он прикрывал командира. За это время тот, методично сверяясь с блокнотом, подавил пять вражеских точек. Все так же — из мертвой зоны. С каждым разом смещаясь вдоль дома. Ошибся только единожды — попал не в то окно. Погибли, как позже выяснилось, восьмидесятилетняя пенсионерка и семь ее кошек.

Периодически их с Палычем пытались нейтрализовать. Дважды выручал Карлюта. В первый раз ураганным огнем заблокировал в подъезде четверых штурмовиков — дырявил хлипкую дверь, пока те сами не передумали выбираться наружу. Во второй — скосил наповал выпрыгнувшего из окна первого этажа «киборга» в тяжелой экипировке. Попал точно в забрало. Длинной прицельной очередью, с десяти метров. Какая там, к свиньям, защита — да будь хоть «жидкий металл». Все происходило рывками и быстро, быстрее даже, чем я пишу.

А в третий раз их спас Бог. И реакция Палыча. Они прошли очередную секцию и остановились. Палыч, слегка раскачиваясь, примеривался к забросу очередного гостинца, как вдруг поблизости возник белый шум включившейся рации. Откуда в ладони командира взялся «стечкин», Карлюта так и не понял. Он мог поклясться, что только что в ней лежала готовая к использованию эргэдэшка. Сейчас же локоть Палыча твердо упирался в плечо так и не успевшего развернуться Карлюты, а пули из его пистолета трудолюбиво крошили наглухо зашитый фанерой торец балкона на втором этаже. До самого отката затвора. Когда непривычно серьезный Палыч убрал оружие, Карлюта понял, что оглох на одно ухо. И все же он услышал, слишком уж необычно звучала в их широтах иностранная речь.

Ровный голос из-за простреленной перегородки отчетливо произнес:
 — Dorothy, I'm retiring. Kick out for both of us in Vegas. Over and out¹².

Затем раздался щелчок и все стихло. Карлюта ничего не понял, кроме «Дороти» и «Вегас». А Палыч понял. Потому что вдруг заулыбался и, перед тем как тронуться дальше, задорно подмигнул изрешеченному «стечкиным» балкону. Они продолжили движение. Позади что-то клацнуло и покатилося по асфальту. Карлюта резко обернулся — но это был всего лишь уки-токи. А сверху, сквозь прореху в фанере, безвольно свисала мускулистая мужская рука, плотно облитая явно нездешней, чешуйчато-сегментированной броней.

После седьмой гранаты интенсивность стрельбы с линии гаражей значительно ослабла: видать, Котина команда начала маневр. Палыч удовлетворенно хмыкнул и дал знак перебазироваться к следующему

¹² Дороти, я выбываю. Оттянись за нас обоих в Вегасе. Конец связи (англ.).

подъезду. И тут с той стороны, где уже все вроде было зачищено, откуда-то из невидного им окна, раздались гулкие, сотрясающие воздух очереди. Они переглянулись: судя по звуку, работал крупнокалиберный «утес».

— Как так, е-мое?! — Палыч лихорадочно мусолил свои записи. Потом отбросил в сердцах блокнот и выдохнул: — Быстро назад, мухой... По ходу, кирдык Коте!

И припустил вдоль фасада в обратную сторону. На несколько мгновений остановился у мотоцикла, чтобы варварски выломать расположенное над ручкой газа зеркало. Трофей вручил Карлюте вместе с подобранным где-то по дороге фрагментом бамбукового удилица:

— Слышь, старый, найди где-нибудь проволоку, прикрути — и за мной.

А сам поспешил дальше, но уже осторожнее, вплотную к холодному кирпичу фасада. И замер почти на самом углу дома, плотно впечатавшись, буквально слившись со стеной.

В глубине коляски нашелся резиновый жгут — получилось что-то вроде селфи-палки (Стефа купила такую в прошлом году в Турции). На ее сооружение Карлюте понадобилось чуть больше минуты.

Котины парни гибли один за другим. Те, кто залег или пытался отступать, оказались для пулеметчика самой легкой добычей. Человек пять рванули было куда-то в сторону, надеясь на ограниченный угол обзора стрелка, но тот быстро сориентировался, отсек бойцов от шоссе и вернулся в общую группу. Большинство же во главе с самим Котей, чуть ли не на карачках, упорно как муравьи приближались к дому. Правда, их с каждой минутой становилось все меньше.

— Третий этаж, только не пойму, какое окно: штатские орут шо резаные. — Палыч указал глазами на треснувшее зеркало: — А ну, давай глянем.

Карлюта стал понемногу выдвигать удилице перед собой.

— Еще... еще мал-мала... Опа, ты гляди, негритоска!

«Дикая гусыня» стояла у окна третьего этажа прямо над ними и куда-то начальственно тыкала длинным, как будто нагуталенным пальцем. Видимо, корректировала пулеметчика. Карлюта вопросительно взглянул на командира. В руках у того уже была граната. Однако не эргэдэшка — другая, красная, с латинской маркировкой.

— На день ВДВ кунаки подогнали. Служили когда-то вместе. — Палыч сентиментально шмыгнул носом-кнопкой. — Хер тебе, Дороти, а не Вегас. Передавай привет своему Железному Дровосеку. — И выдернул чеку.

Карлюта ничего из сказанного не понял. Хотя, если честно, он привык.

...Изящная эбеновая кисть дымилась почти у самых Карлютиных ног. Ухоженный ноготь указывал на бредущего в их сторону ополченца. Это был один из тех двоих весельчаков. Руки парня плотно опоясывали собственный развороченный пулями живот. Он и сейчас пытался натужно улыбаться, только как-то неуверенно, словно догадываясь, что что-то не так.

Впрочем, остальные Котины люди уже вовсю штурмовали подъезды. Сам Котя — сто двадцать килограммов мышц и маленькая бритая голова на бычьей шее — размеренно вышагивал перед Палычем, укрывая его от случайного выстрела. Позади шли Карлюта и молодой худенький парень, немец, с вечным комсомольским значком на бронезилете. Палыч звал его — Андреас Баадер. А тот почему-то в ответ лыбился. Сам же при знакомстве представлялся Мартином. В общем, дурдом.

Они поднимались в ту квартиру: Палыч хотел посмотреть. Зачистка подходила к концу. В пролете между вторым и третьим этажами лежала убитая молодая женщина, из жильцов. Над ней, стоя на коленях, голосил муж. Он на мгновение обернулся, и Карлюта увидел полные муки воспаленные глаза и вспомнил себя год назад. Мужчина выкрикнул что-то навзрыд, что-то обидное в их адрес. И снова всем телом прижался к мертвой. На его затылке мелькнула татуировка: равнодушный каменный истукан с квадратной башкой и длинным, до земли, чубом. Бр-р-р.

Палыч, пряча глаза, пробормотал:

— Давайте, брателлы, шустрее, — и они не сговариваясь ускорили шаг.

В квартире все было выжжено дочерна. Станина «утеса» опрокинулась. Гусыня валялась у самого окна. Рядом еще кто-то, с вплавленным в обугленную ладонь пистолетом. На кухне не меньше пяти тел, все в позах эмбрионов, похожие, как близнецы. Чернее ненавистой антрацитовый пыли.

Оказывается, об этом же подумал Палыч. Он подошел к гусыне, коснулся ее носком высокого шнурованного ботинка и сочувственно произнес:

— Эх ты, ворона... И чего не сиделось в своем Канзасе? — Затем откашлялся и сказал что-то вроде короткой надгробной речи. — Вот вы спросите: если представители белой расы, сгорая, становятся похожими на негров, то какими же становятся сами негры? Я вам скажу какими — точно такими же. Пламя всех уравнивает. Разве что этих, от природы черных, чуть легче опознать родственникам, что в нашем случае значения не имеет — какие у «диких гусей» могут быть родственники? Тем более на Донбассе. Закопали — и привет.

И пошел к выходу.

Уже в вестибюле парадного они нагнали второго из весельчаков. Тот волок за ногу женщину в гражданском. Ее коротко стриженная голова глухо билась о бетонные ступеньки. Женщина выла благим матом и цеплялась за лестничные перила.

— Слышь, ты, переодеться успела, хуна. — Улыбка весельчака была страшной. — Гля, зарубок скока. — Он протянул им снайперскую винтовку Драгунова с разбитой оптикой.

— Котя, прими пленную.

Голос Палыча снова становился невыразительным и тусклым, а сам он впадал в свое обычное, меланхолическое настроение. Ровно до следующего боя.

— Не отдам! — Озверевший от ненависти боец наступил снайперше на лицо и стал торопливо сдергивать с плеча автомат. — Хотел во дворе, рядом с Генкой... Нет — так здесь грохну!

Женщина тонко завизжала.

— Утухни, Толян. — Котя, бывший чемпион района по боям без правил, легко отобрал у подчиненного оружие, стараясь, впрочем, действовать нежестко. — Иди бухани как следует, помяни Геныча — к ночи поотпустит.

— Поотпустит... Шо ты понимаешь, тролляка. Шо я матери скажу — он же ж младший у нас.

Однако чувствовалось, что бедняга уже сдался. Он безнадежно махнул рукой и, волоча ноги, побрел к телу убитого брата. Женщину увели. Губы ее тряслись, но она старалась взять себя в руки, шла относительно ровно, высоко подняв голову.

Общие потери в бою составили пятьдесят пять ребят. Из них тридцать четыре — невозвратные. Разведгруппа противника состояла из двадцати семи бойцов, из которых двадцать были уничтожены, шестеро взяты в плен и один исчез. Вполне нормальное соотношение для наступающих. Да еще двоих «туристов» уработали... Так преувеличенно громко разглагольствовал сам с собой Палыч. До самого вечера. А к вечеру пошел ливень. И выяснилось, что обээсэшники решили перенести мероприятие на следующую неделю.

Узнав об этом, командир выпил ноль семь «Хортицы» и глубокой ночью, прихватив с собой верных Котю, Карлюту и Мартина, отправился в бывшее РОВД, где содержались пленные. Там он обманом проник в обезьянник и, пока Карлюта с товарищами сдерживали часовых, застрелил из личного «стечкина» четырнадцать человек. Сквозь прутья решетки. Пятерых «своих», а остальных — взятых в предыдущих боях и приготовленных для обмена. Женщину-снайпершу убил выстрелом в живот. И с легким сердцем отправился на гауптвахту.

...Участие в боях доставляло Карлюте удовольствие лишь очень недолгое время. А потом снова вернулась тоска. Вместе с мучительным ощущением беспомощности. Как в детстве, когда Сашка Кирпичников, дав Карлюте пинка, прятался за спиной воспитательницы. И находился рядом с нею до самого вечера, пока за ним не приходили. Он избегал, таким образом, ответного пенделя, что было совершенно невыносимо. Отпускало только на завтра, когда возмездие все-таки настигало потерявшего бдительность обидчика. Прямо с утра, у их общего шкафчика с ежиком.

Что же касается нынешнего Карлютиного состояния — оно объяснялось очень просто: среди врагов отсутствовали дети. Мужчин было в избытке, женщин тоже хватало (взять хотя бы «дикую гусыню» и снайпершу), а детей ни одного, хоть вой. Что в принципе исключало возможность правильной, взаимообразной «талионной» мести.

Ведь только в его парадном, помимо Стыця, погибло четверо мелких. Если не считать всеобщего любимца, безобидного тридцатилетнего дурачка Люсика по кличке Пыль-на-ушах. Когда звучала эта фраза, дурачок начинал потешно подпрыгивать и отряхиваться... Так вот, с ним —

шесть. А через неделю еще семь. И еще, и еще — в Луганске, Счастье, Славянске — они продолжали гибнуть день за днем, месяц за месяцем.

А с той стороны — нет. Да, наверное, там дети тоже умирали — от болезней или из-за несчастного случая... Как все нормальные дети. Только не потому, что на их маленькие, ничего не понимающие головы падали гаубичные снаряды. Это была вопиющая несправедливость, которая подлежала устранению. А устранять, получается, как бы и некого, что медленно, но верно погружало Карлюту в безысходную сумеречную депрессию.

И кто знает, что стало бы с нашим героем дальше, если бы ровно в нужный момент ему не попался Антон. Полное имя — Антон Лонский, разорившийся мажор, пофигист, бездельник и геймер, каких поискать.

— Вэл, вэл, вэл... Отже, Антон Лонский.

Перед их столиком стояли «волонтеры»... Это они сами себя так называют. Ну, киевляне в курсе. Для остальных — короткая справка. При слове «волонтеры» у непосвященного тут же возникает перед глазами образ кудрявого бакенбардистого молодца в гусарском ментике, помогающего каким-нибудь свободолюбивым грекам в их неравной борьбе с осточертевшим османским владычеством. Или как вариант: аристократка с впалыми щеками, обносящая питьем раненых в парижском госпитале Сен-Луи.

Так вот, ничего подобного. На самом деле речь идет об обнаглевших от безнаказанности уголовниках и профессиональных нищих — откровенно говоря, едва ли не главной движущей силой победоносной «революции достоинства». Основным занятием «волонтеров» является мелкое вымогательство. Для пущей важности они вполне могут потребовать на проверку ваши документы или перетряхнуть личные вещи. Конечно же, из самых патриотических побуждений. Надо ли говорить, что в подобных случаях необходимо глядеть в оба и не зевать: если «шо» — обнесут в два счета.

Эта группа была — один другого краше: сизые, непропорционально большие, опухшие от беспробудного пьянства лица, отечные, испещренные неумелыми татуировками пальцы и тошнотворный смрад месяцами не мытых тел. Командовала дама, напоминающая опустившуюся фрекен Бок. Только в камуфляже и с огромным прозрачным коробом на шее. У прочих членов миссии емкости для пожертвований были какие-то неубедительные, несолидные — вплоть до пустых коробок из-под торта. С корявой надписью фломастером: «Допомога воякам АТО». То ли дело дама. Ее выполненный из плексигласа ларь выглядел очень презентабельно. По дизайну и размерам он походил на стационарную урну для голосования. Кажется, даже с сургучной печатью. И был почти доверху запрессован мелкими купюрами.

— ...А що це у вас у мишку? — Дама, возвращая паспорт и принимая более чем щедрый взнос, в общем-то, добродушно, скорее для проформы, указала на Карлютин рюкзак. — Нэ бомбы? Давайте, давайте, подывимось...

Полная жопа... Мысль, которая лихорадочно билась в голове, к физиологии отношения не имела, хотя величина задницы волонтерши

и впрямь впечатляла. Карлюта не стремился в шахиды, поэтому настроился на бегство. Обидно, конечно: столько денег и времени — все насмарку.

Он медленно расшнуровывал рюкзак, готовясь сыпануть его содержимое под ноги бдительной общественности. А потом, воспользовавшись паникой, раствориться в вокзальной толчее, подобно рафинаду в кипятке — так пошучивал Палыч, обучая его азам инфильтрации.

— Чуэтэ титку, а я бачив...

Разведчик Петро Соқырко стоял рядом и многообещающе улыбался.

— Шо такое? Чей это ребенок? — От неожиданности патриотка сбилась на русскую речь.

— Пэтрэ, зараз же прыпыны! — Лина выглядела очень испуганной.

А ребенок продолжал гнуть свое:

— ...як вы зи своеи коробкы гроши выколупувалы. А потим горилку за ных купувалы. И пылы: «За здоровья дэбилов киборгов!»

— Ах ты... крысеныш! Я тебе ща... — Продолжение фразы застряло у атаманши в глотке.

Карлюта проследил за ее застывшим взглядом и увидел тех четверых. Парни слушали со всевозрастающим интересом, а их предводитель вроде бы даже собрался вставать из-за столика.

Фрекен Бок решила не испытывать судьбу. Она резко развернулась и, стараясь не переходить на бег, зарысила к выходу. Остальная мишпуха дисциплинированно потянулась следом. Без суеты и особой паники: видать, бывали уже прецеденты. Ну, не прошло — и не надо. В следующий раз прокатит.

Все успокоилось. Разведчика удалось усадить за стол и всучить ему бутерброд с сыром. Военные вернулись к своему неспешному разговору.

Когда Антон Лонский окончил школу, его спросили, кем он хочет быть. Семейный совет по традиции проходил в большой гостиной (имелась и малая), под чаепитие и при включенном телевизоре.

На экране одетый в белый халат артист Баталов самоотверженно спасал очень даже сексапильную неизлечимую больную. Возможно, поэтому Антон ляпнул: «Врачом». Потом вспомнил приятные ощущения, испытанные им в детстве в ходе вивисекции изловленной на даче лягушки, и безапелляционно добавил: «Хирургом». И положил себе третий уже за вечер ломоть торта. Семейный совет, особенно женская его половина, умилился, после чего не мешкая, быстренько поступил Антона в медицинский.

В ознаменование зачисления кто-то из родственников, сволочь такая, подарил будущему Бурденко пентиум: это было круто! Почему в CD-приводе оказался диск с компьютерной игрой, можно только гадать. Игра называлась «Балдурс гейт». В течение первого семестра она была пройдена больше сорока раз, в результате чего геймер-неофит слег с выраженным нервным истощением. А как только оклемался, сразу двинул на легендарный рынок Петровка, где приобрел первую тогда еще «Деус экс», «Систем шок — 2» и, конечно же, культовых «Героев меча и магии». Второй семестр прошел не менее увлекательно.

А потом Антона отчислили. Вообще-то там можно было все решить, по правде говоря. Но для этого требовалось как минимум личное присут-



ствие прогульщика в деканате. Накануне же, как на грех, вышла «Балдурс гейт: Тени Амна»... В общем, о каком, к черту, деканате может идти речь в столь исторический момент?

На следующем семейном совете несостоявшийся хирург изъявил желание попробовать себя в нефтетрейдерском бизнесе. (Хотя на самом деле единственное, чего ему хотелось в ту минуту, — это поскорее начать перепроходить «Дьябло».) То было время стремительного взлета очаровательной днепропетровской аферистки Юлии Тимошенко. И вся эта нефтяная тема казалась легкой, прибыльной и совершенно необременительной. Семейный совет философски пожал плечами и сделал несколько необходимых звонков.

Надо отдать должное Антону. Он и вправду попытался работать, тем более что в этот же период увлекся какой-то экономической реалтайм стратегией. И за считанные месяцы умудрился развалить вполне успешное отделение одной из «дочек» «Лукойла», проявив при этом поистине дьявольскую изобретательность и недюжинную фантазию.

Очередной совет проходил в расширенном составе. В конце концов было решено, что дешевле, а главное, спокойнее просто выделять деньги на содержание «нашего мальчика». Во всяком случае, до тех пор, пока тот не найдет себя в этом сложном и не всегда гостеприимном мире. (Мальчик тем временем искал на Петровке коды для прохождения «Фоллаута».)

Шли годы. В одну из случавшихся все реже ремиссий Антон женился. На девушке из категории непоступивших. Свадебным подарком стала полностью обставленная трехкомнатная квартира на Бассейной. Поначалу ему понравилась семейная жизнь. Истинный киевлянин, безалаберный, высокомерный и беспомощный в быту, Антон Лонский получил, как ему казалось, то, чего хотел. Полгода молодая жена готовила борщи, вникала в тонкости развития персонажей в «Морровинде» и восхищенно поддакивала, выслушивая снобские тирады на тему «понаехали». И вдруг предъявила несколько диктофонных записей. Было там и про Кучму, и про некоторых общих полусветских знакомых, и, самое главное, звучали весьма пикантные пассажи в отношении умственных способностей кое-кого из влиятельных родственников. Одновременно Антону был предъявлен ультиматум, который касался раздела квартиры и последующего развода. Вернее, наоборот, если использовать слово «развод» в его переносном смысле.

Антон очень расстроился и поделился своей бедой с крестной — тетей Олей из СБУ. Про нее, кстати, на тех пленках ничего не было. На другой день жена канула. А еще через две недели по почте пришли документы о расторжении брака.

В целом закончилось хорошо. Только вот некоторые родственники, раньше всегда принимавшие в нем участие, перестали брать трубку. И вообще этих самых родственников становилось все меньше. Они, в полном соответствии со вторым законом марксистской диалектики, постепенно переходили в иное качество: кто с почетом упокоился на Байковом кладбище (как, например, родители), кто сел, а кто поумнее — попросту уехал.

Впрочем, Антону было начхать: он снова с головой и всеми прочими потрохами погрузился в виртуальный мир. На подходе толпились и ды-

шали друг другу в затылок «Квейк», «Анрил» и его величество «Хаф лайф: Черная Меза». О, это были славные времена! Движки становились все круче, версии все доступнее, а сам Антон почти перестал выходить из дому.

Да, чуть не забыл: Антон Лонский тоже был рыжим. И чуть ли не со школьной скамьи носил бороду.

Единственным представителем внешнего мира, с которым почти уже сорокалетний Тоха продолжал поддерживать более или менее регулярную связь, был друг детства Лелик — такой же недоросль и раб киберпейса.

Как-то (это было уже незадолго до Майдана), временно восстановив связь с реальностью и осознав практически полное отсутствие средств, Антон обратился за помощью к полужнакомому двоюродному дядьке. И хотя старые добрые семейные советы давно канули в Лету, тот, будучи связанным священными узами крови, не подвел: памятуя о давнем пристрастии племянника к медицине, устроил его на весьма приличный оклад в частный урологический кабинет. Медбратом.

Но вечный протезе и здесь облажался. Или, как теперь говорят, провтыкал — забыл наконечник термомангита в заднем проходе некоего очень знаменитого писателя. Его еще называют совестью нации... Ну хорошо, он сам себя так называет. Упомянутый мэтр известен тем, что однажды в качестве примера своей беспощадной борьбы с проклятым советским режимом привел факт своей же плохой успеваемости по теории научного коммунизма. Еще во время обучения в вузе, в шестидесятые. Его-де речевой аппарат был органически не способен правильно произносить ненавистные марксистские термины на еще более ненавистной москальской мове. Мол, в его случае сама генетика протестовала против тоталитаризма. А изуверы преподаватели из-за этого ставили юному патриоту не выше «удовлетворительно». Правда, страстотерпец скромно умолчал о том, что по прочим предметам картина его успеваемости выглядела еще более удручающе. И речевой аппарат здесь был ни при чем.

Оставим, однако, изучение революционной деятельности этого господина несчастным украинским школьникам. Нас сейчас должна интересовать другая страсть маститого литератора. Вернее, страстишка. Он любил массаж простаты. Нет, не в качестве медицинской процедуры. Просто любил.

Это началось относительно недавно, уже в зрелом возрасте. Однажды живой классик посетил уролога. По настоянию супруги. Тот в ходе осмотра произвел над пациентом ряд специфических действий, в том числе и вышеупомянутое. И писатель открыл для себя новый мир! Он понял, чего был лишен все эти годы. И с тех пор изводил визитами наиболее авторитетных андрологов и буквально терроризировал профильные клиники.

...Антон подготовил важного посетителя к процедуре, включил таймер, а сам по-быстренькому метнулся в закуток за ширму. Там, по другую сторону мерцающего монитора, его ожидало переоблачение в новый боевой костюм на восьмом уровне атмосфернейшего «Дед спейса».

Писатель, видимо в истоме, задремал. Антон же самозабвенно рубился за обретение алмазного проводника. Время исчезло. И только за-

пах осмоленной на газовой конфорке курицы вкупе с нечленораздельным, срывающимся на визг верещанием пациента вывели его из транса и заставили с неохотой снять патентованные электростатические наушники.

Пришлось написать «по собственному». Дядька все замаял, хотя в дальнейшем попросил не звонить.

А между тем деньги были нужны как воздух. И Тоша, по совету друга Лелика, взял кредит. Потом еще. А потом появились коллекторы. В прежние времена их бы не подпустили к Антону и на пушечный выстрел. Но все, как говорится, изменила революция. Надеяться было не на кого. Даже безотказная волшебница крестная — тетя Оля из СБУ — отмахнулась по телефону: ее-де саму сейчас люстрируют и ей недосуг заниматься идиотскими проблемами инфантильного крестника. Антон не знал, что такое «люстрируют», однако само слово ему не понравилось: оно вызывало какие-то неприятные кошачьи ассоциации. Короче, тетя Оля отпала.

Лелик тоже не отзывался — был занят вечными осадами замка (в Сети) и еженощными бдениями в честь Мокоши и Стрибога на одном из малоприметных днепровских склонов (в полуэфемерной реальности).

И тогда Антон вспомнил старую добрую «Готику». Конечно! Как ему раньше не пришло в голову! Решено: он запишется в армию, добровольцем, благо так называемая АТО находилась в самом своем пике. И там, в армии, добудет и деньги и славу. А вернувшись, поговорит с этими обнаглевшими коллекторами по-солдатски.

Сказано — сделано. После короткого, но емкого курса обучения его подразделение перебросили непосредственно в захлопывающийся котел. Едва успели.

Откровенно говоря, Антон и поучаствовал всего-то в одном бою. Вернее, не в бою, а в попытке выхода из окружения.

...Была ночь. Он передвигался короткими перебежками, испытывая произвольные позывы засеивиться. Сам не стрелял, наполовину снаряженный рожок АКМ так и оставался в подсумке, Антон с испугу о нем попросту забыл. При этом матерый геймер внимательно следил, чтобы световые трассы очередей с той стороны постоянно перекрывались одним из бегущих впереди товарищей. Если кто-то падал, Антон тут же смещался чуть вправо или влево, чтобы восстановить нарушенную схему движения. И продолжал идти. Так и пришел в плен. Один из немногих выживших тогда счастливицков.

Когда его обыскивали, невысокий плотный мужик с носом-пуговкой, очевидно командир сепаров, весело гаркнул:

— Гля, пацаны, рыжий, шо наш Карлюта! В натуре, близнецы-братья.

И почти сразу же рядом возник мрачный, действительно рыжий, как огонь, человек. Правда, без бороды. Он внимательно посмотрел Антону в лицо, без слов выдернул из общего строя и увел с собой. И поселил в своем, как это у них называлось, «кубрике».

Они познакомились и даже подружились. В течение нескольких недель Антон с удовольствием рассказывал о себе, а тот лысоватый, кур-

носый, похожий на добродушного дикого кабана мужик без усталости задавал вопросы. Про школу, семью, друзей, работу и многое-многое другое, включая его роковое влечение к компьютерным играм.

Мужика звали Палычем. Второй собеседник, который рыжий, почти не говорил. В основном слушал. И все эти дни отпуская бороду.

Тохе даже давали несколько раз звонить по телефону. Лелику. Только с условием — не говорить о плене. Для немногочисленных близких Антон Лонский продолжал доблестно сражаться за соборность не устающей изумлять мир Украины. Объяснялось это так:

— Мы тебя, брателло, выменять хотим на одного кента своего, втихаря, договорились уже. По-хорошему. А если официально, начнется маета, месяца на два-три. Очередь и все такое. А так — раз-два, типа, встретились, каждый к своим — и привет. Все довольны. Ну, в общем, ты и сам в курсах.

Антон со знанием дела кивал. Он был из тех несчастных, которые, не понимая, всегда делают вид, что понимают. И, как правило, остаются в дураках.

А на двадцатый день рыжий исчез. Палыч сразу перестал задавать вопросы. Но Антон по инерции все равно продолжал рассказывать, до самого вечера пятницы. Он говорил и говорил и, увлекшись объяснением одной стелз-концепции, не заметил, как Палыч отставил в сторону банку тушенки и встал у изголовья его койки. И вынес ему мозг. Увы, не в фигуральном смысле этого слова, а в самом что ни на есть прямом — из старой китайской тэтэшки с самодельным глушителем. Через подушку. Жизнь Антона оборвалась так же нелепо, как складывалась по крайней мере последние двадцать лет.

А Палыч деловито пробормотал что-то вроде:

— Извини, старикан, береженого Бог бережет. — И стал паковать тело в быстро набухающее кровью несвежее постельное белье.

...Карлюта к этому времени уже подъезжал к Купянску. Особого плана не было — так, в самых общих чертах. На нем была форма Антона. В карманах, среди прочего, его же пафосный телефон «Верту», военный билет и ключи от киевской квартиры.

В комендатуре все прошло безукоризненно: тогда многие выходили из окружения самостоятельно. Другое дело, что немногие вышли. Кроме того, помог звонок сверхпроницательного украинского особиста на последний набранный Антоном номер. Лелик как ждал — отозвался после первого же гудка и безотлагательно подтвердил личность владельца трубки. А когда им дали поговорить, сомнения особиста, если и были, развеялись окончательно: Карлюта буквально забросал абонента вопросами об очередном обновлении к «Хитмену», да, и правда ли, что наконец вышел долгожданный трейлер киноверсии «Варкрафта»? Лелик вздохнул и ответил: он тоже ничего не заподозрил.

Карлюте выправили нужные документы и отпустили домой, в Киев. Уже едва не садясь в поезд, он купил за пятьдесят гривен две гранаты у празднично шатавшегося по перрону, пьяного в дым национального гвардейца. На всякий случай. И еще гривен семьдесят у него осталось.

Проводница выделила Карлюте целое купе: все равно во всем вагоне кроме него ехал только какой-то худосочный пугливый очкарик с огромными зальсинами. На полу купе валялся плюшевый страус. Видимо, забыли пассажиры. И, как выяснилось позже, не только его. Когда Карлюта вечером стал заправлять постель, то обнаружил в недрах черной эмпээсовской подушки три с половиной тысячи долларов США. Предыдущие пассажиры явно были не простыми людьми.

У Антона на Бассейной он прожил три дня. Ровно столько понадобилось, чтобы определиться с целью, а также найти в Интернете и приобрести нужное количество боеприпасов. Продавцом оказался потомственный урка со звучной кликухой Билли Бонс. Билли жил старыми понятиями. Он искренне возмутился, когда кто-то из близких тихонечко предложил нахлобучить залетного пассажира. Лопатник¹³ в метро толком подрезать не могут, а туда же — лезут со своими советами. Что для этих бакланов шпанская честь? К тому же его несколько смущало наличие образца товара в руке клиента. Короче, сделка состоялась без эксцессов. К слову сказать, вырученные деньги пошли на избирательную кампанию: Билли с некоторых пор твердо решил начать политическую карьеру.

Когда все было готово, Карлюта взвалил от души снаряженный рюкзак на спину, в последний раз окинул взглядом стеллажи с бесконечными рядами компьютерных дисков и, захлопнув за собой дверь, зашагал в сторону Бессарабки. А оттуда по подземному переходу к уже знакомому нам бульвару Шевченко...

— От это здесь сидюков, мама дорогая! Только понту от них теперь... разве шо зайчики пускать. Хе-хе. Отстой, скажи?

Карлюта вздрогнул. Во-первых, от неожиданности, а во-вторых, потому что, кажется, узнал голос. А заодно и его владельца.

Осторожно скосил глаза вправо. Рядом стоял давешний боевик с татуированным затылком. Он же убитый горем муж из той злосчастной гостинки. И торжествующе скалился:

— Помнишь меня... брателло?

Карлюта машинально вертел в руках только что выбранный альбом. Полез за бумажником.

В этот момент словно из-под земли появилась запыхавшаяся Лина. Петро Сокрыко тоже был тут как тут.

— Антонэ! Дэ ты вэштаешься?! Тилькы що оголосылы: львивський прыбуває! Чи думаешь, я сама твою маты зустричатыму? Давай скорше!

Татуированный смотрел озадаченно. Карлюта, как бы извиняясь, пожал плечами (обознался, друг, со всяким бывает), взял пацана за руку и, не оглядываясь, зашагал к выходу на пути. Какое-то время сзади еще наблюдали. Но после того как мелкий преувеличенно громко потребовал купить ему противогаз, ощущение опасности исчезло. Карлюта рискнул обернуться и увидел, что вся похожая на небольшую стаю волков четверка движется прочь, в сторону центрального вестибюля вокзала.

¹³ Лопатник — кошелек.

Лина из-за только что пережитого стресса тараторила без умолку:

— Вы когда к магазинам пошли, Петька возле стойки вертелся. И услышал, как их главный говорил, что вроде знает вас. В АТО видел: вы, молвяв, там воевали.

— За сэпаров, — не преминул уточнить Петя.

— Да.

Здесь Лина сделала едва уловимую паузу и вопросительно взглянула на Карлюту. Комментариев не последовало.

— Ну вот... Они поднялись и вышли. А мы с Петькой сидели и смотрели друг на друга — испугались за вас сильно. А потом побежали за ними. Разом...

На электронном табло загорелась надпись: «Львів — Київ. 05:58». Народ, топлясь, стал спускаться к перрону. Небо серело: приближался рассвет. У самого выхода на платформу Карлюта щелкнул языком и замедлил шаг.

— Я, это... передумал. Там и без меня встретят.

Лина и Петька непонимающе хлопали глазами.

— Короче, пойду, дело важное, щас только вспомнил... Тебе. — Он протянул парню пластиковый футляр с подарочным изданием битловского «Красного альбома».

Внутри, помимо замечательных песен, находился плотно спрессованный ролик денег, чуть больше двух тысяч долларов — почти все, что осталось от той странной находки в поезде. По курсу должно хватить.

Мальчик обнаружил их позже, когда его мама всматривалась в окна тормозящих вагонов в предвкушении скорой встречи с любимым мужем. (Тот, кстати, не привез ничего, кроме нескольких счетов от адвоката и повестки в суд: сгоряча выбил пару зубов кому-то в банке.)

Но это после. А тогда, в момент прощания, начинающий траппер Петро Сокрык торжественно коснулся Карлютиногo плеча и произнес по-индейски:

— Хау!

А за ним и Лина, как бы отгоняя наваждение, тряхнула своими густыми волосами и тоже протянула узкую, почти детскую ладонь:

— Счастливо вам... И вашим близким.

И они ушли.

...В Киеве начиналось утро. Оно обещало быть ярким: солнце с ходу пробило изрядно поредевшие облака и уже вовсю отражалось в радужно-бензиновых лужах на вокзальной площади. У ресторана «Дрова» давешняя пара вольтерьянцев грузила в машину невменяемых участников группы «Вольный радикал». Мимо прошел смутно знакомый бородач с необъятным туристским рюкзаком за спиной. Негромко о чем-то спросил у страдальца-импресарио. Благодарно кивнул. Потом, прищурившись, улыбнулся рыжему, как он сам, солнцу и растаял в толпе.

Гранаты в его рюкзаке лежали пока спокойно и уютно постукивали. Они ждали своего часа.

Андрей ГРИЦМАН

ВЗГЛЯД НА ИНУЮ ЖИЗНЬ

Север

1.

За Вологдой, в глуши лесов,
молочным озером под елью —
оазис северной деревни
с гостеприимством сонных псов.
И сонность, и остроконечность,
колонность сосен, лень берез,
безвременный сухой мороз,
бесповоротный и беспечный...

Холодный белозерский блеск
в окаменевшем отраженье.
И мир, и монастырь, и лес
в никонианском искаженье.
Над озером — сгущенный дух
на хвойных потемневших смолах,
как еле уловимый слух
о дымной горечи раскола...

И сети в рыбьей суете,
и солнце в пестрой чешуе,
в холодной глубине пространства,
в лазоревом непостоянстве,
в дионисийской высоте.

Где шепот из последних сил
в глухой мохнатости приречной,
мерцающая бесконечность
необозначенных могил.

1977 г.

2.

Кемь, Кандалакша, Умбо-озеро, Охта.
 Серы каркасы баркасов рыбацких.
 Крест староверов, крест Кивиристи.
 Черные версты лесов беломорских.
 Дальние звезды — соль староверов.
 Здесь мы когда-то оставили душу.
 В зоне охранной серебряно-серой
 окрик студеный конвойный не слышен.
 Узкоколейка ведет к камнелому,
 нечеловеческой страшной плотине,
 я это видел, далеко от дома.
 Память затянута паутиной.
 Веткой подать до Полярного круга.
 Берег в следах кострищ и баркасов.
 В небе — полярные дальние дуги
 белого дна пустого пространства.
 Я никогда не расстался со снами,
 с этими мечеными местами.
 Лишь одинокая дальняя птица
 в ночь долетает до финской границы.

2017 г.

* * *

Пусть теплится там где-то, в глубине.
 Она бормочет только для меня,
 все на ходу, но в основном во сне,
 когда толются тени без огня.

Кто это знает, скоро ли она
 покинет дома этого предел?
 Надежно покрывает пелена
 строки последней ненадежный след.

Я все надеюсь, я ее должник,
 пока еще идет игра впотьмах,
 но там, вдали, уже яснее лик,
 и мне слонов не досчитать до ста.

История семьи

Когда-нибудь вернешься и увидишь старый дом,
висячие цветы и полки с книжной пылью,
полуоткрытое окно, осенний дым, застывший в воздухе:
взгляд на иную жизнь.

Лежат на дне его листки, забытые давно.

Портреты на стене, их странный дальний взгляд,
когда печаль неявна.

Вселенная семейной их судьбы.

Сто звездочек мерцающей надежды.

Так мягкой поступью кошачьей жизнь
обходит тихий дом, по-прежнему хранящий их следы,
попытку выжить, орех и дуб каркаса того быта,
который погасал годами.

Так и вышло, как с тысячью других.

Но, раз вернувшись, ты увидишь вновь:

он у камина с мертвой сигаретой,
смирившись с невозможностью иного,
она — ступает вниз легко, тень в ореоле тающего света,
прозрачная рука простерта, как Млечный Путь
над сумрачной планетой.

В ней неоткрытое письмо.

* * *

Стараешься забыть тебя, себя,
ту голубую нить, ведущую на взлет.
Тут не вопрос — быть иль не быть,
идет своим путем судьба.

Присядет отдохнуть, потом опять в забой,
а то пойдет сдать сумку стеклотары
на плавильный сырок, навзрыд, на «Зверобой»,
хоть сдан последний грош — на кружку «Солнцедара».

Но ты не торопись, душа моя,
не задевай пропавших по дороге.
Загадочна дорога бытия,
и гул затих, и волка кормят ноги.

* * *

Н. Г.

И Горький плакал посреди ковров.
Дул ветер. Краснофлотцы прошагали.
Стыл телеграф. Зиял холодный ров.
Оркестр гремел в прокуренном вокзале.

Отливший пулю пролетариат
крепил победу мутным самогоном.
Пустырь прибрали наскоро. С утра
на юг ушли военные вагоны.

И кто-то, песню оборвав навзрыд,
ушел в себя, горя без причины.
Кружил стервятник, чужая мертвечина,
потом взлетел куда-то за Кронштадт.

Погиб поэт. Остановилось время.
Но в кабинетах тикали часы.
Теперь, когда они клянутся им,
мы помолчим, светильник пригасив.



Елена ЛОБАНОВА

МИССИС ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ

Р а с с к а з

Если в один ничем не примечательный день в ваше низенькое окошко на городской окраине вдруг забарабанят ноготки цвета адского пламени с золотыми вспышками — вы в ту же секунду швырнете в мойку недомытые тарелки с воплем: «Лилька!»

Подобно сказочной фее, она появляется ровно в тот момент, когда настоящее погружено в тоскливую серость, минувшее — в непроглядный мрак, а в будущее и заглядывать-то страшно. В ту самую минуту, когда хочется отчаянно воскликнуть: ну что за жизнь, ребята?! Ну где же, спрашивается, носит эту птицу счастья завтрашнего дня? И куда подевался белый теплоход, а заодно сиреневый туман и синий-синий иней? И когда успели погаснуть нашей юности надежды?

Вот тут-то и возникают на фоне соседского сарая бронзово-каштановые Лилькины локоны и завитушки. А возможно, иссиня-черные углы Лилькиного каре. Не исключены также подбритые до белизны виски, по контрасту с огненно-рыжим конским хвостом на темени. Ибо Лилька — рьяная противница всяческой рутины. Она носит джинсы с дырявыми колленками и маечку на одно плечо, но может явиться и в элегантном тренче поверх кофточки в рюшах. «У вас тут реальные маньяки живут! Пристал какой-то ветеран Куликовской битвы!» — возмущается она, впархивая в дверь в слегка удлиненной балетной пачке.

Сколько я ее помню, Лилька выглядит как финалистка конкурса красоты, которой по причине избытка женственности достался не Гран-при, а всего лишь приз зрительских симпатий. Никому и в голову не придет, что родом она с глухого хутора. И что эта красotka — настоящий танк в подарочной упаковке.

Наше знакомство случилось на защите диссертации. Лилькиной. В ту пору я, питавшая честолюбивые наукообразные мечты, прозябала за лаборантским столиком на кафедре зарубежки, и каждый кому не лень норовил нагрузить меня планом, отчетом, протоколом или хотя бы требованием кофе.

— Вы не побудете пока с моими? У меня через десять минут начало, — раздался рядом бархатный голосок.



Ну уж это было чересчур! Незнакомая шатенка кукольного вида, хлопая тщательно уложенными веерами ресниц, подталкивала ко мне крепкого бутуза лет трех и изящную стрекозу чуть постарше, с капроновым вентилятором на голове. И при этом смотрела ясными глазами чайного цвета. Новое дело: меня собираются использовать как няньку!

В первую секунду я онемела от злости. Во вторую — разглядела плагиате с плиссированной вставкой. Покрой его был призван не скрыть беременность, но представить будущую мать венцом красоты, как в эпоху Возрождения. Это что же — она ждет третьего?! На счет «три» дар речи еще не вернулся. И только на «четыре» я проблеяла:

— Но как же... ведь у вас... ведь кто-нибудь же...

— Я в разводе, — деловито проинформировала дама. — Муж скрывается, мама на работе, свекровь в больнице. Кстати, меня зовут Лилия.

Что мне оставалось делать? Только покорно кивнуть и придвинуть к столу два дополнительных стула. Дети немедленно вскарабкались на них и, отпихнув клавиатуру компьютера, расположили на ее месте пляшущего жирафа на подставке, радужную спираль-пружинку и порядком истрепанный блокнот.

— А карандаши? — требовательно спросила стрекоза.

Мама Лилия порылась в лаковой сумочке, извлекла красную ручку и сунула ей, после чего, слегка взбив локоны, отбыла со словами: «И смотрите мне, чтобы тут — нишшфрр!»

Но только было дети по этой команде занялись игрушками, как из приоткрытой двери донеслось пронзительное: «Ирин-Ванна, где вы шляетесь?» По понятиям нашего завкафедрой, все его подчиненные на работе исключительно гуляли, прохлаждались и шлялись, причем последнее означало высшую степень раздражения. Поэтому я выскочила на зов и, повинувшись велению начальственной руки, помчалась в аудиторию, где проходила защита. Мысленно я молилась о сохранении сумки, оставленной на произвол непрошенных гостей, и потому научная суть Лилькиной работы ускользнула от меня. Помню, в ней то и дело мелькали какие-то «континуумы» и «амбивалентные взаимосвязи». Несмотря на интересное положение, соискательница держалась уверенно: бодро сообщала, содержательно отвечала на вопросы и находчиво парировала замечания.

Казус случился лишь под конец речи второго оппонента: дверь со скрипом открылась и на пороге явилась стрекоза — уже без банта. За ее плечом маячил бутуз.

— Мама! — вымолвила она трагическим голосом. — Там Сережка та-а-акое натворил!

Я испуганно приподнялась со стула, однако была водворена на место грозным взглядом шефа. Диссертантка сменила интеллектуальное выражение лица на сварливо-воспитательное и прошипела:

— Маша! Я кому сказала — ни шагу с кафедры!

Маша выпрямилась. Выпятила крошечный подбородок. И в наступившем безмолвии звонко возвестила:

— Хорошо, я уйду. Но ты, мама, не права!



Схватила брата за руку и удалилась, не обернувшись.

Ученая комиссия зачарованно смотрела им вслед.

Забегая вперед, скажу, что сумка моя уцелела, а диссертация так и не пригодилась Лильке: жизненный путь увел ее в другую сторону. Словно в утешение после многолетнего, но неудачного замужества, встретился солидный человек. Наш шеф. Само собой, злые языки тут же заработали: охмурила вдовца-профессора, позарилась на квартиру... Я-то, впрочем, прекрасно видела (как раз тогда мы с Лилькой и подружались): маститый профессор сам бегал за ней, как второкурсник! Были тут и букеты на дом, и очереди за детским питанием, и декламация классиков Серебряного века, и совместные поездки к детскому мануальщику. Новорожденная, увы, не вышла здоровьем. Но, может, как раз благодаря неумелой суете нашего свирепого зава вокруг малышки сердце Лильки в конце концов растаяло. Они прожили вместе пару лет — вроде бы довольно счастливых. Однако внезапно он умер. Вышел из лифта, шагнул к двери и упал. Тромб закупорил артерию. «Единственное, чем могу утешить, — сказал врач, — он ничего не успел почувствовать».

Наши кумушки, как водится, опять зашипели: «Заездила!» А мне все вспоминалась его невиданная в прежние годы улыбка: растерянная, чуть на один бок.

Недолго побаловав Лильку, судьба принялась за старое. Из квартиры она, сомнительная сожительница, была оперативно вышвырнута набезжалыми родственниками. Кумушки с кафедры тут же пустились сочувствовать, помогать искать съемное жилье, наставлять на ум: можно ведь отвезти старшеньких к маме на хутор — на время, конечно! Но Лилька смотрела косо и отворачивалась. Только однажды проговорила мне, а точнее, прорычала сквозь зубы: «Вот увидишь — выцарапаюсь! Чтоб больше такого... никогда в жизни!» — и сжала кулачки.

И ведь выкарабкалась! Пометавшись по съемным каморкам, отыскала древнюю бабу-родственницу, седьмая вода на киселе, жившую хоть и за городом, зато в собственной двушке-хрущевке. Баба давно нуждалась в присмотре и согласилась пустить родственное семейство, готовое на посильную помощь. По существу, это было рабство, причем с использованием детского труда. Первоклассница Маша научилась по дороге из школы заходить за хлебом и молоком и варить кашу геркулес. Пятилетний Сережа — пылесосить и развлекать младшую сестренку Ксюшу, а заодно бабу, изображая звуками разных животных. Неизвестно с какой стати, эти дети привязались к сварливой старухе — может, потому, что она была единственной, чей голос они слышали дома. Лилька, отдав Ксюшу в частные ясли, по ночам управлялась со стиркой и готовкой, а днем осуществляла дистанционное руководство жизнью семьи, бегая по урокам.

Вот теперь-то все-таки пригодилось ее ученое звание — для рекламы. Цель определилась четко: наработать базу из состоятельных клиентов. И через пару лет сарафанное радио вознесло ее к вершине репетиторского олимпа.



Обнаружилась, правда, специфика контингента — непредсказуемые детишки. И не то чтобы все поголовно были избалованны. Была, например, образцовая девочка, чьи родители разъезжали то по бизнес-командировкам, то по загранкурортам. Ребенок двенадцати лет жил на попечении гувернантки, унылой мегеры. И ничего — школу не пропустила, училась на пятерки, еще и в музыкалку моталась. Каждый день как прикованная высиживала часа полтора за пианино. При случае умела вызвать такси, карманные деньги ей оставляли. Лильку она обожала, доверяла ей все тайны. Однажды та приходит на урок, а на ученице лица нет: «Представляете, мама сказала в тумбочке поискать лекарство, а там аттестаты лежали. Лилия Борисовна, у них тройки есть! А говорили — медалисты!» И так смотрит — ну просто когнитивный диссонанс в глазах. Смех и грех, в общем.

Был сынок местного министра, пятиклассник. Один раз задала ему сочинение «Письмо Деду Морозу». И ребенок основательно, по пунктам, перечислил пожелания: кого желательно было бы убить в новом году. В основном учителей, естественно. Себя Лилька обнаружила на третьем месте. Почетно. При встрече показала сочинение папаше — с улыбкой, типа, детская шалость. Тот оживился, искренне расхохотался. Видимо, обрадовался, что самого пока что в списке нет. Веселое оказалось семейство.

Вообще, у себя дома многие дети вели себя раскованно. Один мальчишка, стоило ей отлучиться в туалет, вытащил из кошелька три тысячи. Другая девчонка занималась исключительно в пижаме, при незаправленной постели. Лилька сделала замечание — мамаша встала в позу: что за придирки, ее дочь на своей территории!

Но и плюсы тоже были, конечно. Одна родительница познакомила с хорошей парикмахершей, другая дала телефон детского гомеопата. Приглашали даже на семейные праздники — если, к примеру, урок приходился на время застолья. Некоторые родители любили щегольнуть перед гостями интеллектом чада. Скажи мне, кто твой репетитор, и я скажу, кто ты. Все же Лилька и умница, и красавица. Если надо, и по-английски так защебечет — заслушаешься.

Так что и года не прошло, как на чьем-то дне рождения встретила второго мужа. Этот Олег тогда урвал какой-то большой заказ в строительном бизнесе. И вообще казался деятельным товарищем. Через пару месяцев заложил Лильке фундамент трехэтажного дома в новом дачном массиве. Не ближний свет, зато свое. И собой неплох: высокий такой, взгляд орлиный. Но в золоте не купался, тем более что первая жена продолжала иметь виды на его кошелек.

Тем не менее свадьбу устроили шикарную. Лильку, конечно, можно понять: покойный шеф о регистрации речи не заводил, а свое первое бракосочетание на родном хуторе она совсем не вспоминала. Однажды только показала снимок: на крыльце под вывеской «Загс» молоденькие девочка с мальчиком, она с животиком уже, и платье фасона «голь на выдумки хитра», подол в рюшах из соборенных лент — привет из лихих



девяностых. И видно, что холодно, на худеньких плечах поверх платица — пиджак жениха. Вообще не похожа на себя! Но это убогое платице, мамой сшитое, она долго берегла и только здесь, в городе, в тяжелую минуту отнесла в комиссионку.

Поэтому настоящую пышную свадьбу она себе вымечтала. И когда они с женихом спускались по ступеням Дворца бракосочетаний, и когда фотографировались на мосту Поцелуев — глаз было не оторвать от ее шлейфа цвета шампанского, от нежнейшей пелерины из перьев. Шлейф, разумеется, несли три ангелочка, а хуторская родня — мама, брат и тетка с дядей — так и норовила схватить и потискать малышей. Однако Лилька была на страже — никакого отступления от протокола! Никакой лишней фамильярности! Это был ее праздник, ее звездный час, и все было продумано и расписано по минутам: выкуп невесты, загс, ресторан и все свадебные штучки вплоть до подкидывания невестиною подвязки. Правда, когда она, собираясь бросить букет, проинструктировала меня: «Становишься впереди всех. И на счет “два” — лови! И чтоб ни Анька, ни вон та рыжая!» — мне это показалось некоторым перебором. Хотя букет я все же поймала. И хотите верьте, хотите нет — получаса не прошло, как меня пригласил танцевать будущий муж. Словно Лилька своей неумемной энергией подтолкнула и мою судьбу!

А вот путешествие молодых в Египет сложилось негладко. Бабушка, заполучив внуков, с ходу слегла с сердечным приступом: те под водительством Маши ушли в лес и объявились уже в сумерках — сотовый в лесу, как ни странно, не ловил. Ксюша вдобавок простудилась. Вечером бабушка слабым голосом перечисляла дочери по телефону свои несчастья, а та привычно распорядилась: в каком пакете взять антигриппин, в каком корвалол. И ничего — обе вскоре оклемались, старшенькие разобрались, где магазин и у кого брать молоко, и привычно организовали быт.

Но все-таки медовый месяц пришлось прервать: неожиданно скончалась та самая одинокая старуха в пригороде. Так что через день Лилька с Олегом приземлились на родине, через два организовали погребение — все чин чинном, с отпеванием и поминками в кафе. Ветхие подружки покойной таращили глаза на целый выводок наследников во главе с юркой дамочкой в неприлично прозрачном, хоть и черном платье. Однако к косым взглядам Лильке было не привыкать.

Бабкину двушку она оперативно сдала. Деньги нужны были позарез — для Ксюши. Девочка росла слабенькой, плаксивой, плохо ела и отставала в развитии. И сколько мать ни таскала ее по госмедучреждениям и платным диагностикам, а потом по знахаркам и целительницам — никто толком помочь не смог. Говорили, как водится, разное: от родовой травмы (которой, клялась Лилька, и в помине не было) до родового проклятия. Назначали курсы таблеток, уколов и капельниц — все без толку. Она не сдавалась — в придачу к репетиторству устроилась на полставки в лицей при мединституте. Свела знакомство с остеопатами и психотерапевтами. В ход шли травы, массажи, иглоукальвание, дыхательные комплексы и контрастные души. Увы! Ксюша продолжала одновременно и чахнуть, и



вести себя девиантно, то есть попросту невыносимо. Когда я слушала, как она размалевала Машин дневник или расцарапала Сергею руку до крови, у меня неприятно щекотало в пятках.

А Лилька еще и успокаивала:

— Да все по графику! Знаешь, есть такая японская теория: привыкание к стрессу. Каждый день организм получает хоть небольшой, но стресс. Зато вырабатывается стрессоустойчивость! Ведь полезная штука, согласись!

Я только диву давалась. А она только смеялась — похудевшая, с запудренными синяками под глазами. Определенно, в ней был заложен вечный двигатель. После того как родила своего, я в этом уже не сомневалась. Хорошо еще, что Олег как-то прикипел душой к заморышу Ксюше. Даже умилялся на ее капризы. А может, просто любил Лильку.

И вдруг полоса стрессов оборвалась. Кончилась! Как-то внезапно выяснилось, что Машка с Сережкой вполне самостоятельные люди: сами и уроки сделают, и какой-никакой обед приготовят, еще и сестру на процедуру сводят. А главное — у маленькой капризницы вдруг прорезался голос, да такой, что ее с руками-ногами отхватили в лучший в городе детский хор «Горошинка».

Если кто не знает, вокальное искусство требует немалых жертв. Тут тебе и сольфеджио, и сводные репетиции, и даже какая-то особенная дыхательная гимнастика. И откуда-то у нее эти силы взялись! Поначалу, правда, пару раз на репетициях упала в обморок, но руководительница мамочку успокоила: у начинающих солисток бывает, не переживайте. И точно: через полгода девку было не узнать! Куда-то пропали вечные ангины. Одновременно явилась и степенность, и даже солидность. Про отставание в развитии никто больше не вспоминал. Девиантное же поведение, похоже, целиком переработалось в чистые, звонкие звуки. Лично я, когда первый раз услышала, прослезилась. Это у меня вообще слабое место — если детки выступают. Муж даже на елку мелкого сам водит, чтоб я там нюни не разводила. А Лилька ничего, на всех концертах в первом ряду! Сидит, сияет глазами и очередным колье. Опять поправилась, расцвела. Рядом Олег, с туповато-удовлетворенным выражением мужественного, в модной щетине лица. По обе стороны — восторженные мордахи Машки и Сережки. И вся эта идиллия в свободном доступе в инстаграме. И не только эта, разумеется: еще как семейство в парке раскатывает на велосипеде; а еще в детском кафе, у Сережки нос в мороженом; и на пляже вокруг Лильки, живописно раскинувшейся в шезлонге в бирюзовом бикини.

Вот это-то дерзкое бикини, подозреваю, и стало последней каплей в чаше терпения судьбы. А также притчей во языцех, камнем преткновения и поворотным пунктом.

Произожди такое в девяностых — многие заподозрили бы происки конкурентов. В 2010-м — порекомендовали бы лауреатов шоу «Битва экстрасенсов»: не сглаз ли, не проклятие бывшей жены? Ну а я с грустью заключила: такое уж оно, Лилькино счастье. Непостоянное. Поматросит — и бросит.



Началось, как водится, с пустяка.

Собирались всем семейством поехать в Чехию. Уже были практически на руках и туры, и визы, и загранпаспорта. И вдруг обнаружилась пропущенная буква в Сережкином свидетельстве о рождении. В фамилии! Лилька в ярости метнулась на родной хутор, потом в райцентр, но тут настали выходные и загсовская начальница отбыла к родственникам в другую деревню. Пока Лилька ее разыскивала, уговаривала и везла обратно, пока меняла сроки тура, у Олега стряслась неприятность: сорвалась аккредитация на выгодный, с трудом найденный тендер.

Попсиховал, конечно, поматерился по телефону, однако в конце концов согласился с женой: нечего тачать горячку, надо развеяться. И они неплохо отдохнули, обогатив инстаграм снимками на фоне приземистого Карлова моста, голого металлического мальчика у Музея игрушек и волнистых скал Богемии, похожих на слоеные пироги.

А спустя неделю после возвращения случился обвал рубля. Как специально к тому моменту, когда двое заказчиков наконец-то рассчитались за объекты.

Тут муж Лильку сильно удивил. Сначала впал в натуральную депрессию и два дня лежал лицом к стенке, ни на что не откликаясь. Потом вдруг встал и объявил: надо вернуться в Чехию. Поездка была знаком судьбы. Продать все что есть, движимое и недвижимое, и переехать в цивилизованную страну. Жена остолбенела: как это переехать — не зная ни языка, ни тамошней жизни? А дети? Да вот так, было отвечено сурово. Есть случаи, когда нужно рисковать. А дети сами потом спасибо скажут.

Вообще-то спорить с Лилькой — дело провальное, я-то в курсе. Она мягко объяснила, что все нужно как следует обдумать. Она умела объяснять мягко, но убедительно. И вскоре Олег сам отказался от глупой авантюры.

Только и к своему бизнесу заметно охладел. Перестал носиться по объектам, скандалить с прорабами, отслеживать рейтинг. И то сказать, фирма явно дышала на ладан.

— Она ему как старая жена, — возмущалась Лилька, — надоела! И вкладывать последнее в реанимацию неохота. Вот если бы молоденькую, со свежим капиталом!

Вкладывать последнее он вдруг решил в собственный дом. А конкретно — реконструировать крышу, соорудив на ней шикарную террасу с зимним садом. Этот зимний сад был, оказывается, его давней мечтой, не разделенной первой женой. Подразумевалось, что Лилька оценит идею по достоинству. Напрасно пыталась она переключить внимание на более насущные нужды: образование детей, например, или небольшую дачку с перспективой «на старость». О старости он даже слушать не желал.

— Надо уметь воспарить над суетой! — твердил на все ее доводы. — А вот когда уже не получится — тут, значит, тебе и старость!

Цельми днями, растянувшись на диване, он искал в Интернете дизайнерские решения места под солнцем, чертил планы и подсчитывал расходы на калькуляторе. Жена выходила из себя. Начались скандалы. Они



то не разговаривали по два дня, то спорили до хрипоты. И однажды в пылу дискуссии Олег полез на крышу, чтобы доказать что-то насчет угла стока воды. Он был в футболке и пижамных брюках. Стоял декабрь.

Все случилось по классической схеме: поскользнулся, упал, очнулся... на куче песка под слежавшимся снегом. Эта куча и спасла ему жизнь. Врачи «скорой» цокали языками: счастливец! Отделался, считай, пустяками! Под пустяками подразумевались переломы руки и тазовой кости. Лилька, правда, уверяла, что было и сотрясение мозга. А иначе с чего бы он стал так тормозить? Последнее обнаружилось на второй день при расспросах, когда заподозрили суицид: «Если вы собирались заняться за-мерами, почему не оделись теплее? Вы же видели снег? Понимали, что на улице зима?» А в ответ: «Э-э-э... ну-у-у... вообще-то да, но... как-то так...» Глаза сонные, сам вялый, во рту словно каша. Просто другой человек! Однако насчет суицида в конце концов отстали. Назначили только кучу препаратов для сосудов, и для кровообращения, и для успокоения. Так он и без них стал как сонная муха. Сохранились только основные инстинкты: есть, пить, реагировать на жару и холод.

Кости таза срослись благополучно, а вот руку сложили сперва неудачно, пришлось еще раз ломать. Когда настало время разрабатывать — делал упражнения нехотя, только под нажимом. Прежняя гибкательная способность так и не вернулась. Зато вернулась способность к сексу. С одной стороны, хороший знак. С другой — единственный. Лильку просто вымораживало: в постели — мужик мужиком, а в жизни — амеба амебой. Встанет, поест, сполоснет тарелку. Посидит у телевизора с невнятным выражением: то ли ему неинтересно, то ли вообще не доходит, о чем речь. На все звонки отвечал так, что Лилька стала брать телефон сама. По дороге в магазин забывал, за чем шел. В итоге получил-таки группу: символическую пенсию и право ездить в санаторий за полдены.

И все же она надеялась. Опять потянулась череда мануальщиков, остеопатов, каких-то новоявленных кинезитерапевтов. Подросшие дети помогали: хлопотали по хозяйству, присматривали за отчимом, могли и прикрикнуть. Но относились по-доброму, называли его ласково Олежкой. И он не возражал, отзывался. Не особо разговаривал, он вообще теперь почти не разговаривал, но, если поручали чистить картошку например, выполнял старательно, хоть и неумело. Улыбался детям, особенно Ксюше. А на Лильку чаще взглядывал настороженно, словно побаиваясь. Она, понятное дело, иногда срывалась.

Никак не могла смириться, что бизнес как род занятий остался в прошлом. Медлила продавать, тянула до последнего. И дотянула: наехали коллекторы. Позже со смехом показывала в лицах «маски-шоу»: как Маша открыла им дверь, Сережка завопил: «Вау! Бэтмен!» — а сама она, полуголая, явилась из ванной. Олег мирно дремал в спальне. В ее исполнении выходил сюжет для кинокомедии. Вот только с бизнесом после этого расстались буквально через неделю. Отбить удалось ничтожную часть вложенного.



Если вы думаете, что испытания сломили нашу Лильку, то сильно ошибаетесь. Глаза ее все так же лучились и сверкали, брови вздымались безупречной линией. Стильные очки, которые она теперь носила, добавляли облику пикантности, а легкая полнота — южной знойности. И если бы в нашем городе вздумали проводить конкурс красоты, например, среди многодетных мам — титул «миссис зрительских симпатий» наверняка достался бы ей.

Очередь на уроки все удлинялась. Некоторые записывали детей за год. Она готовила к ЕГЭ по русскому, литературе и экзаменам по культуре речи. Принимала заказы на сочинения, рефераты и курсовые. Стыдно признаться, но и моя в конце концов вымученная диссертация не миновала ее редакторской руки!

— Ну а сама? Не жалеешь, что бросила науку? — иногда допытывалась я. — Может, была бы сейчас уже профессором!

В ответ она приподнимала точеные брови, и над ними пролегали две тонкие морщинки.

— Знаешь, такое чувство, что я не влияю на ситуацию. Лечу, как пуля. Еле успеваю по сторонам оглядываться. И каждый раз вижу новый пейзаж.

И впрямь, события ее жизни сменялись со скоростью слайд-шоу. Маша увлеклась рисованием, училась в какой-то студии, собиралась в художественный колледж. Лилька просто дымилась от ярости: в наше время — и не закончить школу? Остаться без высшего образования?

— Потому что после колледжа в институт не заманишь! — твердила она. — Ладно бы она ЕГЭ боялась, как все дети. Так ведь родная мать — репетитор! Сколько идиотов подготовила! Сколько своими руками в вузы затолкала!

И она потрясала передо мной этими руками в сверкающих перстнях и французском маникюре.

У Сережи обнаружилась другая проблема — интернет-зависимость. Это было видно даже по его позе: сидя за компьютером, он слегка склонялся к монитору, и лицо у него было оживленное и радостное, словно у влюбленного. А разлучаясь с экраном, мрачнел и замыкался в себе.

— Ну да, упустила ребенка, я не отрицаю. А какой у меня был выбор? — Угол рта у Лильки дергался, она на мгновение сжимала губы. — Сам соображать должен, не маленький! Я в его возрасте все по дому делала. Одна в райцентр на базар ездила! А он чаю себе не погрееет, будет Машку ждать.

— Сейчас многие так, — пыталась я успокоить, втайне холодея при мысли о собственном подрастающем ребенке. — Проблема поколения... Соцсети затягивают...

— А этот! — негодовала Лилька, имея в виду Олега (с некоторых пор она только так его и называла). — Хоть бы слово ребенку сказал! Полдня сидит как овощ, пульт к руке прилип!

Я не знала, чем ее утешить. Просто вздыхала как могла сочувственно.



И только Ксюша пока что радовала материнское сердце. Она по-прежнему звонко пела, без капризов ела по утрам кашу (единственное, что успевала приготовить Лилька) и старательно выводила прописи в своих первых тетрадках.

— Неужто наконец заслужила хоть одного нормального ребенка? — вопрошала растроганная мать.

Услышав это, Маша иронически поднимала брови:

— Ну, если не считать звездной болезни...

Но звездная болезнь выражалась всего лишь в пристрастии Ксюши к селфи и никому, по мнению Лильки, не мешала. А может быть, она узнавала в младшенькой себя. Многие, увидев их вместе, поражались:

— Одно лицо!

Подростая и поправившаяся Ксюша и вправду все больше походила на мать. Тем более что та вернулась к собственному цвету волос и локонам, с которыми я ее впервые увидела. Только губы стали другие — твердые, уверенные, с маленькими ироничными скобочками в уголках. Словно она без слов говорила всем своим невзгодам: «Что, испытать меня решили? Ну-ну, попробуйте!»

И всякая встреча с ней по-прежнему наполняла меня энергией и даже, как ни глупо, смутным предчувствием каких-то свершений и побед.

...Помню этот серый день, какие случаются в ноябре на юге. Это когда не осень золотая, не волшебница-зима, а все вокруг голо, однообразно и дождь. Но не безостановочный ливень, в который сидишь дома и выгнать страшно, а такой, который нудит, нудит — и вдруг прекратится, куда-то спрячет тучи и чуть было не выпустит солнышко, но нет, в последний момент подсунет-таки облачный фильтр, чтобы сохранить свою любимую серую тональность, и на всякий случай еще раз мелко побрызжет.

В такой вот полдень и заглянула ко мне Лилька. И с порога скомандовала:

— Сегодня гуляем! Дышим кислородом! Погода? Ой, не выдумывай!

Как всегда элегантная — синяя юбка-карандаш, серо-синий свободный кардиган поверх белоснежной блузки, — она одним своим видом пристыдила погоду, и та прояснилась-таки и даже расщедрилась на добротный кусочек бабьего лета. Так что, пока мы пили кофе, пока Лилька, посмеиваясь, изображала в лицах, как устроила знакомство Сережи с хошой девочкой — в реале, а не в каком-нибудь виртуале! — на улице уже подсохли лужи и засияли золотом и медью последние листья.

Ловко всучив моему мужу ребенка и распечатанный билет на новый мультфильм, она распорядилась:

— Забыли все проблемы!

И мы, как студентки, выскочили из дома и рванули сначала по Красной, а потом в парк — без всяких планов и целей, а просто куда глаза глядят и откуда несутся смутные обрывки мелодий.

И не прогадали! В парке происходил, видимо, последний осенний праздник. Работали все качели, карусели и киоски с соблазнительным фастфудом. Когда мы, махнув рукой на фигуры, уписывали по хот-догу,



Лилька ляпнула кетчупом прямо на белую блузку, но тут же с хохотом объявила, что как раз этого-то цветового пятна и не хватало в ее комплекте. И в эту минуту, словно в награду за ее смех, во всех аллеях зажглись огни, пронзив сиреневые сумерки. А может быть, я просто не углядела, как она взмахнула своей волшебной палочкой?

На летней эстраде началось выступление цирковой студии. Я и понятия не имела: у нас существует детская цирковая студия! Сначала выступала группа мальчиков-акробатов, и публика приветствовала каждую пирамиду и прыжок восторженным визгом. Потом две девочки-эквилибристки, побольше и поменьше, с такой трогательной осторожностью вертели ногами серебряные и золотые цилиндры — некоторые вдвое больше артисток! — что в глазах у меня привычно защекоotalo. Были и юные клоуны, и клоунессы, и музыкальные эксцентрики. А под конец зрителей развлекало семейство жонглеров: славный толстячок папа, молоденькая мама и с ними малыш лет пяти. И когда я увидела это дитя с разноцветными мячиками, умиление в моей душе достигло высшей точки и прорвалось звучным всхлипом.

Лилька, зная не зная о моей позорной слабости, встревожилась было, но, разобравшись, фыркнула: «Еще рева тут не хватало!» — и решительно потащила меня прочь, в сторону спортивной площадки.

— Да ладно, никто не собирался реветь! — канючила я, упираясь. — Ну куда мы... там же больше ничего нет! Темно!

Но я ошиблась. На свободном пятачке между брусьями и кольцебросом танцевали. Оказалось, здесь нашли приют престарелые любители танцев. Большая танцплощадка почему-то не работала, и они, не смущаясь ни теснотой, ни слабо доносящейся издали музыкой, устроили свой данс-пол на том же месте, где обычно выгуливали внуков и собачек. Даже в полутьме было видно, как блестят их глаза и развешаются юбки и шарфики. Поскрипывал гравий под ногами. Некоторые подпевали сами себе. Некоторые плясали шерочка с машерочкой. Однако были и полноценные пары: кавалер и дама. Правда, чем дольше я вглядывалась в танцоров, тем безжалостнее проступали морщины, неряшливые пряди волос, мешковатые брюки и жакеты... Интересно, откуда набрались эти пенсионеры, гадала я: из окрестных домов? из самостоятельного хора? из дома престарелых?

Две старухи невдалеке, видимо, отдыхали от усилий. Беседовали, перекикивая шум.

— Челюсть! — втолковывала одна другой. — Ну которую в прошлом году вставила! Искала, искала, а потом гляжу: ее собака по двору таскает! Но не поломала, нет. Только погнула!

Голос ее звучал ликующе. И слушательница радостно кивала. Обе улыбались, явно забыв про все свои болячки, овсянку, тертую свеклу, звонки детям, у которых вечно отключен сотовый... И вонючие лестницы, и неработающие лифты... Праздник с налетом склероза? Ну и пусть! В глазах у меня опять защекоotalo. Я ждала Лилькин локоть, безмолвно благодаря за это дополнительное чудо.

Внезапно она так резко выдернула руку, что я отшатнулась. Она обернулась и прошептала:

— Посмотри на этих! На нее!

И резко дернула головой в сторону ближайшей пары. Как будто выстрелила взглядом.

Я всмотрелась в кавалера и даму. Это были явно не звезды бала. Дедулька — жилистый и сухопарый, неопределенной степени старости — кружился активно, хотя несколько враскачку. Бабулька же явно путалась ногами и не поспевала за партнером. Ее светлая юбка не летела по кругу, а суетливо металась туда-сюда. При этом на лице было глупо-счастливое, слегка безумное выражение, рот полуоткрыт. Она, похоже, задыхалась, но не собиралась останавливаться.

— Бедняга! Проблемы с сосудами, — предположила я. — Глицин, винпоцетин...

— При чем сосуды? — оборвала Лилька. — Посмотри на платье!

Я посмотрела. Платье было вроде бы нормальное, ни дыр, ни пятен не заметно. Не по сезону светлое, конечно, но тут уж надо учесть возможности. Может, оно у нее самое приличное. Или даже единственное. Хотя многие старушки в наше время обживают секунд-хенды. И правильно делают, я считаю.

— Не узнаешь? Это же мое! — вскрикнула Лилька, и рот у нее искривился.

Тут я догадалась. Посмотрела на бабульку, все еще не веря... Танец, к ее облегчению, закончился. Она шла прямо к нам, уцепившись за локоть деда, и тот вел ее с воинственным, несколько даже ожесточенным видом. Однако сквозь эту воинственность проступало какое-то глубинное успокоение. Он был похож на спортсмена-бегуна после успешного финиша. Она же узловатой рукой с набухшими венами придерживала край белого платья — да, того самого, когда-то пошитого Лилькиной мамой к свадьбе! И не только придерживала. Она — уж не померещилось ли мне? — играла волнистой оборкой из капроновой ленты, как маленькая девочка! Тощая бабка с жалким газончиком на голове, в накинутом на плечи стариковском пиджаке!

Поддавившись усмешкой, я повернулась к подруге.

Не знаю, что ей вспомнилось, что подумалось в ту минуту.

От глаз ее тянулись вниз две блестящие дорожки. И по ним беззвучно и безостановочно, одна за другой, скатывались слезы. Водостойкая тушь — Лилька всегда пользовалась качественной косметикой — не размазалась, и она плакала, как плачут героини мыльных сериалов: с неподвижным лицом и ярко сияющими глазами в ореоле безупречных ресниц. Яростно и беспомощно она смотрела прямо в лицо старухе, словно злой колдунье, укравшей ее молодое счастье.

Но та не замечала ее, заглядевшись на своего побитого молью избранника.

Наталья КУЗНИЦЫНА

«ТЕМНАЯ СТИХЛА РЕКА...»

* * *

Вот и все. Отгорела рябина,
На прощанье лишь кинула гроздь.
Бабу Тасю три внука, три сына
Хоронили. Промерзли насквозь.

Той же бабки первач замахнули,
Посолили покрепче ломоть,
По последней еще помянули —
Да и в город! Ты сам уж, Господь,

Принимай бабыгасину душу,
Как родную ее приюти,
Здесь-то дом у ней нынче разрушен,
Да и сад опустевший притих.

* * *

Облака попережку с бельем
На веревках качаются гулко.
И в промерзший насквозь оком
Из садов да со всех переулков

Беспощадно листвою метет,
Сокрушая земные устои.
Но и это, и это — пройдет,
Даже смерть — огорченье пустое.

И текут то дожди, то века,
То ветра неутешные воют,
То летят за снегами — снега...
Неизменно здесь что-то иное.

* * *

А на том берегу чудо-город стоит,
Тишиною зовет, куполами горит.
Только нет до него ни дорог, ни мостов,
Разве — плыть да среди золотых облаков.
А паром не то сломан, не то на мели,
И ни ветра вокруг, и ни тучки вдали...
Только воды текут вдоль веков-берегов
Да идут рыбаки по небесный улов.

* * *

Темная стихла река,
Смотрит в промерзшую даль.
Как бесконечны снега
И безысходна печаль.

Вся — на звнящем ветру —
Эта земля до небес.
Здесь затеряться в снегу
Проще, чем выбраться в лес.

Пара дворов на юру,
Старого кладбища тишь
Тоже вот смотрят во мглу,
Будто чего разглядишь...

Сколько же надо снегов,
Чтоб ожиданье унять?
Здесь — до скончанья веков —
Нечего, незачем ждать.

* * *

В синем саду среди синих аллей
Синие птицы летят все быстреей.
Синие птицы ночного дождя
Ветви и листья всю ночь теребят.

В синие сумерки — синюю смерть —
Птицам подстреленным страшно лететь,
Ветер их бьет. Но часа через два
Станет туманом ночная вода,
Небо начнет розоветь.



Предзимье

Ни ветра, ни дальнего звука,
Тоска да унынье окрест.
Пустой, обреченный на муку
Безмолвия, тянется лес.

И в скованных инеем травах
Все тот же вселенский разлад.
У жизни — ни места, ни права,
Везде только смерть да распад.

И даже надежды на чудо
Не будет, не будет. Не жди.
Река затихает, повсюду
Встают ее прочные льды.

Вот-вот и в сквозном перелеске
Последний пожар догорит...
И тут-то откроется вид
На вечность, что снегом, отвесно,
На землю летит и летит.

* * *

И вдруг — прояснилось. И стало
Свежо и просторно окрест.
И травы — до неба достали,
И радостно выбежал лес

К звенящему теплому полю,
К упрямой и светлой реке.
Не это ли русская доля —
Прозреть, как тот лес вдалеке,

И выйти к надежде и свету
Сквозь все проливные дожди...
Стоять у реки до рассвета
И чувствовать ветер в груди.

Виктор РОЖКОВ

НАСЛЕДНИКИ КИПРИАНА

П о в е с т ь *

Глава 14

Примерно через неделю после невиданной в этих местах большой гили, буквально потрясшей всю Мангазею, когда установилось некое зыбкое, ненадежное, но все же спокойствие, в одну из ночей новое событие подняло на ноги почти весь город. Дело в том, что здесь, у главных причалов, вернее у бревенчатой дороги, ведущей в крепость, второй месяц подряд стояло надежно укрепленное и находившееся под строгим присмотром стрельцов, неожиданное для этих мест судно явно иноземной постройки.

На первый взгляд оно казалось легким и стройным, с двумя высоко приподнятыми площадками на носу и корме, где меж бойниц красовались две медные, будто игрушечные, пушчонки с ядрами к ним в литых чугунных обоймах. Вдоль бортов, вместо навешанных рядами по обычаю того времени ручных щитов, темнели узкие, отлитые из железа съемные бойницы для гребцов, заметно утяжеляющие, как и мачта с парусом, укутанным и укрепленным до времени в кожаном чехле над самой водой, это чудное создание заморских умельцев.

Еще ранней весной, когда в Мангазею пробирался первый караван кочей с годовым запасом продовольственных и зеленых товаров, на ертаульных** казаков, всегда шедших впереди каравана, напали некие чужеземцы, таившиеся до этого в каменных нагромождениях ближайшего мыса.

В начале схватки ярость чужеземцев, их воинское умение, пестрота одежд и невиданные доселе суда заставили потесниться казаков, но они быстро огляделись и, с ходу переняв манеру чужаков, так ударили по ним, что потопили вскорости три чужеземных судна. Четвертое, порубив в запале уже не сопротивляющуюся команду, вытащили полузатопленным на берег.

Старшина ертаульных, седоусый казак, побывавший не только во многих прибрежных сражениях, но и в дальних иноземных походах и довольно знающий чужеземную речь, осмотрев трофейное суденышко, со знанием дела определил:

* Окончание. Начало см. «Сибирские огни», 2017, № 7, 8, 9, 10.

** От *ертаул* — передовой разведывательный отряд, шедший впереди основного формирования.

— Сие ганзейских купцов суденьшко, именуемое «когг».

Далее казак споро разобрал и перевел слова, выгравированные на медной пластине, накрепко приделанной к мачтовому гнезду. На пластине этой значилось: «Сей походный когг, именован “Фрида-Августа”, имеет хозяином негоцианта Отто Пильца, коему в благорасположении Господнем отказано да не будет...»

— Вона как, — усмехнулся казак, и в словах его явно прозвучала обида. — По нашей тундре да по водиче снуют, по-воровски шарятся, да еще им благорасположение Господне подавай...

Ертаульные тем временем распечатали щиты заборницы* и стали вытаскивать на палубу по всем правилам сложенные и зашитые в промасленную мешковину кипы собольих шкурок.

— Товарец-то первосортный — редкого окрасу. За такой наши торговые гости враз бы бороды друг у друга повыдергали.

— А ну, сникните, делом наискорейше займитесь, вона кочи наши на подходе! — прикрикнул на ертаульных седоусый казак, склоняясь над очередной кипой с пушшиной.

Торжественно встречающий в городе первый весенний караван кочей воевода Домашин сразу же оценил приведенное новое иноземное судно. Казаков похвалил всенародно и пожаловал бочонком доброго вина и тут же объявил, нисколько не смущаясь, что сей кораблик крайне надобен ему для больших государственных дел и походов и что он берет его под свою руку.

Казаки, с трудом скрывая обиду и недовольство, промолчали, и судно, выгашенное на берег, поступило в полное владение воеводы. Стрельцы, которым была доверена караульная служба у корабля, несли ее добротнo, хоть между собой часто смеялись, мол, кому мы нужны здесь вместе с этим заморским суденьшком, чай, так и сгинет оно тут, на песке, ветром да волнами источенное.

И вот был прохладный вечер, в меру погожий, когда дым берегового костра лениво клубился над самой водой, обволакивая кораблик с носа до кормы, и казалось, что вот-вот он подхватит его, понесет с собой уже с чужими и неведомыми людьми... И вдруг эти люди и взаправду появились — молча, без окрика там или присвиста какого разбойного накинулись на полусонных стрельцов, вмиг похватили их, связали, заткнули тряпичными кляпами рты, утащили подальше в кусты.

Сколько времени прошло — никто не считал, не прикидывал, пока служивые люди и народ остальной мангазейский, сбжавшись на шум, разбирались, что здесь произошло. Но вот забрезжил рассвет, а там и вовсе развиднелось, и тогда стоящий у самой воды казак выкрикнул неожиданно и тревожно:

— Гляди-кось, вот оно где его, голубца, тащили, — указывая на четкий, глубокий след, оставленный, по-видимому, килевым брусом иноземного суденьшка.

Первым к этому казаку подбежал воевода Домашин, накинулся на него, размахивая руками, со злобной руганью, но казак лишь усмехнулся:

* Заборница — трюм.

— Што жилы рвешь, воевода, проспали, видать, твои охранители-глядельщики, когда ины умельцы суденышко заморско тащили тут...

Воевода вновь было набросился на казака, но тут из-за кустов показались стрельцы, обнаружившие и теперь тащившие к воде крепко связанных караульщиков пропавшего судна.

— Ну вот, а ты, воевода, еще шумел на меня! — выкрикнул казак и, сдвинув на затылок шапку, пошел вдоль берега.

Служилые люди — стрелецкие и казачьи начальники — тоже никак не могли успокоиться. Каждый предлагал свое, как поскорее изловить ночных злодеев, пока воевода не крикнул громко и властно:

— А ну, утишь сутырь*! Перво слово сейчас едино: кто и куды кораблик насмелился угнать? Жду от вас мыслей дельных.

— Погоню немедля — водой и по берегу! — вступил в разговор стоящий рядом с воеводой московский пятидесятник Клим Егоров.

— Молодца! — похвалил его воевода. — Вот ты и снаряжай дельце сие: бери под начало стрельцов десятка два, струг получше — и с богом. Аль у нас на лиходельцев и управа истоцилась?

Как от камня, брошенного в спокойную воду, долго расходятся круги по воде, так и суматоха, порожденная недавней гилью в Мангазее, хоть и затихая постепенно, все же долго была главной темой и случайных, и обстоятельных разговоров. Вечером того дня, когда так ловко был угнан иноземный кораблик воеводы, с соблюдением всех возможных мер предосторожности и под надежной охраной из гилевщиков в потайном прирубке кузнеца Милентия собралось несколько человек. Был здесь архиерейский посланец Анисим Кручина, а также отец Мефодий, отец Дионисий и Игнатий Воротынской. Изредка появлялся хмурый, озабоченный хозяин дома и, окинув взглядом сидящих за столом собеседников, тут же исчезал, словно желая показать, что он смотрит за всем и они могут спокойно, ни о чем не беспокоясь, заниматься своими делами. И все же умиротворения не слышалось в словах собравшихся, особенно тревожился отец Мефодий. Конечно, он старался держать себя в руках, но нет-нет да в речи его возникала несвойственная ему ранее нервозность.

— Пойми, Анисим Евсеевич, — толковал он Кручине, — и вы все поймите, сколь трудно, прямо невместно мне вот тут с вами речи вести. Душой, совестью понимаю — правы вы: нельзя более допускать безобразия такого и воеводского бесчестья в Мангазее, но, с другой стороны, пастырь я церкви нашей православной, а значит, должен государеву делу главной опорой быть, а я — с вами. Вы, конечно, не осудите, но как ни крути, а с бунташным людом я. Это как рассудить?

— И меня к гилевщикам относишь? — невесело усмехнулся Кручина.

— Да нет же, господи, не так молвил, — зашепшил, краснея, Мефодий. — Но, с другой стороны...

— А с другой стороны, — перебил его Кручина, — у меня еще други важные дела есть. Грамоты я нонешнему воеводе вручил. Второму во-

* Сутырь — ссора, бессмысленный спор, склока.

еводе, што вот-вот нагрянет, вручить готов. А мне с молодцами моими да с оленьим обозом далее спешить надобно, к тем местам, где Мангазейскому холодному морю ино холодное море волной хлопочет. Тама я должен с некими паломниками нашими встречу учинить, как мне поведал в Тобольске владыко Киприан.

— Дозволь полюбопытствовать, — спросил Дионисий, — ежели не секрет сие, докуль же путь предназначен паломников тех?

— Ох, друже! — сурово свел и без того нахмуренные брови Кручина. — Каки в краях тех предназначения быть могут — это так, к слову говорено было. Край-то крест-накрест льдами опоясанный, мгла там, снегов вечных засилье, льдов царствие да морозов нетерпимых. Ну, а ежели по-простому назвать, как поморы, издавна там бывавшие, звали, то есть сие Берег забытых ветров, а бывал кто далее его, то, брат, неизвестно, одно слово — Югра немилостивая...

Чуткая, настороженная, будто нарочно спрессованная неким волшебством тишина властвовала в предрассветных сумерках над островной обителью. Издревле так творилось здесь, да и кто посмел бы нарушить природный порядок в тысячеверстной бескрайности, в самом центре колдовского зеленчатого края, как называли его редкие обитатели ближайших мест?

Как мы уже говорили, бывали они здесь только в случае крайней необходимости, стараясь поскорее уйти отсюда, а в разговоре не упоминать об этом, чтобы не навлечь на себя вечных проклятий.

Утру, о котором идет речь, выпала роль стать надолго памятным, так как именно в это время раздалось здесь несколько гулких выстрелов, сразу взорвавших незыблемую до того тишину.

На тропинке, ведущей к ближним причалам, показалась запыхавшаяся, крайне взволнованная Аглая. Видя уже суетящихся вокруг людей, она еще издали крикнула, едва не срывая голос:

— Матушке Марфе, матушке Марфе скажите... Люди, чужие люди... и кораблик чужой сюда идет — подымайте всех!..

Через несколько минут она уже стояла возле Марфы и, отдышавшись, более обстоятельно излагала ей суть случившегося переполоха.

— Мы с иноками — Козьмой да Игнатом — обходили берег, как всегда пораньше, вокруг тихо, спокойно, на воде туман вязкой — полосами, и вдруг из тумана того он и выплывает...

Марфа удивленно глянула на Аглаю:

— Яснее реки, кто «он»?

— Да кораблик некий иноземный крадется, яко тать в нощи... А людей за бортами не видать... Мы за ним по кустам зашпешили, а с кораблика и пальнули по нам... для проверки какой аль от испуга.

— А вы што?

— А мы — в ответ им, дескать, тута не больно-то гостям незванным рады...

— Ах, Аглая, Аглая, ты же послушница есть, а не какой-нибудь парень-гулеван с посада, да и дело, кое я доверила тебе — присмотр оружейный за обителью, считай, воинской строгости требует...



— Я, матушка Марфа, от дела своого ни на шаг не отступила и не отступлю. Дозволь, я вернусь на берег, где сейчас Козьма с Игнатом за иноземщиной незваной присматривают.

— С богом! — махнула рукой Марфа. — Мы тута тож ко встрече изготавимся, а ты, што новое изведаеть, нас извести тут же!

Обратно к берегу Аглая бежала намного быстрее, чем только что к обители, и беспокойство ее росло с каждым шагом. «Как они там, што, — думала она о своих подручных. — Притихли штой-то... уж лучше шум бы какой да крик... скорей, скорей, вот незадача-то, прости господи!»

Вот последние кусты, плотно прикрывающие берег, вот тускло блеснула полоса воды и тяжкий волнистый туман над ней, а вот и углом вздыбившийся каменистый мыс, за которым...

— О господи! — неожиданно для себя воскликнула Аглая.

Иноземный кораблик стоял у берега! А на песке, рядом, свои — столь близкие ей люди: отец Дионисий, Викентий и Савва. Аглая тут же бросилась к ним и, то смеясь, то плача, принялась обнимать, целовать каждого, взволнованно выкрикивая что-то невразумительное, а они, как бы в лад с ней, тоже смеялись, размахивая руками.

— Будя, будя, — первым опомнился Дионисий, уже степенно проводя рукою по усам и бороде. — Ты, Аглая, ноне не просто послушница, а смотритель — охранитель порядков в обители, тако место у столь строгой игуменьи, как Марфа, заслужить нужно было...

Все вновь рассмеялись, а Викентий, хитровато морщась, сказал как бы невзначай:

— Тебе, Аглаюшка, парнем бы родиться нужно было: и ловка, и быстра, и воинским обычаем с детских лет обучена, а што касаемо стрельбы — тут уж што молвить...

Самый молчаливый в этой компании, Савва тоже сказал к месту свое слово:

— Была б нам всем ноне беда, не разгляди мы первыми в тумане Аглаю на берегу да не пригнись. Она, старательница, с двух выстрелов так по бойницам шибанула, што у меня едва душа в пятки не ушла.

— Прощеньца просим! — густо покраснев, пролепетала Аглая. — Я думала, иноземны разбойники на кораблике таком...

— Правильно думала, вот и весь сказ! — уже строго произнес Дионисий, почему-то с особым пристрастием оглядываясь вокруг. Он огляделся еще раз, и другой и, задержав взгляд на стоявшем чуть в стороне Савве, спросил: — Думаю, все окрест тихо, спокойно. Считаешь, можно Акинфия окликнуть?

— Да, отче, считаю! — ответил тот.

— Ну, тогда шумни чуть, как говорится, к делу.

Савва вложил два пальца в рот и залился таким отчаянным переливчатым свистом, которому мог бы позавидовать сам сказочный Соловей-разбойник. Тут же заколебалась, как от порыва ветра, неподвижная до этого густая стена камыша и на чистую воду выскользнул совсем небольшой челн. На веслах сидел и греб Акинфий, а на корме расположились не старый еще, видный лицом и фигурой монах-схимник,

с ним маленький, закутанный в плотную накидку белокурый парнишка и, к полному удивлению Аглаи, самая отчаянная посадская гулеванка — Ульяна.

Увидев ее, Аглая потемнела лицом и растерянно осведомилась у Дионисия:

— Это што ж такое творится, эдакая особа — и в обители появиться насмелилась, как сие понимать?

— А ну, остынь, Аглая! — сердито прикрикнул Дионисий. — Сути дела не зная, не спеши в осужденья пускаться!

Меж тем Акинфий причалил струг, помог выйти на берег Ульяне, схимнику и белокурому пареньку, и тут, как по заказу, из-за кустов показалась Марфа. Для Марфы, с ее взглядами и понятиями, Ульяна была из разряда людей крайне ей чуждых. Конечно же, в эти минуты никто из стоящих на берегу не понимал так состояние Марфы, как Дионисий. Недаром он тут же решительно подошел к игуменье и столь же решительно заявил:

— В данном разе молодица сия сама долгожданна для нас: имеет она передать тебе весть наиважнейшу и наказ дорожный из Соловецкой обители для паломников наших...

Слова Дионисия настолько удивили Марфу, что она, при всей ее выдержке и умении вести самые сложные разговоры с людьми, не то что опешила, но, во всяком случае, насторожилась крайне и как-то неуверенно приблизилась к Ульяне. Та, несмотря на сложность положения, и сейчас осталась сама собой: с обычной для нее беззаботной улыбкой, негромко, но с подчеркнутым значением произнесла предназначенные Марфе условные слова и тройной привет от соловецкого старца Кондратия. Затем, повернувшись, подозвала к себе белокурого паренька, насупленного почему-то и подчеркнута хмурого.

— Вот, матушка Марфа, велено мне знакомство учинить тебе с сим отроком, а будет он княжич новгородской — внук воеводы наизнаменитого, князя Аникея Пивашина — именем Меgefий. — Она теперь уже строго и торжественно приказала Меgefию: — А ну, представься, како положено в случаях таких. Попроси благословения и добра для себя, для спутников твоих, а самое главное, для дела великого, доверенного тебе старцами обители Соловецкой.

Меgefий, по-прежнему укутанный в тяжкую суконную накидку, тут же сбросил ее и предстал перед присутствующими в щегольском кафтане из серебристой рельефной парчи с лилово-золотистыми разводами, в зеленых сафьяновых сапожках с кистями. На боку у Меgefия висела цветной кожи сумка, вся в серебряных заклепках и кольцах, откуда он достал небольшой кипарисовый крест, окантованный по граням узорами из мелких, тускло поблескивающих жемчужин. Меgefий опустил ся на колени и, держа крест в обеих руках, протянул его Марфе.

— Се знак дорожный Господен из пределов византийских, пребывающий долгое время в обители Соловецкой. Велено тебе, мати Марфа, вручить его паломникам, кои от обители твоей понесут его уже в пределы югорски, прославляя умением своим мореходским, мужеством достойным и делами добрыми веру нашу святую православную и подвижников ее!

Марфа, волнуясь, приняла крест, подняла с колен Меgefия, крепко обняла и расцеловала его и, уже радостно возбужденная, обратилась к окружающим ее людям:

— День сегодня будний, а душа поет, яко в праздник великий!.. Спасибо вам, што вы радость столь дорогую в нашу обитель доставили. Кланяюсь и прошу всех за мной проследовать. Откушаем чем бог послал и совет со всеми братьями и сестрами держать будем: яко нам жить далее, а главное, поскорее паломников в путь снарядить...

— Постараясь... — кратко ответил за всех Дионисий.

Хоть и приучились, давно привыкли паломники к сборам быстрым да без суеты излишней, а тут им пришлось, что называется, туго. Буквально вслед за их прибытием в островную обитель из Мангазеи двое слуг с двумя посланцами-гилевщиками от Игнатия прибыли.

Вести были крайне тревожными. Игнатий сообщал, что в Мангазее появились ертаульные казаки следующего в город второго воеводы князя Федора Уварова, ведут себя нагло, смеются едва ли не в глаза первому воеводе Домашину: дескать, ты ноне будешь здесь лишним, так как истинный воевода через пару недель будет в городе порядки новы свои наводить... Чует Игнатий: новая, еще большая смута в городе заварится, и кому будет здесь прибыток, кому убыток, одному богу известно.

Познакомив с письмом Игнатия Марфу, Дионисий удрученно произнес:

— Вот оно, матушка, како выходит: мы, грешные, все боле о делах своих да о прибытках-убытках заботу имели, а о главном в бытии нашем, для чего в края мангазейские прибыли, — выходит, забыли. Забыли о словах благословенного владыки Киприана, о первом наказе его: елико возможно торить тропу паломническую и на море, и на суше, правду веры нашей православной нести в края незнаемые народов диких, ни головы, ни живота свою не жалея для дел этаких.

— Кланяюсь тебе, отче, за слова сии, — взволнованно ответила Марфа. — А дале вот што: единого человека — отца Арефия только и не тревожить, не отрывать от дел его, все остальные — в помощь тебе! Вскорости молебен дорожный отслужим и проводим как требуется паломников наших.

Марфа внимательно посмотрела на Дионисия и, видя, что он еще что-то хочет сказать, протянула к нему руку.

— Ладно все это у тебя выходит, мати Марфа, — то ли осуждающе, то ли хваля, сказал Дионисий. — Про кораблик-то, про когг иностранный молчишь, а я, грешным делом, подумал, што ты поругаешь нас, мол, опять грех сотворили...

— Грех греху разница, — резонно, даже спокойно как-то ответила Марфа. — Чем коггу тому забавой для воеводы служить, лучше вы пойдете на нем в моря хладны для дел достойных, тако будет?

— Тако, тако, — заторопился Дионисий. — А ну, братья и сестры, за работу, с богом, други, с богом!

Будто некий дух согласия сошел на Марфу, чему немало дивились ближние к ней люди. Обычно несговорчивая, не принимающая замечаний и советов, сейчас она внимательно выслушивала все, что говорилось ей,



и даже не стала возражать, когда, перечисляя тех, кто пойдет на когге, Дионисий, замешкавшись на секунду, назвал Аглаю.

— Ей пару таких же, как она, пищальников — иноков Козьму и Игнатия — хотя бы до устья Таза взять надобно. Ежели с боем нам прорываться выйдет — сия троица наидобрейшей защитой будет. Огненного боя искусники знатны, иначе не скажешь...

Видимо, уже окончательно смирившись со всем происходящим и понимая, что это необходимо, Марфа прикрыла глаза рукой, но было заметно, что губы ее в эту минуту шепчут что-то взволнованно. В таком положении она оставалась минуту-другую, до тех пор пока не справилась с волнением.

— На щеглу-то не забудьте крест православный укрепить — пусть щегла крестовой будет. Штобы все встречные на реке и на море знали, што идет кораблик лишь видом заморской, а следуют на нем новы хозяева — православны паломники.

— Спасибо за совет, матушка, — поклонился Дионисий. — Сие сотворим в первую очередь.

По прибытии в островную обитель Ульяна и Меgefий как-то быстро здесь освоились, осмотрелись и беседы, если приходилось, вели просто-запросто, будто знали хорошо всех этих людей, их привычки, взгляды и особый жизненный настрой, утвердившийся в обители. Один Елизарий держался отчужденно, сторонился собеседников и только на третий день, как раз во время разговора Марфы и Дионисия, о котором мы рассказывали выше, подошел к ним, поклонился особым монастырским обычаем, глуховато, будто придерживая слова, произнес:

— Не судите меня, мати Марфа и отче Дионисий, за доглядки мои пристальны, што я учинил вам. То воля не моя, а отцов Кондратия и Егория веление. Вижу, семена их на добру почву упадут, дело святое, начатое ими, сотворено будет. Вам неведомо, што в те дни, покуль мы, ожидая встречи с вами, в Мангазее проживали, у меня в гостях много разного народа перебивало. Шли яко к схимнику — иноку обители Соловецкой, взыскупа чести и правды, шли и бездельники городски — нелепостей болтатели. Шли и поистине страшны люди, доглядчики судов монастырских, — считай, почти все им ведомо о каждом православном. Уже выпытали откуль-то нелюди эти, што готовите вы кочи в югорску сторону и намерились туды же везти отрока Меgefия. Еще и смеялись при этом: мол, царя нового югорска возвести на трон вознамерились...

— Спаси, Господи, люди твоя! — едва что не в голос выкрикнула Марфа. — Како же оборониться от зла подступающа?!

— Едина оборона тут, — ответил Елизарий. — Бери, отче Дионисий, под опеку наикрепчайшу отрока Меgefия, отныне главно дело — доставить его целым и невредимым к мысу Дровяному, где ждуть-встретят вас достойны люди — укажут и помогут во всем, как вам дальше быть в дороге предстоящей, нетореной. Не знаю, греховны аль справедливы мои мысли здесь, но думается иногда, што все дело это с Меgefием может большой, истинной правдой обернуться: а вдруг, и верно, появится на землице нашей православной добрый царь Меgefий, и мы к сему свое малое приложим старание...

Дионисий изумленно посмотрел на Елизария, покачал головой:

— Ну, друже, сколь высоко взлетел ты в мыслях своих: мне тако мыслить и близко в голову бы не пришло.

— Малье мы люди для деяний таких, тем паче находясь в облике монашеском.

— А сие здесь ни при чем, главное в вере нашей святой православной — крепким быть, а мыслить человеку — монах он аль не монах — не возбраняется...

Марфа, молчавшая все время, пока шел этот разговор, недовольно покосилась на монахов:

— Ну, я пойду, пожалуй, а вы, философы, тута без меня истины взыскуйте.

И она направилась вверх по тропинке, а Елизарий, посмотрев ей вслед, сказал:

— Вовремя ушла мать Марфа, ибо мне еще, отче Дионисий, кой-чего только для твоих ушей сказать надобно. Есть у меня во граде Мангазейском люди добры, верны и не раз со мной рядом в перипетиях житейских побывавшие. Так вот, они поведали, што за нами след, начиная от обители Соловецкой, остался, ну, весь путь в Мангазею под присмотром, да куда как умелым, мы были... Никак не хочет старец Симеон из рук своих отрока Меgefия отпущать, а руки у старца сего куды как длинны, не иначе как в первы царедворцы царя будущего молодого метит. И в пути до мыса Дровяного, и далее к берегам югорским смотреть да смотреть надобно, всем паломникам особливо наказать, ну и Меgefию как-то попроще, помягче, што ли, объяснить...

— Да я пробовал с Меgefием сим толкования различны вести, — сказал Дионисий. — Отрок трудный, ершистый... Видать, содельники отца Симеона в обители Соловецкой изрядно голову забили мусором разным отроку сему: успел он и чванством, и понятиями ложными наполниться. С другой стороны, добрых кровей он и основа жизненна в нем крепка. Должен выправиться.

— На мудрость твою полагаюсь, отче, — сказал Елизарий.

— До мудрости нам далеко, тут хоть бы путь добрый наладить... Раз тако дело выходит, пойду еще раз с Меgefием словом-другим перекинуть.

— Вот и ладно, — заключил Елизарий.

Он долго бродил по острову и даже задремал на некоторое время у воды, устроившись в распадке между двух каменных плит. Осенний, все еще напоенный летним теплом ветер приятно оведал лицо, наполняя душу резким, почти забытым за последнее время покоем, и казалось, что и далее этот покой воцарится в его жизни, отлетят тревоги и все пойдет ладно, беззаботно, возможно, совсем тихо...

Елизарий, совсем разнежившись, лениво потянулся, открыл глаза и похолодел от страха. Здоровенный детина, неуклюжий видом и движениями, в замусоленном рваном кафтане, склонился над ним, поигрывая перед его глазами хорошо отточенным, чуть изогнутым обоюдоострым ножом. Елизарий готов был поручиться, что никогда не встречал его и вообще видит впервые, но детина, улыбаясь паскудно, промолвил:

— Здрав буди, Елизарушка, — и тут же приставил нож к его горлу. — Един миг тебе на словеса отпускаю, молви кратко, быстро: куды намерились царевича Меgefия везти и кто за главного у вас будет? Правду изречешь — тут же отпускаю. Небылицы начнешь плести — с белым светом прощайся...

Более всего в речи этой Елизария удивили слова «царевич Меgefий».

— Како же это, кто Меgefия в царевичи записал? — спросил он, бесстрашно глядя в глаза детине.

Тот, не меняя своей паскудной улыбки, легко ткнул ножом в шею Елизария. Этого последнему было достаточно. Отроческие годы ли вдруг напомнили о себе или почти забытая молодость, как шальная волна, хлестнула пенной верхушкой, однако он, когда-то первый среди первых кулачных бойцов на соловецком рыбацком побережье, вдруг почувствовал такой прилив сил и так, развернувшись, резанул с плеча детину, что тот перевернулся через голову и плашмя растянулся на песке.

Лежал он долго и неподвижно. Наконец Елизарий ткнул его в бок носком сапога, спросил:

— Жив аль нет, крещена душа?

Здоровяк зашевелился, перекатился набок и сел у камней, медленно приходя в себя и усиленно моргая. Несмотря на свое полубморочное состояние, он разобрал только что сказанные Елизарием слова и так ото-звался на них:

— Вот уж верно, што душа крещена, но только во второй раз: впервой в купели меня окрестили, во второй раз отче Елизарий постарался — приложился так, што я чуть на тот свет не сподобился попасть.

— А ты не греши, не пугай попусту людей православных! — сердито бросил ему Елизарий. — Пойдем-ка на беседашку душевну к матушке Марфе.

— Это как — душевну? — испуганно переспросил детина. — Игуменья ваша, известно, строга шибко есть, уж сделай милость — я тебе истинно все поведаю, без игуменьи сей!

— Иди, иди, ишь пуглив сколь есть, а когда за нож держался — иным был?

— Иду, иду, — сразу сник детина и, поминутно оглядываясь на идущего вслед Елизария, быстро зашагал по тропе к постройкам островной обители.

Даже Елизарий, постоянно находившийся в гуще главных монастырских дел, был поражен тем, что поведал им на допросе пойманный им детина именем Кузьма, являющийся на самом деле не мангазейским бродягой, а особо доверенным монахом-соглядатаем старца Симеона. Оказывается, тайна исчезновения Елизария была быстро раскрыта и по его с Меgefием пути были пущены, как тогда говорили, «люди с тройным оком» под началом Кузьмы.

Тому Кузьме старцем Симеоном было сказано следующее: «Должен ты отныне знать не только каждый шаг, но и каждый вздох Елизария и отрока Меgefия, пригляд за ними должен быть и в день ясной, и в ночь темну, всегда и везде, каждый миг единой. Огнем ли, ножом ли Елиза-



рия наизнанку выверни. С кем и чего намерился творить дале, визнаешь, и боле он мне ни для каких дел не нужен. А вот Меgefия-отрока ты мне ухвати, выкради, вымоли, отбей как хошь, любым манером — за то наипервейшим слугой у меня будешь, ни в чем не обижен и всегда на первом месте; дело свое твори смело, грех за него на себя беру. Отмолю ужо деяниями благостными...»

Когда был окончен допрос Кузьмы, он, видя по лицам стоявших вокруг Елизария, Дионисия и Марфы, что ему не ждать от них пощады, повинно упал на колени, заскулил, захлюпал, как малое дитя, носом, замолился, громко выкрикивая слова молитвы. Марфа резко отвернулась, вслед за ней отвернулся Дионисий, и лишь Елизарий остался непреклонным: глаза его, будто инеем подернутые, смотрели непривычно холодно.

— Пойдем, — только и сказал он Кузьме, — не я казню, грех довел тебя до кончины такой...

Марфа с Дионисием уже вышли на поляну, когда позади раздался крик — страшный от отчаянья и безысходности. Эхо его еще долго блуждало в кустах, пока его не приглушили лежащие вокруг болотные топи...

На берегу Таза на окраине Мангазеи как-то вечером у сторожевого костра собрался народ бывалый и солидный. Между новичков, впервые попавших в Мангазею, заметно выделялись годовальщики — стрельцы и казаки, что были здесь по второму, а то и по третьему разу. Те знали и повидали такое, о чем на Руси Расскажи вот эдак к случаю, так мало кто и поверит.

Когда посудачили о городских событиях — мелкоте разной, годовальщик-первогодок из казаков — рыжий, вихрастый и, видать, неумеспорщик, — сдернув франтоватую шапку, поклонился старым казакам, чтоб те растолковали бы главный говор, идущий ноне в Мангазее — о кораблике, что то ли угнан был, а то ли пропал чудом, неведомо как.

Вопрос этот вызвал всеобщий интерес. Кто рассмеялся, кто хмыкнул, а нашлись и такие, что отвернулись, поплевали трижды через левое плечо да, хмурясь, поплотней надвинули шапки на головы. Тут же послышалось со всех сторон:

— Дело темное, нагадал, видно, насудачил кто-то такую невтемятицу...

— Да уж, судить-рядить тут голова гулом пойдет...

— Нечистый тута потрудился, вот и весь сказ.

— Истинно так. И в верхах реки до зеленых камней, и на низовье искали дотошно казачки — нету ни следочка, ни щепочки, сгинул иноземный кораблик, людей честных да и воеводу нашего, грешника, подразнив достаточно!

Все рассмеялись, но как-то нехотя, невесело, а молчавший все это время самый старей из казаков ворчливо заметил:

— Невместно к ночи да таки разговоры. Мы тут тож со старыми казаками об этом судачили и решили, что и впрямь здесь было колдовство — дьявольско наущение и кораблика-то никакого на самом деле не было, а струт незнаемо чей за кораблик принимали.

Говор вновь, как волна, прошел меж сидящих у костра мангазейцев, и на некоторое время воцарилась тишина. Лишь, шурша в каменистых россыпях, поплескивала вода, изредка доносились сонные всхлипы, стонущие дальние протяжные вздохи, а то и вовсе ни на что не похожие звуки, которыми всегда полон дальний, дремлющий в забвении лес.

И — надо же было случиться такому! Именно в эти минуты, да еще после столь необычного, по-своему пугающего разговора, произошло событие, о котором долго судачили и не забывали не только в Мангазее, но и далеко окрест ее. Из-за ближайшего поворота реки, где у правого крутого берега уже скапливались и начинали расплзаться плотные, туго перевитые полосы тумана, показался тот самый иноземный кораблик.

Люди будто потеряли на какое-то время дар речи, некоторые испуганно крестились, другие хватались за оружие, кто-то выкрикнул, срывая голос:

— К воеводе, к воеводе посылного, быстро!

Но вся эта суета, вспыхнув, тут же стихла сама собой, потому что, выйдя полностью на какое-то время из тумана, кораблик явился перед стоящими на берегу в своем новом, еще более пугающем облики. На палубе не было ни одного человека, не было никого и у рулевых весел, хотя бортовые весла вздымались и мерно опускались в воду и судно ходко шло вниз по течению.

Годовальщик-казак, тот самый, что недавно просил стариков растолковать ему подробно слухи о кораблике этом самом, вдруг вскочил на ноги, выхватил саблю и, размахивая ею, закричал, пересыпая свой крик яростной бранью:

— Стой, нечистая сила, стой, тебе говорят! Выходи на честный бой, без ухищрений своих дьяволовых!

Но на палубе проходящего корабля по-прежнему не было ни одного человека. Да и сам кораблик, пройдя мангазейские причалы, скрылся вскоре в тумане, вновь подступившем из-за поворота реки.

Теперь на пути к морю коггу с паломниками Дионисия должно было преодолеть еще одно, но весьма существенное препятствие — сторожевую засеку мангазейцев в устье Таза, сооруженную на левобережном ступенчатом мысу. На вершине его меж камней стояла довольно высокая бревенчатая сторожевая башня, откуда отлично просматривалась и тундра, и уходящая за горизонт безбрежная даль залива с россыпями гребенчатых песчаных мелей и каменистых многоверстных островов.

Когда до мыса оставалось не более двух-трех верст, Дионисий велел остановиться. Тут же развели молодымный костер из берегового сушняка и принялись варить кашу.

Дионисий, подозвав всех поближе, сказал, улыбаясь подчеркнуто благодушно:

— На пустой желудок, как еще в старину молвили, и бой не в бой — подкрепа нужна!

— Это так, отче, это к делу, — подхватил Акинфий, — но и о самом бое слово твое хотелось бы услышать.

— Э, брате, нет... Море вот оно, рядышком, а на море да на кораблике теперь хозяин и воинской человек наибольший — ты...

— Да невместно как-то, — оговорился, чуть краснея, Акинфий.

— Все, все, — прервал его Дионисий. — Выкладывай, како здесь мыслишь!

— Ну, раз так оно, вникайте... Народу сторожевого здесь, думаю, десяток-другой, не более. Не знаем мы, успели или нет сюда на оленьих упряжках из Мангазеи прибежать, но все равно идти надобно напролом, как в городе у причалов творили. За гребни сядем пониже обычного, на запасны доски; удивляться береговые начнут — думаю, прорвемся.

— А ежели реку цепью али сетями раза в три перекроют да в упор бить начнут, тогда как? — пытливо глядя в глаза Акинфию, спросил Дионисий.

— Тогда пусть за дело берется воительница наша. — Акинфий поклонился Аглае. — Без убойства, конечно, но пугнуть надобно понастоящему, остальным же сидеть не показываться, чтоб не ведали, сколько нас здесь есть.

— Тогда с богом! — сказал Дионисий. — Отобедаем и вперед!

Как только когг стал подходить к сторожевой башне, на площадке ее показалась одна голова в казачьей шапке, затем другая и тут же над бревенчатой оградой встали два казака с пищалями в руках.

— Эй, народ! — звонко выкрикнул один из них, побойчей, видно, да помоложе. — А ну, правь к берегу, кажи грамоту на выход из реки да другу грамоту на морской ход!

Он помедлил немного и, видя, что когг продолжает движение, а на палубе его по-прежнему нет ни одного человека, уже забеспокоясь, взял наизготовку пищаля.

— А ну, где вы там, што, оглохли или как — вот как стрелю сейчас!..

Он хотел было и взаправду ударить по коггу, но в неувовимо короткий момент, когда стал подносить приклад к плечу, с борта раздался выстрел и пуля, точно ударив в приклад, отбросила пищаля далеко в сторону. То же случилось и со вторым казаком, и оба они бросились к лестнице, торопясь подобрать выбитое из рук оружие.

С берега больше не стреляли и никто ни о чем больше не спрашивал, хотя за оградой башни из заостренных бревен мелькали головы суетившихся там людей. Внизу у причала не было ни сетей, ни цепей, и когг, благополучно миновав последнюю каменистую отмель устья, тут же принялся кланяться встречным окатистым волнам залива. Ветер был попутный. Под руководством Акинфия на обеих мачтах тут же подняли паруса, и вскоре устье Таза с его отмелями и островами, а потом и сторожевая башня растаяли в переливах дымчатой синевы у горизонта.

Когг мангазейских паломников шел легко, не останавливаясь. Погода была благоприятной, небо ясным, ветер попутным. Залив все ширился, берега показывались временами синевато-туманными полосами и тут же исчезали за горизонтом. Бескрайняя водная гладь на глазах меняла окраску, и уже не блекло-серые, а зеленовато-синие пенистые морские волны сердито поплескивали в борт судна.

На четвертые сутки, когда шли вдоль берега с цепью продолговатых приплюснутых холмов и ветер разогнал остатки ночного тумана, на отмели у самой воды показались две олени упряжки.

— Эй, охотник, ты у нас самой зоркой, это по твоей части! — окликнул Дионисий стоящего у кормовых весел Викентия. — Как считаешь, это воеводски люди за нами вдогон идут али гилевщики тундровы интересуются?

Викентий некоторое время присматривался к догоняющим их упряжкам, потом уверенно заявил:

— Сие не то и не другое. Это упряжка тобольского епархиального секретаря... Да и сам он там, вона шестом нам машет!

— Скажи пожалуйста, сколь зорок ты, и шест разглядел! — удивился Дионисий и велел: — А ну, к берегу правь, не ведаю, зачем мы епархиальному секретарю надобны, но нам-то он нужен...

И вновь был вечер, теперь уже у несуразно дыбившегося мыса, где устроили себе временный стан спутники Анисима Кручины. И через многие сотни лет этот мыс, названный Дровяным — из-за веками копившегося здесь леса-плавника, — все так же выполнял отведенную ему природой роль: как бы отделял воды бывшего Мангазейского моря от моря, названного впоследствии Карским. Здесь в огромном своенравном круговороте дальних и ближних течений вскипали, буйствовали и плавно разливались в переплетениях удивительнейших пенных узоров волны, несущие дыхание самых холодных морей земли.

Паломников Дионисия на мысе Дровяном принимали и угощали по-братски, и особенно старался в этом сам епархиальный секретарь Анисим Евсеевич Кручина. Не кичился должностью высокой! Он больше слушал, чем говорил, но успевал при этом и пошутить к месту, и посмеяться. И лишь после ужина, помедлив немного, сказал негромко, как бы невзначай, Дионисию:

— Давай-ко, отче, малость в сторону отойдем, пришло времечко кой-каким словом заветным перекинуться, а лучше того надобно бы нам до вершины мыса добраться.

— Пойдем, коль надобно, — согласился Дионисий.

На вершине, где поблескивали причудливыми изломами камни, был укреплен свежевытесанный массивный крест, а небольшая площадка перед ним была усыпана крупнозернистым морским песком. На кресте была надежно укреплена толстая дубовая доска, на которой аккуратной вязью значилось: «Здесь покоится знатный воевода, искатель земель новых и путей нехоженых, новгородский князь Аникей Нильч Пивашин, мир праху его и царствие небесное отныне и веки».

Кручина, обнажив голову, достойно, как это делают в храме на богослужении, повторил, почти выпевая, означенные на кресте слова, потом, повернувшись к стоявшим чуть поодаль паломникам, уже обычным голосом произнес:

— Склоним голову перед памятью сего истинно православного человека, коего жизнь и деяния самым добрым примером останутся в сердцах людских.



Как тени предзакатного солнца быстро сменяют друг друга, так и выражения лица Меgefия менялись одно за другим, когда он растерянно или скорее испуганно слушал то, что говорил о его любимом деде епархиальный секретарь Кручина. «Деда, деда!» — заунывно, с пронзительной болью выпевал будто кто-то в его сердце, и боль эта росла, ширилась, и казалось, конца ей не будет до конца его жизни. Меgefий вскрикнул, упал на колени и, захлебываясь слезами, обхватил подножье креста. Кручине стоило немалых усилий разжать его руки, но он все же сделал это и, поставив на ноги Меgefия, ласково, но твердо обнял его, прижал к себе.

— Гляди, отроче, и помни, что первым желанием твоего славного деда было видеть тебя воином честным и прямым в делах больших благородных и малых житейских. Старайся, чтобы имя и звание твое люди с улыбкой доброй произносили, тогда и глаз у тебя всегда будет зоркий, и удар против врагов крепкий, и пути большие в жизни пройдешь не спотыкаясь.

Что-то дрогнуло вдруг в голосе Кручины, и дальнейшие его слова зазвучали еще убедительней. Казалось, будто стояли сейчас паломники не на вершине Дровяного мыса, а у стен Тобольской крепости и сам владыко пресветлый Киприан, провожая их в путь, говорил:

— Благославляю вас, чада мои, на путь паломнической, страдной, со многими препонами и угрозами смерти неминуемой, преодолеть который вы должны неотступно и крест — символ веры православной поставить на грани земель, покуль неведомых человеку русскому...

Еще следуя в Мангазею, выполняя наказ Киприана, Кручина отправил на мыс Дровяной две олени упряжки с тобольскими казаками. Им было велено обустроиться по-походному на мысу том и вести строгое и неусыпное наблюдение за морем, особенно за восточным его побережьем, откуда по предварительной договоренности должны были прийти кочи воеводы Аникея Пивашина со товарищи.

Ждали их на мысу Дровяном долго и безрезультатно, а когда уже минули все сроки, в одно туманное утро волны вынесли на песок полуза-топленный струг с израненным, исхудавшим до невозможности человеком в обрывках почерневшей от копоти одежды. Казаки, приглядевшись, с трудом узнали в нем воеводу Пивашина, бросились к нему на помощь, но были тут же остановлены хлестким воеводским словцом. Он, с трудом разжав пальцы, отбросил весло и, едва шевеля губами, попросил ковш дорожной браги, которую пил судорожно, даже захлебываясь, а по обросшему пегой щетиной лицу щедро катились крупные слезы.

— На берег его надобно, на берег! — зашумели казаки. — Осмотреть толком, перевязать раны да в баньке попарить страдальца!

Но Пивашин, привалившись плечом к борту, выкрикнул не то просяще, не то отчаянно:

— Не трожь! — и тут же впал в забытье.

Бывалые казаки пытались по-своему привести его в чувство: трясли за плечи, раскурив трубку, дули дымом в ноздри, но он, бессмысленно вращая глазами, лишь мотал из стороны в сторону головой и безуспешно пытался что-то объяснить, рассказать. И оттого, что это не удавалось ему, вновь принимался плакать, совсем по-детски. Когда его все же пере-



несли на берег и устроили на песке, подложив под голову свернутый кафтан, воевода вдруг вздрогнул, схватился за грудь и впервые осмысленно посмотрел на обступивших его казаков.

— Братцы, говорить трудно, отхожу, видно, на суд Божий, — непрерывно покусывая губы, с трудом произнес он. — Владыке Киприану передайте... дале Берега забытых ветров не пропустили нас идолы служители... Полегли мои други-содруги на берегу этом, трижды проклятом, лишь мы с есаулом к ночи сумели кое-как отбиться, ушли на струге пораненные, благо ночь скоро прикрыла нас... Как могли дело воинско вершили... Пущай владыко не судит нас строго, ибо мы вере нашей православной и земле родимой до скончания свою верны были, а дале перед Господом Богом отвечать будем...

Неожиданно с берега ударило ветром, будто владыку вод здешних побеспокоили нестати и он в отместку стеганул кнутом по волнам, те тут же взъярились, и пошла обычная для этих мест кутерьма — предвестница скорых и безжалостных в своем бесновании ветров.

Кручина прервал рассказ, задумался, но тут же, вспомнив, для чего они пришли сюда, пылливо, оценивающе оглядел паломников.

— Тут у нас неподалеку, до времени в утайке, стоят два добрых коча, снаряженных в путь дальний на смену воителям воеводы Пивашина, царствие им небесное и вечный покой, — почти торжественно произнес вновь Кручина. — Люди мои, тобольски стрельцы, в дорогу готовы, но тут тако дело выходит...

— Тако выходит, — прервал его Дионисий, — что господин епархиальный секретарь по предварительному договору с владыкой Киприаном, зная о нашей давешней просьбе, разрешает нам отбыть к Берегу забытых ветров и там дело свое паломническо править и налаживать, како совесть и честь христианская требует.

— Ну а служители идольски и прочие, в безверье проживающие, на пути встанут, с ними как? — чуть улыбаясь, но испытующе спросил Кручина.

— Поглядим. Зря на рожон не полезем, но и в уступу зряшну не пойдем: кораблик у нас добрый, народ бывалый. Вам, господин епархиальный секретарь, молебен дорожный служить, тако я реку, братья? — обратился он к паломникам.

— Тако! Так! — будто сговорившись, в едином порыве воскликнули те и, перекрестившись и сняв шапки, по старинному обычаю покрутили их над головой и стали высоко подбрасывать в воздух.

Глава 15

Считай два месяца с лишним минуло с той поры, как, покинув воды Мангазейского моря, паломники во главе с Дионисием отправились далее на восток.

Погода ничем особым себя не проявляла, будто исподволь копила силы и буйствования бескрайние к осени, чтобы потешить спесь да вволю разгуляться потом, по-настоящему пройтись по своим владениям на страх

редким здесь людям: охотникам, пришлым бродягам да терпящим безмерные невзгоды мореходцам. Вот и выходило, что разобраться им, кому здесь трудней трудного, никак не получалось.

Слева на тысячи верст хляби водицы морской студеной и льды без конца и края. Справа тоже тысячеверстье, но сухопутное — просторов тундровых, окаймленных да изрезанных болотными топями, щедрыми россыпями рек, озер, многовековыми провалами-затонами ядовито-изумрудной травы, и так вплоть до застоявшегося в лилово-сизых туманах непроходимого таежного многолесья.

У Дионисия с Акинфием каждое утро вошло в привычку просыпаться раньше всех и, устроившись на носу когга или на камнях у берега, если останавливались на ночевку, разглядывая открывающуюся перед ними местность, прикидывать, что им предстоит сделать в течение дня, да обсуждать сделанное вчера.

В это утро попутный западный ветер нехотя перекачивал длинные пологие волны. Над туго выгнутым полотняным парусом когга задиристо гомонили чайки.

— Расшумелись, гляди-ко!.. — осуждающе протянул Акинфий. — Вокруг-то вон оно спокойствие сколь благодатно.

Остатки ночного тумана хитро закрученными лентами тянулись к берегу, пропадали среди нагромождений покрытых мхом и водорослями камней. За галечными россыпями, уже среди скальных наслоений, начиналась тайга сизовато-синей, без просветов и полян, стеной, уходящей к горизонту.

Глянув на лицо Акинфия, Дионисий приветливо улыбнулся:

— Ну, старатель морской, молви, молви, вижу, что поведать штой-то намерился.

— Да уж, намерился, а како излагать намеренье мое — не придумаю.

— Вот как? — удивился Дионисий. — А ты сразу, не медли.

— Не прими шутейно аль еще подобно как слова мои, отче. Я об этом деле еще намерен молвить хотел. Блазнится мне, что пригляд за нами с берега идет. Будто бы людишки каки все высматривают: куды мы идем да как у нас на кораблике все проистекает.

Слова Акинфия Дионисий воспринял серьезно:

— Верю зоркости и глазу твоему морскому, молодец, кормщик. Я, брат, тоже, грешным делом, людишек неких в береговом кустарнике замечал...

— Слава те господи! — перекрестился Акинфий. — Значится, все верно, не блазнились мне людишки сии. И како нам теперь дале быть?

— Свой пригляд добрый сотворим безотрывно, а путь продолжим. Сии людишки, думаю, все едино объявятся нам, а с добром аль со сварой какой полезут — поглядим...

Слова Дионисия подтвердились, но не сразу, а примерно через неделю. Как раз столько потребовалось времени, чтобы когг в середине редкого для здешних мест погожего дня вышел к берегу просторной округлой бухты. Решили отдохнуть здесь, переночевать, осмотреться как следует, тем паче что от берега начиналась будто бы нарочно приготовленная са-



мой природой дорога, вернее — довольно широкая тропа. Проходила она меж усыпанных иглами остролистых кустов и вела далее по лесной прогалине к скалам, затаившимся в плотном синевато-буром тумане.

На берег сошли втроем: Дионисий, Викентий и Савва.

Акинфию же с Аглаей и Меgefием было велено отойти подале от берега и встать на якорь, кой заменял на когге окованный длинными шипами камень на ивовом канате. Ждать было велено не более трех суток. Ежели по истечении данного срока спутники их не вернуться, то следовать к противоположному берегу бухты и уже там ожидать своих товарищей.

Чем выше поднимались по тропе паломники, тем плотнее охватывали ее намертво сцепившиеся ветвями молодые синевато-серебристые ели, опутанные белесыми волокнами высохших лишайников.

— Гляди-кось, отче, — постоянно оглядываясь с тревогою по сторонам, сказал Викентий, — сия зловеца путаница волокон — будто сеть адова на деревьях, как бы нам самим в сети этой не запутаться...

— Бог не без милости, молодец не без счастья, — улыбаясь, произнес Дионисий, — а оно, родимое, покуль нас не оставляло.

— Ну, ежели так... — нехотя согласился Викентий.

Тропа стала еще уже, деревья почти сомкнулись, но вдруг за камнями слева пробилась солнечные блики, осветили все кругом искрящимся многоцветьем лучей. Открылась широкая поляна, за ней многоверстная каменная долина, дальние края которой подпирали основания скал, взметнувшихся к высоким облакам на пронзительно бледном небе.

Но самое удивительное ожидало паломников справа, совсем рядом. Здесь на каменистом пригорке полукругом расположилась группа людей в странных пестрых одеждах. По бокам стояли несколько рослых воинов, вооруженных луками, копьями и широкими большими ножами в деревянных ножнах.

Меховые одеяния, как и высокие меховые же сапоги их, были сшиты из аспидно-черных, поблескивающих инеем шкур неведомых зверей, и лишь на груди виднелись парами пришитые короткие ярко-желтые меховые ленты.

Почти так же была одета и стоявшая в центре полукруга молодая женщина — с той только разницей, что ее одежда светилась полосами многоцветного бисера и, хорошо подогнанная, подчеркивала гибкость и подвижность фигуры.

Дионисий, желая подойти поближе, сделал было несколько шагов, направляясь к этой женщине, но она, предостерегающе вскинув руку, заставила его остановиться.

Далее произошло то, чего Дионисий менее всего ожидал: женщина, откинув широкий капюшон меховой куртки, потрянула головой, отчего ее волосы цвета меди рассыпались по плечам, и глубоким грудным голосом спросила, подчеркнуто правильно произнося русские слова:

— Ведомо ль тебе, куды ты попал, на чьей земле стоишь, путник?

Дионисий от этих слов, произнесенных столь уверенно и неожиданно, даже попятился чуть, но лицо женщины ни в чем не изменилось, когда она, повторив свой вопрос, добавила:



— Понятно ли реку я?

В эту минуту Дионисий готов был поручиться, что в глазах ее промелькнуло что-то поистине колдовское, и он, мысленно перекрестившись, торопливо сказал:

— Понятно, по-хозяйски речешь питания свои.

— А я и есть если не хозяйка, то подруга первая ее в местах здешних.

— И как же именем аль прозванием будет хозяйка сия? — уже избавившись от смущения, блюдя вежество, спросил Дионисий.

— Вы, российские люди, называли и называете ее доньине «бабой златой», мы же величаем ее Златой владительницей всего света, матерью наших и всех других народов мира — Энин Буга.

— И что же, ваши люди только слышали о сей владительнице или видели ее? — осторожно, сам побаиваясь своего вопроса, спросил Дионисий.

— Покуль, до времен лучших, ее видеть нельзя, отдыхает она здесь неподалеку, в горах Бырранга, вон они, видишь?

Женщина указала на гряду полусасыпанных снегом остробоких скал, вершины которых терялись в низко нависших багово-синих облаках.

Некоторое время Дионисий пристально разглядывал представшую пред ним картину диких гор, узких ущелий и зияющих провалов меж ними, затем неторопливо, боясь вымолвить не то слово, осведомился:

— Нам како дорога будет? Мы в краях ваших впервой, ничего здесь не порушили, никого не обидели, пропустите нас дале аль как?

Медноволосая женщина, так ее называл теперь про себя Дионисий, подошла к стоявшему ближе всех воину — высокому, сутулому, но все еще могучему старику, что-то проговорила ему, указывая на паломников, но старик даже и не взглянул на них, лишь согласно кивнул головой.

— Это великий шаман Тывгунай, — пояснила медноволосая. — Он готов передать Золотой владительнице вашу жертву, которую вы обязаны приготовить к утру.

— Жертву? — на этот раз почти растерялся Дионисий. — Каку таку жертву? У нас ни золота, ни серебра, ни узорочья нет! Мы ж паломники, не с богатствами, а со словом Божьим плывем...

— Потому вас и пропускаем, — строго сказала медноволосая, — но жертву все равно надо... Почет Златой владительнице — первое дело! Иначе в распадке без голов очутитесь. Здесь неподалеку, у жертвенного камня, таких, стрелами побитых, много валяется — помыслите о сем.

«Помыслить», конечно, Дионисию во время этого разговора хотелось о многом — десятки вопросов так и рвались с языка: кто она в действительности, эта медноволосая, так похожая на русскую женщину? Верно ли у нее такая власть в этих местах? Можно ли верить, что путь паломников после принесения жертвы будет безопасным и они смогут продолжать плавание? Ах, как хотелось спросить об этом — не из праздного любопытства, а из-за тревоги об их дальнейшей судьбе, но Дионисия словно что-то удерживало, и он лишь согласно склонил голову.

У пригорка, возле глубокого залива, где стоял когг паломников, в эту ночь долго горел костер. После вечерней молитвы, которой паломники

обязательно заканчивали день, вновь все собрались у костра, выжидательно поглядывая на Дионисия, и он, помолчав некоторое время, сказал:

— Ждете, что молвить буду? А тут, по нашему положению, молва одна: думаю пушной откуп учинить, вот содруг наш Акинфий знает, что сие издавна у поморов ведется.

— Верно, отче, верно, знаю! — обрадовался было Акинфий, но тут же разом нахмурился: — Для откупа сего, ох, особа какая, прелестна глазу, шкурка нужна.

— Такова найдется, — коротко сказал Дионисий и тут же спросил, оглядев собеседников: — Односоветно и единомысленно решаем аль как?

— Да так, так! — вступил в разговор Викентий. — А с другой стороны, сумление есть... Слышал я еще в Печерских устьях от бывалых поморов, что те дикарски люди, что вкруг той бабы златой вьются да служат ей, злобой напитаны к пришельцам так, како и в мире не бывало.

— Ты к чему тако молвишь? — спросила помалкивавшая до этого Аглая.

— А к тому, что шкуркой, пусть и прелестной без меры, вряд ли тут откуп сотворишь.

— А вот неправда твоя, Векша, — недовольно перебил его Дионисий. — Здешни люди, самы дикарски, цену пушному довольству ой как знают: бывали таки случаи — единой шкуркой большие дела вершили...

Неожиданно со стороны гор вырвался на просторы бухты холодный, почти морозный ветер. Как хлыстом стеганул по волнам — и они пошли вкруг мелкой россыпью, обдав сидящих у костра паломников ледяными брызгами. Все поежились, но с места никто не встал, ожидая, видно, от Дионисия продолжения разговора, но тот только махнул рукой — идите, мол, и стал неторопливо сгребать угли к середине костра.

Утро было ненастным. Из-за гор, низко прижимаясь к лесистым склонам, напозлали сизо-синие дождевые облака, за которыми тянулись полосы тумана. Видно, поэтому и проглядели паломники, как их обступили воины в черных меховых одеждах с ярко-желтыми короткими полосами-лентами на груди.

Как и вчера, возглавлял воинов шаман Тывгунай с двумя помощниками, а рядом стояла медноволосая женщина, так удивившая вчера Дионисия своей русской речью. Только сегодня она была, как и остальные воины, в одеянии из черных шкур, а на груди ее посверкивал выкованный из красновато-желтого металла знак, похожий на летящую стрелу. Да и сама теперь выглядела иначе, чем при первой встрече.

Ее будто обдуло колдовским ветром, когда она, зло прищуриваясь и нервно покусывая губы, подошла совсем близко к паломникам и, глядя прямо в глаза Дионисию, требовательно выкрикнула: «Дай!» — протянув, вернее, почти выбросив руку к его лицу.

Дионисий на это холодно, даже презрительно усмехнулся, достал из небольшого заплечного мешка мягкий сверток, легким движением руки развернул его. Перед глазами стоявших на берегу людей предстало то, что называли чудом югорских земель. Это была шкурка матерого соболя. Сквозь блестящую, местами серебристо-серую ость, приковывая взоры,



проглядывал пышный дымчато-бурый подшерсток, будто освещенный изнутри каким-то особым волшебным светом. При каждом движении меха по нему пробегали волны радужно проблескивающих оттенков.

Медноволосая бережно приняла шкурку из рук Дионисия и, держа ее перед собой, возвратилась к шаману. Теперь уж он в сопровождении своих помощников и всех воинов понес ее к капищу золотой бабы, при-топывая, кружась на ходу и выпевая заклинания.

Сколько самых сердечных и горячих похвальных слов, наверное, услышал бы Дионисий от своих друзей и спутников за ум и предусмотрительность, останься они одни у когга после ухода шамана и воинов. Но здесь по-прежнему стояла медноволосая, и по всему было видно, что она не торопится последовать за своими товарищами. Сейчас она выглядела совсем иначе, чем при своем появлении: на редкость усталое, болезненно поблекшее лицо ее наводило на мысль, что она хочет сообщить что-то паломникам, но раздумывает.

— Пусть уйдут твои люди! — наконец проговорила она, обращаясь к Дионисию, и голос ее при этом прозвучал как-то бесцветно и прерывисто. — Пусть уйдут вон за тот камень к вашему костру, а мы поговорим...

Когда спутники Дионисия скрылись из виду, медноволосая подошла еще ближе к монаху и, легко сбросив через голову кухлянку*, обнажила грудь, на которой на серебристой цепочке висел оправленный в серебро кипарисовый крест размером с ладонь. Всего мог ожидать Дионисий от этой странной женщины, но то, что затем он услышал от нее, поразило его безмерно. Она опустилась на колени и, протягивая руки к нему, с каким-то невидимым душевным трепетом произнесла:

— Отче, отче, благослови меня, я крещена в веру православну в по-таенном таежном скиту. Имя мне дадено при крещении — Митродора. Крестила меня, царствие ей небесное, матушка моя Измарагда, ныне за здравие людей живущих молитвы у престола Господня приносящая.

Показалось Дионисию, что в глазах удивительной женщины появились при этих словах и скорбь, и щедрые слезы, тут же уступившие место еще не видимому, но приближающемуся удивительному жару, готовому испепелить и саму Митродору, и Дионисия, и вообще всех, кто находился сейчас поблизости.

Как бы почувствовав это, Дионисий произнес взволнованно:

— Благословение в вере православной есть не только посох и опора душевная всем, кто взял на себя смелость идти сквозь преграды и терния велики, но и поддержка постоянна в делах молитвенных и иных, что добром основаны и закреплены были.

— Так оно, так, отче!.. — все еще стоя на коленях, повторила Митродора. — Именно такого благословения душа и вся суть моя жаждет, ибо чую, что пришел мой срок, время пришло волю матушки моей, царствие ей небесное, исполнить.

— Подвиг малый единый за веру нашу православну свершишь, тогда и жизнь будет тебе в жизнь, и в глаза людям добрым сможешь глядеть

* Кухлянка — верхняя меховая одежда в виде рубахи мехом наружу.

смело. Поразила ты меня в само сердце, дочь, и словом, и делом твоим. Да благословит тебя Бог на деяния, ведущие к прославлению веры нашей православной, отныне и вовеки!

Всего на несколько секунд застыла, будто и не дыша вовсе, Митродора, припав к руке Дионисия. И уже иной, как бы окропленная живой водою, вскочила на ноги, вся — порыв, движение, горячо заговорила:

— Отче, земной поклон тебе, что словеса мои принял. Ноне в вечер празднество жертвоприношения будут творить злодельцы здешни — и, считай, им не до тебя. А ты и содруги твои лишь на утро в жертву бабе златой назначены.

От вести такой Дионисий отступил было назад, перекрестился быстро, но тут же, упрямо наклонив голову, вернулся на прежнее место.

— Ну, добра душа, а какой нам твой совет будет? — спросил он у Митродоры, пристально глядя на нее.

— Подошла мне пора уже быть в стойбище. Тывгунай камлания шамански свои готовит, и мне надобно будет рядом стоять. Последний клин в доске жертвенной забивать мне.

— А нам как же? — настаивал Дионисий.

— Уходите немедленно! — совсем непохожим, напряженным донельзя голосом вымолвила Митродора. — Ветер, слава богу, попутный, так вот вдоль бережка и держитесь до пестрого мыса, он там один, не пройдет мимо. За ним бухта и каменные груды вокруг, станете там. Ночью я подойду, и тогда наладим беседушку многосоветну, ну а ежели случится незадача какая и не выйдет мне вас повидать, заместо меня явится единая моя наивернейшая подруга и сестра названная, котору тож мать моя крестила. Видом, статью своей ладна да пригожа, волос длинен и бел, как снежница весенняя в горах, назовется именем своим, так вот и повторит, мол, Суровея я, Суровея — ей верьте во всем. Ни сама ни в чем не оступится, ни вам, ежели придется, оступиться не даст...

— Значит, в путь? — почему-то тяжело вздохнув, произнес Дионисий, когда паломники, уже спустив когг на воду, стояли рядом, придерживая его за борта.

— А все-таки, отче, ты не совсем поморской человек, — думая, видимо, о чем-то своем, неожиданно быстро произнесла Митродора.

— С чего ты взяла? — удивился Дионисий.

— Ты ж впервой в местах здешних и даже не спросил, што сие за место, како именем оно?

— Права ты, настоящий корабельщик спросил бы в первую голову. Так што сие за место?

— Место знаменито уже три сотни лет, а может, и боле, зовется Берегом ветров забытых, а подпирают берег сей колдовски горы Бырранга, где могила тайная бабы златой.

— Вот оно где, гнездовье Велиала, — быстро перекрестившись, сказал Дионисий, — истинно, место подходяще деяниям своим дьявольским выбрал.

— Однако на этом молва наша покончена. С богом, люди добры! — Митродора низко поклонилась паломникам и, чтобы те не увидели слез



на ее щеках, быстро повернулась и зашагала к кустарникам, где ее уже ожидали две женщины-туземки в черных одеждах.

Казалось бы, всего насмотрелся Дионисий за свою жизнь, давно отучился обижаться и удивляться. А этой ночью наслушался такого, что, казалось, всю душу ему перевернуло и во многом заставило смотреть на мир иными глазами.

Началось все с прибытия Митродоры, когда в стремительно скользящем охотничьем челноке она вырвалась из хаоса пестрых прибрежных глыб и, судорожно глотая поданную ей Дионисием воду, попыталась что-то сказать, размахивая руками, а в глазах ее, будто далекое зарево, металась ненависть и страх.

— Я опередила, опередила их! — кое-как справившись с охватившим ее волнением, гордо воскликнула Митродора. — Опередила лучших воинов шамана Тывгуная, которые по его приказу попытались схватить меня! Скоро они, покрытые позором, — как же, женщина их опередила! — будут здесь. Не прими в поношение, отче, послушай доброго совета. Эти высшие слуги Тывгуная — его помощники и рабы Золотой владетельницы страшны только на земле, на берегу. Моря они боятся, здесь они никто — хуже детей малых. Самая малая волна для них — начало большого страха.

— Поклон тебе за слова разумные, — поклонился Дионисий Митродоре. — Ты как в деле сем? — тут же спросил он Акинфия.

— Чую в Митродоре моряцкого склада человека, рассудила как надобно, — согласно склонил голову Акинфий и, подумав, добавил: — Носовую щеглу ставить побыстрее надобно. Ветер куда как подручный, попутный. Когг наш заметно ходу прибавит!

— Тогда в путь, с богом! — совсем по-молодецки воскликнул Дионисий и, повернувшись лицом к морю, торжественно и широко осенил его крестным знаменем.

Привычные к морскому делу паломники с установкой второй щеглы управились быстро. Прибрежный ветер, словно заблудившись, пометался, щедро осыпал когг тугой россыпью брызг, наполнил, выгнул паруса и, подхватив суденышко, понес его, все убыстряя ход, в открытое море.

И надо же было случиться такому, что именно в эти минуты дрогнула, стала расплзаться угольная гряда облаков у горизонта, а на северной стороне неба затеплился бледно-призрачный белый свет, именуемый поморами отбелью. Затем появились россыпи лучистых розовых оттенков, называемые зорниками; багровея на ходу, вслед кинулись, задышали, отталкивая друг друга, млечные полосы — столбы, как бы стараясь выказать неземную силу необозримого небесного многоцветья...

Молчавшая все это время Аглая неожиданно восторженно воскликнула, не отводя глаз от неба:

— Господи, каки пазори* чудны, к добру это нам, братья, к добру!..

— Дай бог, — сдержанно поддержал ее Акинфий и, обратившись с доброй улыбкой теперь уже к Митродоре, спросил: — Ну, отчаянна душа, доводилось тебе бывать в сих водах ранее?

* Пазори — поморское название северного сияния.



— Да на три-четыре поприща вперед бывало, а далее не случалось. Места здесь что на море, что на берегу чужие, колдовские. Слышала сторной, что людишек — и православных, и дикарских — полегло здесь немало, а отчего сие, почему — одному богу известно, берег-то здешний и ветра его недаром забытыми зовутся. Забыли их, значит, на свете Божьем, вот тут и творится разное...

Исподволь, вначале даже запинаясь и не сразу находя нужные слова, начала Митродора свою речь и вдруг через время малое, полуоткинувшись на борт когга, вполголоса запела, смотря отрешенно вдаль и будто забыв обо всем на свете.

Это была старинная поморская песня, издавна нареченная «отваль-ной», и паломники, вслушиваясь в слова ее, вспоминали самое-самое заветное, что было в их поморской походной жизни.

Митродоре пришло на ум, как она в первый раз ступила на Берег забытых ветров. Тогда коч их волна выбросила далеко на каменистую россыпь. Добро, была бы это у них одна незадача, а тут вслед волны выбросили еще две большие эвенские ладьи, из которых как горох посыпались воины в черных меховых одеждах.

Паломники на кочах, хотя и были в монашеских одеяниях, с ловкостью, свойственной бывалым воинам, размахивая короткими мечами, ринулись навстречу преследователям. Сшиблись, закружились, то наступая, то отступая по отмели. Полетели стрелы, ожесточенные выкрики слились в пронзительный, разрывающий душу вой...

Мать, схватив Митродору на руки, пригибаясь, бросилась к кустам. Отец (а видела его тогда Митродора последний раз в жизни), разгоряченный боем, с двумя короткими мечами в руках, только и успел крикнуть жене: «Девку уноси!» — как на него набросились сразу трое воинов, и все они закружились в ожесточенной схватке, будто подхваченные внезапно налетевшим вихрем.

Далее как ни называй жизнь — хорошей аль плохой, а все она выходила у Митродоры невместной: детство и юность в потаенном скиту, гибель матери при переправе через таежную реку и, наконец, чужой, будто из забытой сказки, мир. Чужие, дикие люди, которые теперь почему-то постоянно окружали ее, их непонятный говор, а когда она наконец научилась его понимать — удивление, испуг, а временами и ужас, от которого по ночам боишься лишней раз открыть глаза, а то и готова на смелиться головой в таежный омут...

Поначалу не понимала, дивилась Митродора: чего это дикарские люди здешние так возятся с ней? И в чуме из белоснежных оленьих шкур ее держат, и носит она одежды из редких по красоте собольих и горностаевых спинок, расшитых россыпями невиданного радужного бисера, и каждое обращение к ней — с поклоном низким и с подарками...

И вот пришел день, когда к Митродоре явился сам Тывгунай с тремя младшими шаманами и они устроили поклонение Энин Буга — матери тысячи народов.

Больше двух десятков лет прошло с той поры, а Митродора видит, помнит все до малой малости. Чудеса, наваждение дьявольское, прости господи, творилось тогда в чуме ее. По слову, повинуюсь каждому жесту руки Тывгуная, возникали перед ней в чуме и медленно плыли по воздуху диковинные продолговатые огоньки, сплетавшиеся в длинные многоцветные ленты и исчезающие в колеблющихся облачках тумана, чтобы тут же уступить место картинам вздыбленного штормом моря, по пенным верхушкам волн которого скользили призрачные женские лица со злобно-насмешливыми глазами...

В многоцветье этих появляющихся и тут же исчезающих образов, линий, радужных всполохов наконец возникло и утвердилось редкой красоты женское лицо с бронзовым отливом щек, с вознесенными в капризном изгибе бровями, чуть подергивавшимися от мерцания странного пугающего взгляда.

— Вот, вот она! — что было силы выкрикнул Тывгунай, указывая на лицо этой женщины, и тут же, словно подброшенный скрытой в нем тайной силой, неожиданно высоко прыгнул вверх, успев при этом перевернуться через голову, и, упав на колени перед Митродорой, схватил ее за руку, забормотал что-то судорожно, будто вымаливая прощение за неведомые ей грехи.

— Што ты сказать хочешь, не пойму! — выкрикнула Митродора, словно тоже напившись без меры волнением Тывгуная.

— Отныне ты и вся твоя жизнь принадлежат ей! — взывал Тывгунай, указывая в сторону все еще колеблющегося перед ними женского лица. — Ей, Золотой владельнице... Великое камлание показало: ты ее сестра! Мы долго ждали, искали тебя, и недаром великий певун Чекулдай пел про сегодняшний день: «Она найдется — выйдет из морской пены и льда, будет властвовать бок о бок с Золотой владельницей — переймет ее силу и власть. Ай славные дни, ай великие дни придут в Дулин Бугу, в среднюю землю, в лучшую землю мира».

Когда позже все это она рассказывала Дионисию, он, всегда предельно сдержанный, удивленно покачивал головой:

— Да, светла душа, в испытаньи велику судьбинушка тебя бросала тако, што иной добрый молодец и то напрочь согнулся б от сего, а ты, девица красна, сие перешагнула — слава тебе за то!

— В батюшку я свово! — гордо вскинула голову Митродора, и густые локоны медно-золотистых волос осыпали ее плечи. — Мы из рода куды как древнего — дворян новгородских Пивашиных. А батюшка мой, Аникей Нилыч Пивашин, и на берегу, и в морях хладных всегда первым воином был, и знали его люди как воеводу и приискателя земель неведомых далеко за путями-дорогами новгородскими.

— Тогда и дивиться нечего, — подтвердил Дионисий, — што они столь привержены тебе: для идольского действия люди чуда золотого достойну свиту подбирают. Стало известно мне, еще в Мангазее довели-растолковали, што в приближенных бабы златой есть персоны вовсе не дикарской стати и, хоть тоже в шкурах ходят, по сути они иноземцы — выгладчики, послухи ганзейски. Видать, добро пригляделись к тебе, Ми-

тродорушка, и, конечно, знают, што ты истинно дочь самого Аникея Пивашина, и планы на тебя дальнейши у них есть...

— Эта мысль мне тоже не раз в голову приходила, — заявила Митродора.

— Што о мыслях разных толковать, — задумчиво проговорил Дионисий. — Мы здесь, видно, в крепко сделанный капкан попали. Мне еще в Печерских устьях говорили, што в горах здешних, где могила бабы златой, охранное племя самоедов черных стоит, а главенствуют над ними люди дики здешни, зовомые эвенки — потомки древних жителей Югры.

Дионисий вздохнул тяжело, повернулся к Митродоре и, благословив ее, стал рассказывать о том, как погиб ее отец. Митродора на какое-то время будто окаменела, потом бросилась к Дионисию и, прижавшись к его груди, зашлась в рыданиях.

Старец, видя, что плач Митродоры привлек внимание других паломников, сделал всем знак не подходить и, помолчав, думая о своем, тихо, но твердо сказал:

— Ты, Митродорушка, о происхождении своем, о предках помолчи пока. Скоро поймешь почему.

Меж тем день и вовсе распогодился.

Голубизна и без того высокого неба засеребрилась на глазах, поднимаясь еще выше, пока у горизонта не обозначилась вереница облаков и солнечных долин над возникшей из моря цепью крутых скал.

Здесь уже начиналось призрачное царство заснеженных гор, опускающихся к воде широкими террасами. Постепенно понижаясь, они расходились у взбитых пеной приплесков каменистыми отмелями и заливами, а напротив, в глубине этого горного узорочья, уже надвигались круто выгнутые бока матерых многовековых льдин, чем-то похожих на звенья гигантского браслета, разорванного и брошенного здесь на века под беснованиями волн и ветра.

Акинфий, который не отходил ни на минуту от рулевого весла, вдруг тревожно вскрикнул:

— Зрите-ко со стороны левой!

Когг, обогнув невысокий мысок, входил сейчас в широкую протоку, и то, что увидели здесь паломники, заставило их тут же броситься к веслам...

Левый берег протоки был густо уставлен упряжками рослых беговых оленей с небольшими, особой крепости нартами, на которых прочно устроились хорошо вооруженные воины в черных меховых одеяниях с желтыми лоскутами на кушлянках.

— Ух ты! Сколь недобрых воителей нам судьбинушка посылает! — окинув внимательным взглядом охотников, громко проговорил Викентий. — Это ж служители-охранители логова бабы златой! Само зловредно племя в тундровых да таежных местах. Приглядитесь-ка к упряжкам с толком — олешки добры, но путь сюды отмерили немалый из мест, полагаю, наших, мангазейских...

— Ну уж, Векша, друг, — возразил было Дионисий, — с чего бы это мангазейски упряжки сюды гнать, своих, што ль, мало?



— Мало не мало, за нами вслед, в догляд шли они по берегам от мыса Дровяного — не иначе. Да и сами упряжки на наш обской манер устроены: три оленя рядом, четвертый отдельно слева, и вожжа, по-самоедски — нгава иня, прикреплена к его уздечке слева, тако только на Оби да за Обью запрягают.

Берега протоки, по которой шел сейчас когг, заметно сужались, и уже явственно раскатывались над водой насмешливые, а больше озлобленные выкрики воинов и охотников, встречающих когг руганью, а то и стрелами, все чаще пролетавшими над палубой судна.

Видя, что лицо Дионисия становится все более озабоченным, Митродора, намереваясь ободрить его, сказала:

— Здесь впереди через два-три поприща выход из протоки — бывала тут, знаю, — однако вряд ли выпустят нас добром, бой будет...

Подошедшая к ним Аглая, услышав эти слова, горестно воскликнула:

— Аль согрешили мы, аль еще неладно што, но только не идет чинно да благостно паломничество наше. Нам бы молитвы творить в местах нехоженных да часовни ставить, како отче владыко Киприан да мать игуменья Марфа наказывали нам, а мы вместо того все в воинских делах да шумствах пребываем, благодсти истинной преграду чиним...

— Светла ты разумом, Аглаюшка, а ноне речешь не то. Грехам любым места нет в душе православной, но и такое самое малое деяние веры — и то зачтется тебе добром и укрепишься ты терпением долгим!

Уже виделся выход из протоки, уже заметно посветлели лица паломников, когда судьба преподнесла им еще одно горькое испытание. На удивительно ровной косе, где крупнозернистый песок слепил глаза сказочным разноцветьем, было вкопано гладко оструганное бревно. К бревну была накрепко привязана молодая женщина с заломленными назад руками, а ее удивительно длинные белые косы кольцами захлестывали шею и заметно окровавленную голову.

Дионисий едва успел перехватить Митродору, когда та с криком: «Суровеюшка!» — готова была прыгнуть за борт на выручку белокозой пленнице.

— Пусти, ох пусти, отче, — билась Митродора в руках Дионисия, — то перва моя душа-выручайница, подруга сердечна, сестрица Суровеюшка!

Охотники на оленьих упряжках и пешие воины на обоих берегах протоки медленно двинулись к воде, озлобленно выкрикивая угрозы и выпевая племенные призывы к скорому бою.

В эти минуты раздался хлесткий, как удар бича, выкрик Викентия:

— Отче, видно, пришло время все ж огни заморски в дело пускать: так запросто нам от сего многолюдья вражьего не отбиться. Благослови, отче! — И, видя, что Дионисий колеблется, добавил: — Грех велик, знаю, но ведь не от молодечества пустого аль похвальбы пустяшной сотворим тако...

Дионисий в явной растерянности, что с ним бывало редко, шагнул к борту, споткнулся даже и, видимо, согласившись уже в душе с Викентием, все же спросил:



— Иного ничего так и не измыслил?

— Нет, отче, время теряем зря, — уже совсем тревожно ответил Викентий, — решайся, решайся, отче.

У Дионисия, видно, уже не осталось сил произнести нужное слово — он, таясь вздохнув, молча благословил Викентия заметно подрагивающей рукой.

Через минуту Аглая, Викентий и Савва сутились уже на носовой площадке судна, укрепляя в зажимах медные пушчонки, аккуратно закатывая в их дула заряды, а за ними еще бережнее опуская туда странные трубки из листовой меди, на которых виднелась красноватая вязь цифр.

Трубки эти гилевщики нашли в тот день, когда прибыли на угнанном от мангазейских причалов когге в островную обитель игуменьи Марфы. Когда принялись тщательно осматривать и выстукивать его наружную и внутреннюю обшивку в поисках секретов и мест потаенных, которые, как утверждал Викентий, обязательно бывают на таких судах, то им вскоре повезло и они вытащили на свет божий обшитые промасленной холстиной небольшие деревянные ящики с медными трубками.

Издавна бытовало на Руси присловье о том, что воинское дело уж никак не для сословья бабского, а вот у паломников Дионисия как раз наоборот получалось. Перво слово тут всегда за Аглаей было. Ах, дядюшка родимый, царствие небесное душеньке твоей!.. Когда-то и плакала Аглая от него немало, и обид пересчитать не могла, а в жизни мудро слово да уменье воинско его ох как пригодилось!

В тот раз, когда в ящике потаенном медные трубки нашли и принялись судачить, что сие да к чему, Аглая, победно глянув на спорящих паломников, сказала:

— Все речение ваше здесь, добры молодцы, пустословье одно, и к делу его никак не приставишь.

— Ух ты! — насмешливо воскликнул Викентий. — Воительница наша, Аглая-свет, а ты свое к делу речение здесь яви — поучи нас, неразумных...

— И поучу! — нахмурилась Аглая. — Трубки, сим подобные, я не раз видела, будучи в учении у Федора Евсеича, дядюшки свою, и не только видела, а и знаю, как их в деле воинском применить.

— Аглаюшка, чем более знаю тебя, тем боле в удивление вхожу. И како же именуется диво воинско сие?

— Именуется оно греческий огонь, или дыханье ада, о деле этом у дядюшки мово были и книги две: одна знаменитого ружейного мастера испанца Диего Уффано «Трактат об артиллерии», а другая книга русская — «Устав ратных, пушечных и других дел, касающихся до воинской науки».

Видя, что Аглая понимает суть дела, и явно задетый этим, Викентий, уже более внимательно оглядев трубки, задержал взгляд на выписанных столь искусно столбиках цифр и вдруг, как бы найдя для себя спасительную мысль, хитровато прищурившись, спросил Аглаю:

— Ну а эта цифирь здесь к чему, како ей место есть?



— Да господи боже мой! — почти рассердилась Аглая. — Еще в распросы пуцается! Эта цифирь толкует о том, к чему кака трубка предназначена и на каку дальность бить ею можно!

Не к месту тогда было, рассердись он аль в споры пустись с Аглаей. Он рассмеялся, вроде бы превращая весь разговор в шутку, и церемонно поклонился ей.

— То-то! — тоже улыбаясь, протянула Аглая. — За мной, значит, будете числить огневое умельство?

— А то! — воскликнул Викентий. — Да на всех побережьях морских такого мастера, как ты, Аглаюшка, не сыскать!

Аглая вместо ответа вроде бы легко толкнула в грудь Викентия, но не схватись он тогда за борт — купаться бы ему в воде...

Помнил Викентий и то, как замахал руками Дионисий, когда ему рассказали о находке таинственных трубок и возможности применить их в случае крайности какой.

— Нет, нет и нет! — взволнованно восклицал Дионисий. — Те трубки с огнем наверняка дьяволовы придумки, ухищрения адовы. Воину русскому, каков бы он ни был, тако оружество не к лицу!

В который раз вновь подивился Викентий выдержке и умному спокойствию Аглаи. К этому времени воины на берегах взялись за паломников, что называется, основательно. Если бы не откидные щиты на носовой площадке, Аглаю и ее товарищей давно бы поразили стрелами густо наседающие охранители золотой бабы. Аглая, будто совсем не замечая этого, еще раз проверила и подкрутила железные кольца на медных трубках и аккуратно закатали два заряда в правую и левую пушчонки.

— А ну! — протянула Аглая руку к Викентию, и он подал ей, выхватив из походного тигля, заранее раскаленный железный прут.

Она поднесла его к затравочному отверстию пушчонки, та ударила искрами, дымом, и два оранжево-огненных шара понеслись к берегу. Пронзительный свист огласил окрестности. Тут же, пересиливая его, громом раскатились два взрыва, и неподалеку от столба с привязанной к нему пленницей один за другим взметнулись к небу два песчаных веерообразных облака.

Минуты не прошло, как вновь прогремели орудия Аглаи, и, когда улеглась немного песчаная буря, взметенная взрывами, стало видно, что охотники, побросав луки, стрелы и копья, уже далеко убежали от места взрывов. Этим не преминул воспользоваться Акинфий: направив когг к берегу, он бросился не раздумывая к столбу с пленницей, срезал петли аркана, распутал косы, накрученные на ее горле, и, взвалив на плечо бесчувственную, еле дышавшую Суровею, в считанные минуты донес ее до судна и бережно опустил на палубу.

Паломники, не ожидая команды, бросились к веслам. Судно развернулось, взяло ход, и вскоре и протока, и высокий песчаный берег, где паломникам довелось столько пережить за это короткое время, стали медленно терять очертания, тая в синеватой дымке, уже по-настоящему распахнувшей величественную даль моря.



Глава 16

Редкая для столь поздней осенней поры погода на этот раз благоприятствовала плаванию паломников. Море, казалось, напрочь забыло о многодневных, редкой силы и настырности ветрах, подолгу свирепствующих в этих местах, и щедро излучало сейчас покой и тепло, лениво перекатывая плоские, едва заметные волны. Видимость была отличной, в какую сторону ни посмотри, поэтому горизонт распахнул, не скупясь, изумрудно-серебристые дали, тщательно скрываемые до этого в туманных кладовых.

Паломники уже начали привыкать к однообразию морских пейзажей, поэтому никто, кроме любопытствующего Акинфия, не обратил поначалу внимания на коричнево-серебристую точку, поблескивающую среди волн.

— Чего это там глаз слепит? — проворчал Акинфий, но уже через десяток-другой минут уверенно проговорил: — Ей-богу, лодка там аль стружок малый... И как это на щепке такой в морску даль забрались?

Слова Акинфия вскоре подтвердились. К борту судна паломников ходко подошел до смешного маленький стружок. Сидящие в нем два молодых паренька, видом русские, в добротнo выделанной и сшитой одежде из меховых шкур, ловко сбросили паруса и, приняв причальную вервь от паломников, неторопливо повели соответствующий месту разговор.

— Добрым людям — путь добрый, — медленно выговаривая слова, произнес один из парней, чернявый, быстроглазый, старающийся держать себя посерьезней. — Я зовусь Корнилий, сотоварищ мой вот этот — Фома. Мы из поселка, што неподалеку отсель. Так вот, старики наши с поклоном и просьбицей малой к вам обращаются — пожаловать к нам просят...

— Пожаловать... — протянул Дионисий, испытующе глядя на парня, и, помедлив какое-то время, спросил: — А откель вам известно, што мы за народ такой? Ноне часто случается, што под обличьем людей добрых, хоть бы и паломников, немало злоискателей разных бродит...

Хотя черноглазый парень и смотрел на Дионисия с большим уважением, сразу признав его старшинство на судне, он при этих словах хитровато, совсем по-мальчишески ухмыльнулся:

— Так вы ж, добры люди, у нас на строгом пригляде были почитай от самого Дровяного мыса, и за то на нас в обиде не будьте. В нашем нонешнем житии пригляд зоркой да береженье ежечасно вот как нужно!

— Вот те на! — удивился Дионисий. — А от кого ж вы бережетесь столь? Аль у вас в бытии и сторожи доброй нет?

— Тут в ином дело видится, — уже строго поджимая губы, ответил черноглазый парень. — Пустынны море здешнее и земли ближни и дальни, а страх да невзгоды чуть ли не за каждым кустом таятся. Кто тут только воровским обычаем не был, шарил загребущими руками, богатства больши да малы выискивая, — и народишко разноплеменный, совсем дикой, и разбойнички — гулеваны вольные, российские и иноземные, и бродяги разны страхолудны — таки, што неведомо, как и сказать и подумать



о них. Но сама наиглавнейша беда земель здешних, зло и страх несусветный — это племя ызык, охранители царства бабы златой, што в горах тутошних то ли схоронена, то ли живой еще прячется до времени.

— Да ведомо нам про бабу ту, разговоров здесь да придумок пусто-порожних девать некуды — по всем берегам да пределам морским годами, видно, судачат, зря языки чешут, пустобрехи!

— Ой, не скажи, отче, — сразу как-то насупился, отвечая Дионисию, парень. — Земли тут по бумагам царским — русские, а на самом деле хозяйка здесь над всем баба злата и в перву руку воинство ее проклятое — ызык. Вот побываете у нас, вам старики здешни о делах тутошних поведают — так вы в удивление придете, не иначе...

— Так пошто ж вы поселились тута? Аль иных просторов вокруг вам мало?

— А вот о сем тоже не доверено мне толковать с вами — ждут, говорю, вас шибко на берегу старики, вот с ними толкование главно и учините.

Чтобы уяснить, что это было за толкование и к чему оно привело, надобно прежде всего продолжить рассказ о Меgefии.

Все началось с испытыв, назначенной ему в свое время отцом Дионисием. Еще в островной обители игуменьи Марфы Елизарий сделал Меgefию неожиданный подарок.

— Вот што, отроче, — начал однажды неторопливый разговор Елизарий. — Мне, выходит, во граде Мангазейском оставаться, тебе в морски дороги пущаться. Назначенную тебе отцом Дионисием испытыву молчания каждодневного нести будешь до тех пор, покуль он не снимет ее. Ему верь, как и мне, каждо слово его — закон святой для тебя, не мене того! Я же к испытыве твоей подспорье должное приготовил...

Говоря это, Елизарий достал из кармана узенький, невзрачный видом футляр палисандрового дерева, открыл его — и вдруг по стенам и потолку прируба, вспыхнув, разбежались солнечные блики-лучики, хотя солнце еще и не заглядывало сюда.

— В сих четках работы мастеров афинских красных и синих зерен поровну. Тебе, испытыву твою исполняя, зерна четок вот каким манером раскладывать надобно: добры дела творишь — откладывай красны зерна, греховны дела синими зернами отмечай. В конце дня каждого считай, каку пользу ты сотворил и сколь ее, с тем и живи отныне.

На когге Меgefий жил обособленно, испытыву держал крепко: не подходил ни к кому, бесед ни с кем не вел, да и остальные спутники сторонились его.

Когда когг подошел к причалу поселка, паломники, спускавшиеся с палубы, вызвали всеобщий интерес на берегу, где толпились, переговаривались, переходили с места на место русичи-охотники, вызванные и собранные здесь, как впоследствии выяснилось, с дальних и ближних промысловых угодий.

Борт когга был совсем близко от причала, когда к Митродоре подошел Дионисий.

— Вот што, Митродоружка, красна девица, — почему-то особенно душевно и ласково проговорил он, — весть хочу подать тебе — то ли радостну, то ли печальну, уж не знаю, как и сказать.

Услышав слова Дионисия, Митродора насторожилась, ответила приглушенно:

— Слушаю, отче...

— Сейчас тут встречать начнут гостенечка нашего, Меgefия, слова будут говорить разны, куды как удивительны для тебя. Ты все сие бес-трепетно принимай, а не поймешь чего, потом я тебе растолкую. Главно восприми, што Меgefий — родной племянник твой, сын брата твоего Дмитрия убиенного...

— Как это племянник, как это так? — едва не заикаясь и побледнев, вскрикнула Митродора.

— Да вот уж так, — ответил ей Дионисий и, полюбнйав на миг за плечи, пошел на другой конец палубы, где из кормовой пристройки когга уже появился Меgefий.

Митродора тут же было бросилась к нему, глядя почти безумными в эту минуту глазами на племянника, но споткнулась и, схватившись за сердце, остановилась у борта.

Рослый для своих лет, в кафтане и сапожках из серебристой парчи и в шапке из редкого густо-коричневого соболя, Меgefий был похож на щедро разукрашенную ожившую игрушку.

Полупоселок-полукрепость вольных российских людей стояла здесь более века, неподвластная ни царю, ни воеводам, но свято чтившая каноны православной веры и имевшая прочные связи с Соловецкой обителью. Это оттуда пришло и укрепилось здесь то ли поверье, то ли легенда, а то ли и правдивый слух, что рано или поздно вернется сюда ранешняя жизнь, тепло прошлых лет, достаток и удача в охоте и иных делах. И все это благодаря сказочному мальчику-королю с именем чудным — Меgefий, который придет из далеких западных краев.

И вот это произошло, произошло! — верили и не верили глазам своим люди поселка, до которых дошел слух о том, с Берега забытых ветров наконец приплыл мальчик-король. Вот и суди после этого, где правда есть, а где ложь. А король-то — вот он, шествует вдоль бережка, шагает неторопливо, но уверенно под удивленные, а то и восторженные выкрики толпы рыбаков, охотников, таежных бродяг, монахов и поселковых женщин, пытающихся прорваться к нему, приложиться к королевской руке.

Хорошо, что дорогу ему прокладывали паломники с когга, а то бы Меgefий до вечера не добрался до поселковой церкви, где окрестные старшины во главе с Дионисием порешили отслужить праздничный благодарственный молебен в честь прибытия столь важной особы.

А народ в поселке все прибывал и прибывал, и к вечеру вдоль прибрежной линии пылал уже не десяток, а добрая сотня костров, вокруг которых шумели, разглагольствовали и русские, и разные иноплеменные люди, поднятые с насиженных привычных мест вестью о молодом короле.

Вечером, неодобрительно глядя на это многолюдье, Дионисий говорил паломникам:

— Ох, не по душе мне это, ну не по душе! За сим шумом и не поймешь толком, што вокруг творится. Каки-то людишки посторонние к нам и делам здешним приглядываются, вокруг снуют. Двух я выглядел, знаю точно — соловецки мнихи они, и с Печерских устьев народишко — слуги-выглядчики воеводски есть. Беспokoйство велико у меня и за эвенских людей здешних, и особливо за ызык — проклятое племя хранителей бабы златой. Ранее, бывало, они первыми здесь были, а счас они где? Выжидают чего-то, таятся, ведь с уверенностью полной можно сказать, што по добру они нас не выпустят: и Митродора им наша нужна, и Меgefий — того более...

— Измыслить тут што-то надобно, — предложил Акинфий, — штоб по-настоящему пугнуть свору сию ызыческу. Отсюда, у Еловой гряды, берег круто уходит вправо, а нам путь един — в открыто море, от берега подале. Ну, потреплет нас, побьет малость на волне разгульной — ничего! Мы ведь морскому делу да волнишке морской теперь привычны есть.

— Ызык, конечно, вдогонку не пойдут, но людишек, которы душой послабже да потрусилей, приспособить сюды могут, — заявил Савва.

Почти всю ночь прогомонивший народ не успокоился и к утру. Когда не больно-то холодный, но резкий ветер разогнал густую пелену тумана, открылась пугающая взор картина. Большая поляна у мостков, где все еще табунился вчерашний народ, была окружена стоящими почти плечо в плечо молодыми рослыми охотниками племени ызык в черных меховых одеждах с желтыми поясами на груди.

Чуть подале, на пригорке, также в окружении охранителей золотой бабы, сидел на камне великий шаман тогдашних эвенков и не менее великий воин могучий старик Тывгунай. Его продолговатое лицо казалось застывшим, а глаза не мигая смотрели на море, где уже начинали раскачиваться в пенных охвостях узкие злые волны, предвестники надвигающегося шторма.

Только когда умолкли последние из суетившихся, все еще что-то выкрикивающих людей и установилась тишина, Тывгунай встал, разогнулся и, ударив в бубен, начал петь. В песне своей он обвинял местных жителей — потомков эвенкуров — в том, что они забыли о законах тундры и леса и пропустили к Берегу забытых ветров большую ладью русских, плюющихся огнем. Мало того, на этой же ладье русские привезли сюда потомка древних королей — Меgefия, который не явился на поклон к могиле Золотой владетельницы. Теперь духи ее требуют, чтобы ладья русских была вытащена на берег и сожжена, а сами русские во главе с маленьким королем Меgefием явились сегодня ночью к ее жертвеннику и калялись и умоляли ее простить их за поношение. И если это не будет сотворено, то утром предстоящего дня их души отлетят в черное капище грозного бога эвенков и самоедов — Илибэм Берти.

Тывгунай медленно, как бы стараясь запомнить лица стоявших людей, оглядел толпу и вдруг, наполняясь злобой, закричал, затрясся в припадке, как он проделывал это всегда, заканчивая свои заклинания.

— Вы глупы, как выползающие на ломкий острый лед тюлени. Вы тупы, как осыпающиеся от ржавчины острия охотничьих ножей. Вам ли

устоять против грозных воителей, стерегущих покой Золотой владельницы? Знаете, как решили они наказать вас, если вы откажетесь выполнить их волю? Все женщины вашего селения от мала до велика будут тут же сожжены, и это будет большая жертва Золотой владельнице. Идите и собирайте совет стариков, решайте, жить или умереть сегодня ночью вашим женщинам. Всем, вы слышите, всем!

Грозно сведя брови, выкрикнул это Тывгунай и, опираясь на плечи тут же подхвативших его охотников, стал спускаться с пригорка.

Казалось бы, паломники немедленно должны были бы что-то предпринять, по крайней мере начать переговоры с Тывгунаем, но палуба когда оставалась безлюдной. Усиливающийся ветер, вздымая толчею волн у берега, все отчаяннее высвистывал свои разбойничьи мотивы.

Так продолжалось недолго: двери, ведущие в кормовую надстройку когда, вдруг распахнулись, и на пороге появился Меgefий, который затем в сопровождении Митродоры и Аглаи сошел на берег и направился к каменной гряде, где, ожидая дальнейшего развития событий, расположился Тывгунай.

Надобно сказать, что в свое время Тывгунай был широко известен в югорской стороне: вначале он прославился как на редкость удачливый и смелый охотник, умнейший вождь и создатель непобедимого воинства эвенков, на многие годы утвердивших свою власть на большой территории нынешнего Таймыра. Затем он стал главным шаманом почти всего Севера, недаром о подвигах его поют и рассказывают до сих пор в легендах не только старики, но и многие молодые охотники в Эвенкии, несказанно завидуя такой громкой долголетней славе.

И вот получилось так, что этот выдающийся по-своему человек оказался перед лицом совсем юного мальчишки, с которым ему предстояло, видимо, далеко не легкий разговор. Конечно, Тывгунай не верил во все эти рассказы о Меgefии, о его королевском происхождении, о том, что он способен творить чудеса, но в то же время он сразу почувствовал, что перед ним не совсем обычный отрок. Чужие, словно по ошибке данные природой мальчику, редкой пронзительности глаза Меgefия против воли заставили Тывгунаю в самом начале разговора зябко повести плечами.

«Совсем как Нглика, ну прямо Нглика мальчишка этот! — встревоженно подумал Тывгунай. — Да и вид у него и у баб этих, что с ним, тоже как наваждение Нглики!» Подумав так об одежде Меgefия и его спутниц, Тывгунай был прав: парчовый кафтан с серебристо-лиловым отсветом, обшитый по вороту и обшлагам жемчугом, такие же сапожки и шапка и бархатные, с меховыми шлейфами, платья женщин так и били в глаза невиданными здесь пестротой и богатством.

Но более всего Тывгунаю поразил тон и задиристая наглость Меgefия, когда тот, подперев левой рукой бок и отставив ногу, проговорил, презрительно оттопыривая губы:

— Плохо встречаешь нас, воин Тывгунай, а я тебе привез большое слово старшины тайного совета схимников Соловецкой обители отца Симеона.



Эти слова не только озадачили, но и испугали Тывгуная. Никто на побережье не знал и не должен был знать о его отношениях с главой соловецких монахов. Дошло бы это до местных людей — все от мала до велика, в лесах и на море тут же бы отвернулись от Тывгуная. Постоянные стычки с русскими сделали их врагами, и никто из эвенков нигде и никогда не забывал об этом. Тывгунай решил, что самое лучшее сейчас для него — это немедленно заткнуть рты паломникам. Но так как сделать это невозможно, то нужно поскорее отправить их далее, даже если и воспротивятся шаманы ызык.

— Большое слово привез ты мне, но я не могу его принять, — сказал Тывгунай, — это может сделать только Золотая владетельница или ее служители — шаманы после большого камлания.

Он внимательно оглядел окрестности, прошелся взглядом по рядам ызык, напряженно ожидающим начала расправы с русскими, и, подойдя совсем близко к Меgefию, сказал напряженно, будто не своим голосом:

— Уходи немедля, если хочешь сохранить свою голову на плечах, уходи, смерть твоя рядом...

— Не грози мне, шаман, я не боюсь ни тебя, ни твоих ызык, и пусть я юн еще и мал ростом, но моя сила намного сильнее твоей!

Тывгунай до того был поражен наглой заносчивостью мальчишки, что некоторое время изумленно глядел на него, не зная, что сказать, что предпринять, и вдруг давний страх перед чудесами, вроде бы давно забытый, неожиданно напомнил о себе. Он поежился, растерянно потоптался на месте и, стыдясь сам себя, трусливо подумал: «А вдруг этот бодливый олененок и вправду королевского рода и с детства научен управлять злом и разными колдовскими штуками?»

Меgefий тем временем выкрикнул что-то на совсем непонятном Тывгунаю языке, взмахнул раз и другой руками, и из этих рук полетели, радужно посверкивая, широкие голубые стрелы, за клубился иссиня-черный дым и во все стороны, разбрасывая тысячи зеркальных брызг, поплыло, переливаясь, голубовато-багровое зарево. И ызык, известные по всем северным землям непобедимые, бесстрашные воины ызык, хранители Золотой владетельницы, побросав луки, копья и ножи, позорно бежали от всполохов голубого огня. Долго не умолкал их отчаянный вой и судорожные выкрики...

Несмотря на решительный вид и твердую поступь Меgefия, можно было заметить, что и его «общение с духами» крайне утомило. И все же он сумел уже на ходу, проходя мимо невольно отшатнувшегося Тывгуная, крикнуть ему:

— Видел, видел силу мою?

Затем он, выхватив из-за пазухи две голубоватые каменные плитки, стукнул их одну о другую. Вновь взметнулись кверху и заплясали окрест клубы голубоватого дыма, и под их суматошное мерцание выбежавший навстречу Акинфий помог Меgefию со спутниками подняться на борт когга.

Сбросили пеньковую вервь, и ветер, тут же подхвативший кораблик, резко положил его на левый, потом на правый борт и, собравшись с силами, швырнул когг на пенный гребень набегающей волны.

Теперь на пустынном берегу, где, словно состязаясь, набирали силу песчаные вихри, стоял один-единственный человек — Тывгунай. Он смотрел вслед уходящему кораблю паломников, и на лице его все еще лежали тени недавнего страха, тени многих сомнений, которых он не мог ни объяснить, ни отогнать, ни изничтожить, и все это, как виделось Тывгунаю, будет преследовать теперь его до конца жизни.

А ведь были же и у него минуты и дни, когда он побеждал не только в сражениях с иноплеменными людьми, но и в длительных спорах с их шаманами и вождями. Особенно запомнилась Тывгунаю встреча в татарском улусе под русским городом Тобольском, где большой русский шаман Киприан собрал на совет вождей и шаманов всех дальних и ближних племен и селений.

Этот Киприан, присланный в югорские земли самим царем, говорил тогда удивительные слова: «Люди тундры и леса! Вот вы не любите русский народ, считаете его своим врагом, а почему? А потому, что живете среди постоянных войн, вечной зависти и погони за богатством и самое главное — без веры.

Вы скажете мне, что у вас есть свои деревянные и каменные идолы-боги, но они хоть раз помогли вам в чем-нибудь, дали вам хоть малое облегчение или заметное успокоение в душе? Нет, они не могут этого сделать, потому что в них не было и не могло быть ничего святого, они лишь безгласный камень и гниющее на глазах дерево. Я же несу вам вечную благодать самого большого и великого бога на небе и на земле, и светлое всемогущее имя этого бога — Иисус Христос!

Вы можете сейчас не поверить мне, и даже слова мои могут показаться вам обманными, но пройдет время — и вы убедитесь, что в этих словах только правда, без которой не может жить человек на земле, будь он русский, самоед или тунгус.

Православная вера Иисуса Христа — самая сильная и справедливая вера, примите ее, поверьте великому учению Иисуса Христа, и святость и благодать его осядут вас, наполнят души и сердца ваши светлой радостью и силой, и вы сможете с полным правом называть себя самыми справедливыми и честными людьми земли!»

Среди прочих своих достоинств Тывгунай отличался еще и редкой способностью запоминать слова собеседника и при случае без труда повторять их. Именно это он и проделал сейчас, хотя набирающий силу ветер бил и хлестал в лицо и говорить можно было только с большим трудом.

К этому времени когг паломников уже скрылся за пеленой водной пыли в бесновании вспененных волн. Тывгунай посмотрел в последний раз на море и, сугулясь, пошел вдоль побережья, твердо решив бросить на время все дела и заботы и обязательно встретиться с Киприаном, как бы далеко ни был тот от этих мест.

«Мне нужен, нужен этот человек! — на ходу упрямо повторял Тывгунай. — Пусть скажет мне в глаза еще раз: верно ли, что так велик, могущественен и справедлив его бог Христос. Скажет открыто, от всей своей души и без трусливой лжи сомнения в глазах, и тогда я поверю ему, поверю на всю жизнь!»



К этому времени ветер набрал уже такую силу, что порывам его не могли противостоять ни выросшие в песок деревья, ни россыпи источенных волнами камней. Линия прибоя, вскипая фонтанами ошалело мечущихся больших пенных брызг, словно собравшись на завоевание суши, уже наступала на скальные наслоения берега. Тывгунай, падая и перекачиваясь по песку, кое-как шел, время от времени повторяя имя Киприана и кивая приветственно головой ему, будто бы и Киприан шел, спешил сейчас ему навстречу.

Эпилог

С того времени, о котором шла речь в нашем повествовании, минуло более ста лет. На земле многое изменилось: пришли и громко заявили о себе новые люди, ушли в небытие старые веяния и законы, и лишь одно осталось неизблемым — вечное стремление человека к поискам и открытиям неизведанных земель, будь то на суше или на бурунных путях вечного и великого моря. Теперь уже и российский флаг все чаще можно было увидеть на гафелях кораблей, прокладывающих курс в тех местах, которые не так давно именовались дикими, полными тайн и необъяснимых загадок.

В послепетровскую эпоху русские корабли выходили в океаны и пересекали границы далеких неизведанных морей. Как-то один из фрегат, обогнув Таймырский полуостров, встал у его восточного берега, неподалеку от бухты, названной впоследствии бухтой Марии Прончищевой, для пополнения запасов пресной воды.

Моряки фрегата, занятые подготовкой ночных костров, не сразу заметили человека, неторопливо шагающего вдоль полосы прибоя. Когда он приблизился к кострам, то можно было видеть, что он давно уже в пути, устал изрядно и крайне обносился. Рваный, в заплатках суконный зипун, облезлая заячья шапка-ушанка, стоптанные лапти составляли его немудреный наряд. Длинная клочковатая борода и такие же усы не могли скрыть крайнюю изможденность его лица.

Остановившись у костров и отвесив общий поклон, он тут же вытащил из висевшей на груди кожаной сумки небольшой кипарисовый крест, обложенный по граням раковинами, и, сдернув с головы ушанку, запел.

Вернее, пением это можно было назвать только относительно. Он как бы вел неспешный, им же самим сочиненный рассказ, в котором отнюдь не жаловался на судьбу или дорожные трудности и не просил ничего для себя, кроме крепости духа и возможности вот так, с молитвой Господней и добрым здоровьем, продолжать свой путь.

Стоящий среди матросов один из офицеров фрегата со вниманием вслушивался в слова странника, но, видимо, так и не вникнув в их суть, недовольно морщась, спросил:

— Ты всегда так непонятно говоришь? Растолкуй-ка нам, кто ты есть, издалека ли сам и почему в одиночку бродишь по столь диким местам?

— Я есть монастырский человек обители Соловецкой Феоклист, звания паломника удостоенный для свершения забот богоугодных. В пути я почитаю пятый год подряд. Так вот, с молитовкой, и шагаю, и летом, и зимой, без перерыву...

Вскоре этого удивительного паломника окружала уже вся команда фрегата во главе с капитаном. Тот, выслушав пришельца, удивленно оглядев его, спросил:

— Пятый год, говоришь, ты в пути? Это кто ж и зачем тебя на этот путь направил?

— Никто меня не направлял, а благословил в паломничество, покуда до воды великой океанской не дойду, сам святитель Тобольский — Киприан.

— Господи! Если так и было, то это же чуть не сотня лет прошла... — проговорил капитан. — Теперь такое странствие скорее на наказание похоже: одному такой путь! Ныне науки кругом в путь пошли — науки!

Паломник Феоклист, якобы соглашаясь, склонил голову, но, как показал последующий разговор, это был только жест вежливости.

— Науки — это хорошо, это тоже промысел Божий, — вежливо проговорил он, обращаясь к капитану, — но и взор толкового русского человека ох как много значит... Время пройдет, многое на земле изменится, но деяния и поучения таких людей, как святитель Киприан, долго еще звучать будут, призывая к добру и к свету, на землях православных. Не хотел я говорить, однако, думаю, сказать надобно: я вот в пути паломническом двух братьев и племянников потерял. Люди мы не военные, а пришлось и нам, да не единожды, с людьми иноплеменными да лихими, разбойными биться, а бились мы за веру православную, за то, чтоб ей дорога была далее и далее, аж до пределов океанских без помех всяческих!.. Вот и выходит, что слово Божье да благословение святителя Киприана нести сквозь бедования и горести людские и есть проявление высот души человеческой.

— Прости, отец, прости великодушно! — как-то непривычно спотыкаясь в речи, смущенно вымолвил капитан. — Прости и благослови нас, отче. Помолись за нас, а мы за тебя и путь твой дальний молиться будем.

...Закончив молитву, матросы и офицеры фрегата тут же обступили странника, стали предлагать ему корабельные сухари, сушеную оленину на дорогу, но тот, растроганно поблагодарив их, благословил, позвал приложиться к его скромному кресту и отправился далее.

Моряки долго смотрели ему вслед, пока затянувшееся молчание не нарушил капитан:

— Вот теперь посудите сами: сколько уже лет нет на земле Киприана, а слова его живут, люди их помнят, повторяют, в пример добрый приводят, значит, верно, наполнены они силой неизбывной, что всегда рядом с верой истинной живет.

— И всегда жить будет! — добавил один из старых матросов, поклонившись в ту сторону, где уже скрылась фигура странника.

Анатолий КИРИЛИН

ОКНАМИ НА СОЛНЦЕ

Когда-нибудь не останется ничего, кроме голосов с того света...

Не дают покоя две фотографии, которые Валерий Слободчиков всюду возил с собой. Они висели на стене его кабинета в редакции «Алтайки», они кочевали с выставки на выставку (это было во времена, когда Слободчиков всерьез увлекался фотографией и выставлял свои работы в разных присутственных местах). Они были в маленькой избушке в Семеновке, где прожил он без малого три года. Сейчас они в музее Староалейки.

На выставочных стендах под фотографиями значилось: «Потерянные берега». На одной и на другой — берег реки Илим, где под баян танцуют родственники Валерия. Казалось бы, картина праздника, веселая гулянка... Но непонятная оторопь и вслед за ней удивление охватывают при внимательном взгляде на фотографии: как, каким образом удалось Валерию Слободчикову передать в этом вроде бы радостном сюжете тоску заброшенности, тревогу за одичание мира, за наши бесчисленные потери? Уму непостижимо!

Он сам родом оттуда, из Иркутской области, из деревни Большая Илимского района — когда-то крупной перевалочной базы купцов и путешественников, отправляющихся на восток. Усть-Илимское водохранилище затопило тридцать деревень, в том числе и родную деревню Валерия Слободчикова, повторившую таким образом судьбу ангарской Матеры, участь которой так трогательно и больно описал Валентин Распутин в своей известной повести.

Вот откуда у Слободчикова, оставшегося без кровного места на земле, боль за пролетающие, как косой дождь, минуты, за человеческое сиротство, за прекрасный мир, который, несмотря ни на что, держит покуда нас, неразумных, на своих ладонях.

Сам Валерий так написал об этом в предислании к книге стихотворений в прозе «Искренне Ваш» (Барнаул, 2002):

...С годами все чаще пишу некрологи
И в записной книжке черными чернилами
Подолгу рисую рамочки
Вокруг дорогих мне имен...
Но без начала конца не бывает,
и, пересилив боль сердца,
я вновь становлюсь на струну жизни,
об ушедших храню Память,
живущим несу Слово,
презирая обман и черную зависть,
под каждой строкой мысленно пишу еще тверже:
«Здравствуйте, люди, я искренне Ваш!»



Не знаю и уж теперь не узнаю никогда, почему Валерий определил эту книгу как сборник стихотворений в прозе. Вся проза (а ее не так много у него) поэтична, если иметь в виду язык, краски, тон и нерв повествования. Есть «Затеси» у Виктора Астафьева, «Камешки на ладони» у Владимира Солоухина, «Орешки» у нашего земляка Евгения Гущина: короткие и яркие заметки «на ходу» по тому или другому поводу. Видимо, к этому жанру и хотел приблизиться Слободчиков. «Узелки на память» — так определил он цикл стихотворений в прозе в книге «Передать по наследству» (Барнаул, 2008). И вот один из «узелков», названный «Отец, мы сравнялись годами»:

Стопка с водкой.
 Сверху хлеб, посоленный круто.
 На пунцовой парче награды:
 два ордена Красной Звезды
 (с уголков откололась эмаль),
 счет медалям открывает «За боевые заслуги»...
 — Здравствуй, батя.
 Сегодня 9 мая.
 Стол накрыт.
 За тобой, как и прежде, первое слово...
 Вот только дождемся к застолью внука...
 Три красных гвоздики к портрету.
 Рука молодая пробежалась
 по выцветшим лентам колодок медалей...
 — Сын, что так пристально смотришь на деда?
 — Слышишь, батя,
 вы с дедом сравнялись годами...
 Выпита стопка. Затянулась минута молчания.
 Память горько-соленой слезой
 просочилась сквозь годы...
 — Что нам скажешь, отец?
 — Спасибо за память.
 Идите на площадь,
 там люди, там всегда молодая Победа.

Родню, свои истоки, родные места Валерий вспоминает очень часто. Издавна это идет, издавна. В предисловии к своей самой первой книге рассказов «Окнами на солнце» (1979) он пишет: «Разные люди живут на моей улочке. Добрые, странные, веселые, грустные, но все они по-своему интересны. Не потому ли мама, провожая меня в дорогу, всякий раз говорила: “На письма не ленись, не забывай отчий дом, людей, среди которых вырос, помни, не чужие они тебе, ты с ними улицей нашей сроднился. А трудно будет, вспомни, что село наше стоит окнами на солнце”».

* * *

Из автобиографии Слободчикова Валерия Александровича:

Родился 19 июля 1948 г. Отец — Слободчиков Александр Васильевич, сельский учитель. Войну прошел от Москвы до Берлина, от рядового до майора. О войне рассказывать не любил. Мать — Слободчикова Нина Борисовна. Самый близкий мне в жизни человек. С начала войны и до последних лет жизни работала секретарем, а затем председателем сельского Совета, объединяю-



щего шесть таежных деревень. К сожалению, из жизни родители ушли очень рано. В 1970 г. окончил исторический факультет Иркутского пединститута. Распределен был директором Заморской восьмилетней школы, но решением Нижнеилимского райкома КПСС направлен в районную газету «Маяк коммунизма» на должность радиоорганизатора, а затем заведующего отделом писем. Писать начал еще в школе, первые стихи и зарисовки опубликованы в родной районке, в которой и довелось работать после института.

Своим приездом на Алтай, в газету «Молодежь Алтай», обязан давнему другу Харыбину Александру Андреевичу. Мы познакомились с ним летом 1970 г. на севере Иркутской области. А осенью Саша провожал меня в армию.

В августе 1972 г. он буквально подобрал меня на улицах Иркутска (прописки нет, случайный заработок) и увез на свой родной Алтай. Месяц я писал «Колонку репортера» в газету «Молодежь Алтай», а затем был взят в штат. «Молодежку» считаю первой и главной журналистской школой. Был первым свободно избранным председателем Союза журналистов Алтай, приложил руку к первому российскому Закону о СМИ...

Автор двух книг прозы (на момент написания автобиографии. — А. К.) — «Окнами на солнце» (сборник рассказов, 1979 г.) и «Бессонница» (рассказы, повесть, узелки на память, 1999 г.). Публиковался в журналах «Алтай», «Наш современник». Учредитель журнала «Рыболов и охотник Сибири». Причастен к открытию двух газет — «Охотничье братство» и «За возрождение промышленности».

На мой взгляд, в современной журналистике ощущается дефицит публицистики. А беда в том, что искусственно, через экономические рычаги, государством принижена престиж нашей профессии. В результате получается поденщина. А скороспелая картошка до новой весны не хранится. Своей профессии учился у многих хороших людей, порой даже очень далеких от журналистики. Особо выделять кого-то не хочется.

Из современников особо почитаю и ценю за творчество и человеческие качества Виктора Петровича Астафьева. По памяти много читаю из Николая Рубцова. Постоянно со мной (даже в дороге) Иван Алексеевич Бунин. Порывацки страстно люблю Аксакова. Очень давно не перечитывал Джека Лондона и Эдгара По. Добрался наконец-то до Вячеслава Шишкова и в который раз уже вместе с ним возвращаюсь в родные места, на «Угрюм-реку».

В окружающем мире хотел бы видеть больше зеленого и синего цвета. Но, к сожалению, серых тонов с каждым годом прибавляется. И все же хотел бы смотреть на мир и жить в нем с оптимизмом. Верю в человека и мать-природу.

А современникам могу дать только один совет: «Будьте здоровы и удачливы! Во благо общества!» Поверьте, я говорю это со всей искренностью, а не в поисках высоких слов.

* * *

В 2005 г. Валерий и Людмила Слободчиковы сделали, казалось бы, невозможное: они организовали и провели фестиваль «Дни сибирской книги на Алтае». В то время семейное издательское предприятие «Имидж-студия Слободчиковых» уже выпустило несколько красочно оформленных книг и альбомов, дело набирало обороты, но не хватало еще свободных средств, чтобы пойти на



Валерий Слободчиков

такие траты. И тем не менее супруги решили, что время настало! И все расходы на организацию фестиваля и приглашение гостей Слободчиковы взяли на себя. Вот что писала 16 декабря 2005 г. газета «Вечерний Барнаул»:

Фестиваль сибирской книги в Барнауле прошел впервые. Ничего подобного раньше не проводилось, но дело вышло сразу заметным — масштабным, уникальным и перспективным. В течение двух дней — 7 и 8 декабря в Краевой универсальной библиотеке имени В. Я. Шишкова проходили «круглые столы», творческие встречи и выставки-продажи книг. Не было бы в этом ничего необычного, если бы не размах: в столицу края съехались писатели, редакторы журналов и издатели из сибирских городов — Новосибирска, Кемерово, Иркутска. Москва не Сибирь, но и оттуда тоже были представители. Такая встреча назрела — долгие годы писатели различных регионов Сибири, да можно говорить — и всей страны, живут в полном вакууме. Когда-то связи были тесными, а издание и реализация книг не сравнивались с производственным подвигом. В настоящее время пришло осознание: для создания и воплощения каких-либо культурных проектов нужно объединяться регионами. В итоге и вся работа «Дней» прошла под негласным девизом: писатели Сибири, объединяйтесь!

А вот письмо по этому поводу известного иркутского поэта Анатолия Кобенкова Слободчиковым:

Дорогие Людмила и Валерий!

Рад, что организованные вами «Дни» имеют такую прессу. Хочу поблагодарить вас за хорошие дни моей жизни, которые обязаны своей хорошостью исключительно вам. Рад был побывать в вашем городе, в вашей библиотеке, в вашем доме, в котором тепло и хлебосольно. Спасибо, что предоставили возможность поклониться Вильяму Яновичу Озолину и Володе Башунову. Спасибо за библиотеку и ее хозяйшек — Тамару Ивановну и Маргариту. Спасибо, что одарили встречей с моим другом Володей Берязевым, близкими мне Сашей Родионовым и Толей Кирилинным, Сережей Донбаем и Толей Байбородинным. Спасибо за девочек — Лену и Таню, я жду от них стихов.

Обнимаю, ваш Толя.

* * *

Чтобы не возвращаться к подробностям биографии — несколько слов в дополнение к написанному самим Валерием. В 2001 г. он становится лауреатом премии главы администрации Алтайского края за цикл статей о возрождении промышленности Алтая. В мае того же года его принимают в Союз писателей России. Он был обозревателем отдела экономики и финансов газеты «Алтайская правда», главным редактором проекта «Алтай: XXI век. Имена. Дела. Судьбы», ответственным секретарем Алтайской краевой общественной организации профессиональных писателей. Последняя его должность — собкор «Алтайской правды» по Змеиногорскому и Третьяковскому районам.

Эта должность — отдельная история. За пару лет до выхода на пенсию Валерий приобрел маленький (если не сказать — крохотный) домик в деревне Семеновка, бывшем стане геолого-разведывательной партии, ныне заброшенном: всего несколько домов оставалось на этой территории, название же место получило от «настоящей» деревни Семеновки, находящейся в полутора километрах.

Появление Валерия в Семеновке и любовь к ней, по-юношески вспыхнувшая с первого взгляда, — это особый разговор. В ту пору главным редактором «Алтайской правды» был приехавший из Казахстана журналист Александр Федорович Козлов — человек своеобразный и неглупый. К тому же страстный

рыболов и охотник — на этой почве и сошлись они с Валерием Слободчиковым, оказавшим дружескую поддержку чужаку и в житейских, и в профессиональных делах, ведь пришлым ой как нелегко бывает прижиться в Сибири...

Слободчиков был отменным журналистом, но, приближаясь к своему шестидесятилетию, пресытился журналистской беготней по горло, попросту говоря — начал пренебрегать работой, сбрасывать ее на подчиненных. А в голове неотступно сидела Семеновка с домиком, с кабинетом и рабочим столом, где никто не мешает писать рассказы и повести. Козлов, помня добро и открыто называя Слободчикова единственным человеком, оказавшим ему дружеское внимание на Алтае, мирился с прохладным отношением Валерия к работе.

К тому времени число соборов «Алтайской правды», аккредитованных в различных районах, неуклонно сокращалось — оптимизация не прошла мимо главной газеты края. И вот Валерий Александрович, ни дня не собираясь задерживаться на службе, уходит на пенсию, а главный редактор жалует ему место собора по Змеиногорскому и Третьяковскому районам со штаб-квартирой в Семеновке! Таким образом статус сотрудника краевой газеты за Слободчиковым был сохранен, равно как и зарплата. И это притом, что зимой из «малой» Семеновки даже до «большой» не доберешься, какие уж там Змеиногорск и Староалейское!

Подготовка к отъезду в Семеновку, долгие и трепетные сборы сопровождались составлением планов на жизнь вдалеке от больших городов.

Людмила Слободчикова, вдова Валерия, вспоминает:

Семеновка... Очень напоминала она Валере его «потерянные берега». Чем? Сейчас трудно сказать. Может, отношениями между людьми, укладом жизни, черневой тайгой почти за калиткой усадьбы, Черепанихой с перекатиками и несметным количеством пескарей, редким изысканным хариусом... «Как у нас говорили: как в детстве!» — уговаривал он меня на Семеновку. А еще были планы вести свою жизнь на два дома: Барнаул и Семеновка. Развивать проект, который обозначили мы как культурно-просветительский и туристический. Поэтому и усадьбу взяли на двадцать пять соток, а не шесть — чтобы можно было поставить пару-тройку гостевых домиков... Говорили с Валерой о том, что будем готовить мешочки с заветными травками семеновскими, привлекать местных мастериц из окружных деревень: работы-то нет, вот бы они зимой вязали, шили, вышивали! Еще хотели делать сувениры из камней колыванских, для этого и на завод ездили, с директором разговаривали: как можно мелкие отходы использовать, как сделать дизайн современный, интересный для молодежи и людей зрелых; для этого и станок купили, чтобы мелкую работу можно было самим исполнять... Много чего было задумано...

* * *

Из окна Валериного дома в Семеновке виден частокол островерхих пихт на фоне тающего неба. Тепло пришло, отметились еще в середине апреля, да задержалось где-то, и вот уж День Победы — а все холод. Черемухи вяло зацветают по склонам, но совсем не дают запаха.

К ночи живых собеседников не остается, разбредаются ко сну. К разговору приходят ушедшие давно и не спящие нынче вовсе. Живы и неутомимы их вечные души, которые, как известно, бессонны. Коля Шпилов не добрался до Семеновки, не успел. А Валера, хорошо знакомый с Николаем, хотел бы видеть его здесь. Когда деревня была у Слободчикова еще в далеком проекте, Коля писал:



Почти десять лет бежит моя тень за тенью родины. Искать ее — все равно что искать мой городок Китаевск на пачке «Беломорканала». Я обиделся на народ, на рабствующую Россию. В 1994-м в Калуге едва не женился на хорошенькой немке по имени Петра, чтобы уехать туда, где можно немотствовать, пока не закопают в ямку. Но — хранил Господь! — на немке по имени Петра женился один мой благополучный приятель. Я потерял сон и съежился от болезненных сновидений. Лишь в разъездах «по территории» я отсыпался, потому что внушал себе надежду, что еду от тьмы к свету. Половину последнего года прошлого тысячелетия я жил у друга в заграничном уже Крыму. Спал, ел и ничего не хотел. Научился, не вставая с дивана, из положения лежа щелчком отправлять скомканную газетную четвертушку в мусорное ведро. А когда отоспался и когда смутно захотел жить, то стал смотреть в телевизор.

Я увидел в нем крупнокалиберные пулеметы на зубцах старых стен Генуэзской крепости. И это курортный Судак? И это киммерийские мои холмы? Я смотрел, как с прутьями арматуры и бейсбольными битами идут мусульманские боевики прямо на объективы телекамер...

Люди говорят, что они берут русскую землю по всему Крымскому побережью. И прошлым летом отряды меджлиса прилежно атаковали Южный берег. Идет нашествие, захват жизненного пространства для мусульман.

«Из русских тут выживут только придурки-сталкеры... — сказал некий лысый жук-носорог в ходе беседы с дятлом-телеведущим, который дробненько, с пониманием смеялся. — Объясните мне: а что такое, собственно, русские — прилагательна или существительна?»

Я бы объяснил ему по зубам, но с этим ящиком Пандоры связь, как известно, односторонняя. И они стали бойко объяснять мне, что русские — это нечто наднациональное. Меня охватила ярость. Да, нам, русским, не повезло. Выбор у нас невеселый и небогатый, но он есть. Я найду его. Так началось крымское оздоровление.

Валера читал эти строки и переживал, мучился по-своему, потому как у каждого совестливого человека совесть живет на свой манер. Она есть часть души, продолжение ее или сама душа, а та, как известно, неповторима.

Есть у Слободчикова цикл очерков, который мог бы составить целую книгу, — «Запоет ли гудок заводской?». Он первый — когда российский мир еще не насытился торжеством по поводу прихода новой экономики — засомневался, запечалился, встревожился о промышленном производстве страны, края. И как в воду глядел! Это ли не главное достоинство писателя-публициста — увидеть раньше других, предвидеть, предупредить?

Вот самое начало цикла «Запоет ли гудок заводской?» в книге «Река времени»:

...Наивно полагая, что имею право на серьезные обобщения в области экономики, я собрал в редакции представителей самых различных экономических школ и политических взглядов, чтобы ни много ни мало спросить:

— А что, отпел гудок заводской?

Что тут началось! От нашего громкого спора сотрясались все девять этажей издательского корпуса, дым стоял коромыслом, чайник кипел не переставая...

Далее Валерий Александрович приводит высказывания своих гостей, среди которых были действительно крупные специалисты и ученые. И с сожалением замечает, что рецептов, как вытянуть из ямы российскую экономику конца XX века, ни у кого нет. А что касается констатации...

Согласно прогнозу Минэкономики РФ, к 2001 году общая численность безработных в России достигнет 14,4 млн человек, что на 71 % больше, чем на первое

ноября 1998 года (8,4 млн безработных, или 11,6 % экономически активного населения)... Оттолкнувшись от сухих цифр, хочу напомнить, что когда-то существовало понятие, приравненное к лозунгу, и называлось оно человеческим фактором. Им определяли уровень благосостояния и наше место в жизни общества.

Выцветший лозунг еще в годы перестройки стали выворачивать наизнанку. Но показать другой стороной не успели, потеряв его в суете рыночных отношений. А экономика, как король без одежды, без человека осталась голой. А на что способна раздетая экономика? И кому нужен человек, оторванный от нее?

Когда-нибудь ученые-социологи и экономисты дадут оценку нынешней жизни россиян и все расставят по полочкам. Но это будет когда-то, а учиться жить надо уже сегодня.

В моем репортерском блокноте годами зашифровывались людские судьбы. Эдакие заготовки будущих повестей и рассказов. Но работа над записками «Запоет ли гудок заводской?» показала, что нельзя все припасать на потом, что есть понятия, которые, прежде всего, нужны своему времени...

Человеческий фактор... Человек. И тут Слободчиков остается верным себе: увертюра, прелюдия — как хотите, но первое слово о нем, о том самом соотечественнике, по которому эпоха катком прошла. «Сирота Казанская» — так называется... Нет, очерком это назвать — перо не подчиняется. Это плач, это стон, это оплакивание целого мира человеческого.

Автор рассказывает историю Лидии Игумновой, молодого перспективного технолога крупного завода, которая затем стала руководить учебным центром, готовящим специалистов для предприятий. Грянула перестройка, смывшая своей волной и предприятия, и учебные центры, а Лидия отправилась «челноком» на границу с Китаем. Потом — торговый «пяточок» на рынке, потом новосибирская «оптовка», потом заложенная материна квартира под товар, который похитили по дороге, потом бандиты на Казанском вокзале, спихнувшие под электропоезд тележку с товаром. Потом умерла мать. Лидия понемногу приторговывала, чтобы лишь с голоду не пропасть. Потом... Пусть автор доскажет.

...Последний раз я разговаривал с ней в августе, на ее дне рождения. Сетовала, что окончательно спивается ее родная деревня. Комок на въезде, другой на выезде. Паленку хлещут, да так притерпелись, что не берет отравы сырых.

Погуляли и мы. Негромко, но основательно. А на другой день к вечеру пришедшие на опохмел товарки нашли Лидку в петле. Она повесилась на колготках, привезенных ею накануне с новосибирской «оптовки». На диване аккуратно лежал последний наряд, а к коврику была припилена записка в четыре слова: «Виноватых нет. Просто устала».

И вот вчера мы похоронили Лидку. Сироту Казанскую. Так ее звали на городском рынке, где она держала торговое место, которое пока еще никем не занято.

А я знал Лидушку Игумнову — пепельные волосы и теплинка в огромных серых глазах. Когда-то, кажется, совсем недавно, она была своей и очень нужной на большом заводе...

Поминальный стол сдвинули в прирыночном кафе. На закрытые двери хозяин повесил табличку «Спецобслуживание».

За помин души Лидии Егоровны Игумновой пили:

Я, написавший эти строки.

Верочка, которая к лотку с рыбой пришла от ткацкого станка.

Витек, когда-то радиозаводской человек, а нынче приторговывает сигаретами.

Зареванная Маринка, по эскизам которой большой комбинат выпускал красивые ткани.

Пижон Кирилл со скобяного развала. Между прочим, автор четырех монографий.



А всего поминальный стол собрал 48 человек. И смею вас заверить, что были это еще не так давно совсем не лишние в своем Отечестве люди.

...Сердце рвать — не задача Валерия Слободчикова, задача другая — достучаться до сердец.

Вот что написал в послесловии к книге «Передать по наследству» писатель Юрий Козлов:

Вы открываете книгу и, прочтя несколько страниц, испытываете ощущение, будто из клепального цеха судоверфи попали в мир тишины и мудрого покоя. После набивших оскомину суперменов, непотопляемых сыскарей и громил мафии герои Валерия Слободчикова из другой вселенной. Они не утратили человеческих чувств и достоинства, хотя и переживают их, понимают каждый по-своему, как писано на роду. Они живут в глубинке, неторопливы, рассудительны, правдивы, духовно щедры. Вслушайтесь в слова тетки Матрены, взгляните в деда Терентича, повнимайте бабе Фросе и бесхитроственному старику Никишину, понаблюдайте не спеша за Иваном, Кешкой, Виктором Большаковым...

И за литературным героем автора — тоже. Есть соблазн поставить их в один ряд с шукшинскими пашками, веньками. Они близки, может быть, даже родня. Но дальняя. И не только географически. Герои Слободчикова живут лишь им присущими заботами, живут трудно и распевно. Они не очень громки, а их шутки неназойливы и щадящи. Но именно в этом угадываются черты характера целого народа. Немного беспечного, но и крутого: не замай!

Под статью героям и автор, который выдал на суд читателей всего себя: повествователя, рассказчика и миниатюриста, где два первые сливаются с поэтом и философом. Речь об «Узелках на память», небольших и просто крохотных по объему, но певучих и многозначных, как все живое в нашем многомерном мире.

Вчитайтесь, вслушайтесь, вдумайтесь: «Стебелек обрастает веточками и тогда становится деревцем. Человек к жизни тянется вопросами-листочками, чтоб потом в них играли ветры памяти. Вот и я хотел бы дожить, чтоб поселиться в кроне вашего сознания...»

Думается, уже поселился. Прочно, основательно, как и его литературные герои. А впереди новые мучительно-радостные поиски персонажей, образной речи, точного слова. Писательство — непрерывный процесс и днем и ночью, как работа живого сердца. Это не профессия, а особое состояние души, когда, сказав аз, буки, веди, нужно сказать еще много и непременно зажечь свою звезду победы.

Одно из стихотворений в прозе Валерия Слободчикова заканчивается так:

Нет, друг Пашка,
видно, рано ставить точку,
главного-то слова я еще не нашел...

Эта нескончаемая надежда на продолжение, на завтра, когда вот-вот уйдут пустые хлопоты и он возьмется наконец за большое, за главное, — пронизывает немалый отрезок жизни Валерия, причем той ее части, когда откладывать уже нельзя, уже некуда отодвигаться. В аннотации к его юбилейной книге «Передать по наследству» (издана в 2008 г., когда автору исполнилось 60 лет) Валерий Александрович скажет: «Но главная работа — впереди. Я живу предчувствием долгой погожей осени».

А почему нет, скажете вы, не может же, в конце-то концов, надежда быть тормозом, помехой, камнем преткновения?

Как знать, как знать...

Почему у Слободчикова было прозвище, перешедшее затем в литературный псевдоним, — Тунгус? Иногда он даже подписывался этим прозвищем. Сам он объясняет так:

В свое время я пытался отследить истоки своего рода. Отследил до времен Ермака. Был среди моих предков казак Слобода. Вместе со своей ватагой он основал немало деревень в долине реки Илим... Ну и представьте: какой казак без женщины? Брали в жены эвенкиек. Во мне есть примесь эвенкийской, или, если по-старому говорить, тунгусской крови. Мои прадед с дедом были охотниками — и я еще захватил времена, когда рядом с русскими охотничьими угожьями были тунгусские.

Или про рыбалку — ведь знатный был рыболов, удачливый:

Ну как мне не быть рыбаком, если родился и рос на реке! Больше всего запомнилось, как я поймал своего первого хариуса на таежной речушке Черная. Было мне лет семь, наверное. Дед вырезал мне тальниковое удилище, и я поймал хариуса граммов на семьсот. Хоть и ужасно боялся змей (а ими просто кишели местные буреломы), несся я к деду как на крыльях... Для меня рыбалка — это великое отдохновение. Раньше я и охоту любил, но после трагической гибели старшего брата как отрезало... В последнее время вообще рыбачу с фотоаппаратом. Благодаря ему я лучше стал видеть природу.

...Любовь к путешествиям. Здесь случай особого рода, потому как у Слободчикова — помимо нормальных желаний повидать красивые, труднодоступные места, испытать себя, посидеть у костра за ухой по-слободчиковски (когда уха практически готова, необходимо бросить в нее березовый уголек и вылить стопку водки) — зачастую была и своя особая задача. Результатом одной из экспедиций стала, например, книга «У колыбели Царицы ваз» (2003) — по сути, дневник таежного похода, посвященного 200-летию Колыванского камнерезного завода. В 1831 г. тысячеголовая артель горняков под «Дубинушку» два месяца тащила на Колыванскую фабрику глыбу яшмы, а затем камнерезы выточили настоящее чудо — Царицу ваз, которая сейчас находится в Эрмитаже. А в 1983 г. было найдено место, где от скалы была отколота эта глыба. Там установлена мемориальная доска с текстом. И вот в поход отправились одиннадцать добровольцев, разных по возрасту и по характеру. Они прошли через тайгу и перевалы путем, которым сотни работных мужиков тащили в Колывань многотонный камень...

А свой очерк «Крещение Чарышом» Слободчиков начинает так:

В хлопотах по ремонту домика в Семеновке отпуск стремительно катится к дню отъезда в Барнаул. Еще неделя, и прощай мечты о рассветах и закатах на горных перевалах, встречая и провожая которые непременно возвращаюсь к дням далекой уже юности. Воспоминания эти припорошены грустью, но, как зазимок поздней осенью, светлы и бодрящи...

— Хватит тюкать топором, — возвращает меня к обыденности голос лесника Алексея. — Звонил твой друг Кокоулин, просил передать, что на Чарыше дрова для костров нарублены, шампуры для шашлыков начищены. Труба в поход зовет!

Дом на клюшку, рюкзак в багажник — и уже через час в Змеиногорске за кружкой чая верстаем мы с Кокоулиным наш маршрут. Заботами друзей предусмотрены в нем и сплав по Чарышу, и съемки в маральнике, и как минимум дюжина сюрпризов от организаторов похода.



— И все это за четыре дня?! — ужасаюсь я. — Пожалей, Саша, мои преклонные годы!

— Кланяться будешь потом, — отмечает сомнения Кокоулин...

Александр Кокоулин был в то время начальником Змеиногорского автотранспортного предприятия, человеком уважаемым всеми без исключения, великодушным организатором, которого много раз уговаривали идти в главы администрации города... Не шел.

Думается мне, именно с его подачи Семеновка появилась в жизни Валерия Александровича Слободчикова: Кокоулин имел в этом поселении небольшое хозяйство и пару гостевых домиков — для себя, коллег и друзей. Здесь большой компанией встречали весну, проводили праздники и провожали лето традиционным гуляньем в день рождения их общего друга, державшего в Семеновке пасеку, — Ивана Ивановича Афанасьева. И запала Семеновка со своими островерхими пихтами, веселой речкой Черепанихой, сказочным Голубым озером в душу писателю, и заманила в свои росные сны, и погубила...

Выдержка из послесловия Константина Тиунова к книге Валерия Слободчикова «Передать по наследству»:

Рассказы его о жизни на берегу Илима, о быте и нравах маленькой сибирской деревни, о земляках, родных, близких не отягощены излишней сентиментальностью или нравочительностью. Они просты и правдивы. Жизненные коллизии узнаваемы, а персонажи узнаваемы настолько, что кажется, прочитанное вот-вот зазвучит на самом деле... Валерий Слободчиков наглядно показывает, как можно достичь своих целей малыми, в общем-то, средствами. При условии, что за отправную точку берется такое простое понятие, как честность перед самим собой и своими читателями. И еще одно условие — при любых обстоятельствах не изменять самому себе. Вот тогда за каждой строчкой читатель будет видеть не только маститого алтайского журналиста, а Тунгуса, бродягу с берегов Илима...

* * *

...Собирался в Семеновку Валерий Александрович медленно, надежно, надолго. Никакого секрета из своих сборов не делал, напротив, со многими в редакции делился радостью по поводу нового хозяйственного приобретения. Все, что придумало разумное человечество для ведения домашнего сельского хозяйства, было приобретено: топоры, пилы, шуруповерты, рубанки, газонокосилки. Редакционные относились к подготовке коллеги с сочувствием, а иные и помогали.

Народ всегда толпился в кабинете у Слободчикова, только теперь уж всё реже о делах говорили, у него по-прежнему холодильник был наполнен выпивкой и закуской. Сам хозяин кабинета в ту пору не брал в рот ни капли, но угощал всех и каждого с удовольствием. Более хлебосольного коллеги в редакции ни в какие времена не знали.

В выходные и последние свои отпуска Валерий мчался в Семеновку готовить для себя будущее житье-бытье; там ему помогали материалами, а порой и своими руками как местные, которые враз приняли Валерия за своего, так и змеиногорские друзья. Между делом жена Людмила разбивала сад, планировала размещение огородных посадок. Надо думать, непросто далось ей семейное решение о переезде. Ведь предстоял, простите за образ, вахтовый метод семейной жизни...

Вот и подошло время. Прощание в редакции на скорую руку, основное гулянье по поводу шестидесятилетия и новоселья там, в Семеновке. Забегая вперед, скажу, что по предположениям юбиляра гостей должно было быть человек двадцать — двадцать пять, но за столом насчитали семьдесят: приехали из Барнаула, Змеиногорска, Кольвани, Староалейки...

Говорили. Много говорили, хорошо. Желали, верили, надеялись. И все были искренни. И тот, который всегда был «искренне ваш», сидел с глазами, полными слез.

...И потекла жизнь Тунгуса в новом направлении. Что было без меня — не знаю, сам Валерий Александрович не делился. У меня однажды зародилось подозрение: без меня происходило то же самое, что и при мне. Приезжал я несколько раз, познакомился с местным народом — люди добрые, отзывчивые, некоторые говоруны не в меру, другие чересчур молчаливы. Валера ходил с кем-то из них на рыбалку, кого-то приглашал помогать гараж строить, крышу перекрывать, кого — силки на кротов ставить. А кто приходил просто чайку попить.

* * *

...В один из первых приездов хозяина дома я не застал. Дернул дверь — открыто. Зашел. Чисто, прибрано, на столе — ноутбук, рядом с ноутбуком раскрытый на романе Николая Шипилова «Псаломщик» журнал «Алтай», отмечены строчки:

Что цыгане! Русские и не заметили, как стали давно уже кочевым народом. Все эти общечеловеки и иже с ними искусно превратили нас в зрителей, которые шуршат бумажками чупа-чупсов на собственных похоронах. Мы взвесь, страты. Листва вывороченного бурей дерева, карча с иссыхающими корнями. И семья наша в третьем уже со времен падения монархии поколении, как безродная, кочевала с острова Сахалин на материк, на кузбасские шахты, к обвалам, черным пирамидам отвалов. В Пустыню Ивановну...

Вскоре и хозяин объявился — у соседей был, новеньких. И среди этих «новеньких» появился дачник, крупный предприниматель из Рубцовска, хозяин и директор промышленного предприятия. Человек интересный, хотя и молодой, но много повидавший, к тому времени он уже имел квартиру где-то в теплых зарубежах. Сам замечательный собеседник, а с ним другой — еще занимательней, этакий тип, часто встречающийся при крупных деятелях, быстро и ловко соображающий, компетентный в вопросах производства и коммерции и, в общем, не столько ценный своими качествами, сколько умеющий подстегнуть шефа. Этакий катализатор мозговой деятельности. Валера взахлеб рассказывает о своих новых знакомых, а в глазах — всмотреться повнимательней, заглянуть поглубже — та самая Пустыня Ивановна...

Вспомнился один разговор, свидетелем которого я оказался случайно. Мы тогда работали вместе в разлюбленной нашим сердцам газете «Алтайская правда», и редактор дружески наставлял будущего собкора по Змеиногорскому и Третьяковскому районам: «Да ты по очерку, по зарисовке о жителях обеих Семеновок сделай — работы на пару пятилеток. Знаю деревню, там что ни дом — государство, что ни житель — академик...»

- Ну и где твои академики? — спрашиваю.
- Да двести строк с меня уж месяц трясут, некогда!
- А зарплату отнимут?..



— Да пошла она, эта зарплата!

И без перехода начинает мне рассказывать что-то вроде анекдота. Из жизни.

— Приехали ребята, засиделись, я, как всегда, чай да кофе поочередке, мужики — водочку. Время уже далеко за обед, а я вспомнил, что фонарь-то уличный у меня не работает! Ночь настанет — носы тут гости порасшибают, не зная тропок... Звоню Кыле, электрику местному, вообще-то он Николай и фамилия у него Голов, но семеновские прилепили: Кыля да Кыля. Приходит. Ну, понятно, первым делом за стол. Стопка, другая, третья. «Э-э, — говорю, — братан, так ты у нас до столба не доберешься...»

Все, в момент Кыля натягивает когти, ремень. Полез. Возится, возится, а дело что-то не идет. «Мужики! — кричит сверху. — Вам там не сильно хорошо, без меня-то?» Короче, придумали мы ему такой поставец на веревочке, стопку наливаем — и туда. «Не частит ли?» — думаю.

А мужикам игра понравилась. Поиграли-поиграли да и забыли. И я-то — не пил ведь! — а тоже забыл. Тут бежит — аж трава вянет от матюков — Иван Иванович Афанасьев: «Паразит ты этакий! — добегают он до столба. — Там свиньи голодные изорались! Мне вот делать больше нечего, за тобой бегать!» И тут, ясное дело, взоры наши устремились горе. А там Кыля повис на ремне да когтями уцепился — и спит себе без заботушки! Кое-как разбудили...

— Пишешь? — спрашиваю напрямую.

— Да вот повесть закончил было, но понял: не то. Сжег все листочки мои. Сейчас новый замысел вынашиваю.

— А что листочки-то, Валера? В компьютере взял да стер, а потом, глядишь, подправил...

— Так я его еще не освоил, — простодушно отвечает Валерий Александрович. — Стоит вот, своего часа дожидается.

Я ушам своим не поверил: год прошел, а он, видишь ли, «не освоил»!

— Давай, садимся прямо сейчас, осваивать будем.

— Да ладно, баню надо готовить, у меня веник с можжевельной веточкой, вот где аромат! А это, — он небрежно кивнул на компьютер, — чего там осваивать, время выберу — за вечер управлюсь. А завтра на Алей поедем, место одно знаю, там сорога — на ладони не помещается!

— Подожди, — прервал я его, — а как же ты материалы в газету передаешь?

— По телефону надиктовываю стенографистке.

То есть как полвека назад. Я-то уж, честно говоря, думал, что их, стенографисток, давно посокращали за ненадобностью. Неужели специально для Валерия Александровича держат? Или есть еще такие же мастодонты?

В ходе нашего разговора позвонили из редакции, напомнили про двести строк.

— Что, материала не хватает? — поинтересовался я.

— Да ну, полна коробочка, только сесть и отписаться.

— Ты утром во сколько встаешь?

— В половине шестого, когда в шесть

— Значит, так, — начал я проявлять инициативу. — С рыбалкой успеется. И лично я раньше половины восьмого подниматься не собираюсь. А ты встаешь в свой час и обрабатываешь газетное задание. Потом мы завтракаем,

и, глядишь, в конторе рабочий день начнется. Передали материал — и на рыбалку.

Честно сказать, я чувствовал себя идиотом. Я кому даю наставления? Опытнейшему газетчику, который все газетные правила и законы знает вдоль и поперек! С другой стороны, я же вижу: с ним происходит что-то непонятное, выходящее за пределы его натуры.

Утром нахожу его на летней веранде. Перед ним чашка кофе (подумал, это не первая и не вторая за сегодня), пепельница с горой окурков. А глаза счастливые и смотрят куда-то сквозь меня! Я даже обернулся, но не увидел ничего, кроме ярко зеленеющих склонов, облитых утренним солнцем, и легкого облачка, спустившегося к самому изножью сопок.

— Сделал?

Он махнул рукой, дескать, пустое! И на рыбалку мы в тот день не поехали. Чем занимались? А вот и не вспомню. Там, как оказалось, можно ничем не заниматься — и день упустить как песок сквозь пальцы.

* * *

Семеновка — рай земной на южной границе Западно-Сибирской низменности. Она расположилась в чаше, окруженной сопками, поросшими где можжевельником, черемухой и другим мелколесьем, где пихтачом. С северо-востока ее огибает речка Черепаниха, а немного пройти по склону на запад — открывается великолепное озеро Голубое. Оно скорее бирюзовое, временами изумрудное — из-за обилия растворенного в воде медного купороса. Да мало ли сопок с пихтачом и чудесных озер в предгорьях Алтая, в горах? Но это место какое-то особенное, зачарованное, что ли.

Сколько я ни приезжал в Семеновку к Слободчикову, распорядок наших дней почти не менялся. Я встаю, занимаюсь огородом, складываю дрова в поленницу, сколачиваю углярку, попросту — ларь для угля, а то он с прошлой осени, как завезли, навален посреди усадьбы. Да мало ли дел в деревне?! Валера сидит на веранде за чашкой кофе и прикуривает сигареты одну от другой...

Мимо усадьбы проходит Гера Былин из большой Семеновки.

— Пошли хайрюза ловить! — зовет он Валерия.

Тот отмахивается, как от чего-то давно надоевшего.

— Вон с ним, — показывает на меня, — идите.

Нашлись подходящего размера бродни, снастей у Слободчикова — на взвод хватит. Идем тропкой вдоль Черепанихи, цепляясь за кусты, путающиеся в ногах, за траву, а у меня из головы не уходит тот первый Валерин хариус, которого сломя голову несся он деду показывать...

Через пару дней тормозит на дороге возле домика здоровенный трехосный ЗИЛ. С подножки соскакивает высокий черноволосый красавец лет сорока. Мне представился, назвавшись Сергеем.

— Капканы на медведя поставлю. Да участок свой проведать надо, лесу наваяло.

— Можно я с вами? — загорелся я.

— Там... — Сергей помялся, — силенка нужна будет, да и ночевать в сторожке придется.



Но в конце концов согласился. Я быстро собрался, и мы двинулись в путь. Первая остановка на поляне в глубине тайги.

— Ага, побывал мишка! — Сергей осматривает пустые фляги, тросами прикрепленные к деревьям. — Я его прикармливал тут, ну, чтоб в другой раз пришел.

Мы вытащили из кузова фляги с тухлятиной (человеку близко не подойти из-за вони, а медведь любит!), разложили по опустошенной посуде.

— Придет?

— А куда он денется! — весело заверил охотник.

Едем дальше. Тайга, луговина, опять тайга. А вот и новое знакомство — речка Аргуниха, впадающая в Черепаниху. Конец маршрута — избушка охотника, Сергеева избушка. Он охотник-промысловик, настоящий, с лицензией, с закрепленным за ним участком.

— Я официально в охотниках с восемнадцати лет, — говорит он. — Всего восемьдесят четыре соболя добыл, не много... Это вот Брагин луг, зовется так по имени бывшего охотника. Чуть повыше избушка дяди Лехи Ананьева, завалилась...

Я таскаю воду из рядом бегущей Аргунихи, Сергей налаживает лежанку для меня, готовит еду.

— Охотников-то у нас хватает, да все больше так, вольные стрелки. В Семеновке зарегистрированы три ружья, а на самом деле сорок шесть стволов, это про которые я знаю... Да к добру бы! То и дело самострелы, из-за баб, представляешь? А там бабы — название одно! Так и живем: молодые пьют — мозгов нет, старые — жизни нет. Сын до армии говорит: «Я как отец жить не буду! — А как будешь? — Посмотрим...» — Сергей задумался, помолчал с минуту. — Нам ведь ничего от власти не нужно, оставьте школу, фельдшерский пункт и почту. Все!

Отвечеряли, спать легли. А утречком в тайгу, там работа. Сергей «Дружбой» распускает поваленные стволы на чурки, я загружаю их в кузов, который через пару часов кажется мне бездонным. Чурки — едва в обхват, а то и больше. Охотник неутомим, а мне — куда деваться?! — отставать нельзя. Жара наступила, а мы все пилим и грузим... Но вот, наконец, подошла очередь хлыстов — на прожилины для забора, — это полегче.

Закончили, пора в обратный путь. Домой дорога, как всегда, веселей и короче. Сергей рассказывает:

— Младший мой — вот настоящий сельский житель. Придет к коровам — разговаривает с ними, ласкает. Дотошный. Разберет что из техники — собрать не может. Ну хоть разберет, поинтересуется. Старший пришел из армии — невесту нашел в Новокамышинке, старше его, городская. Дома не видим. Мать: вот, дождалась солдата, навоз выкидать некому! С пчелами не помогают — не приведи бог, укусят! Лучше мы, мол, картошку тяпать. А уж ненавистнее этого занятия для них нет... Восемь дней дома не был, уезжал — полный порядок оставил. Приехал, смотрю, свиньи пролет у забора снесли, в огород ломанулись. А на что они мне, свиньи? Привычка! Свинья за два года даст привесу с центнер, а сожрет тонн пятнадцать. Да что я, мяса не добуду? — Сергей усмехнулся невесело. — К собакам хожу жалиться, вот те меня понимают. А в деревне одна алкашня. Петли поставили — лось попался, на лося медведь пришел, тоже попался. А эти охотники — слов нет! — давай пить. Сгноили



и того и другого. Жить им плохо! Я тут как-то лосенка увидел. Ружье вскинул — а лосенок этого года, мамку, видать, грохнули, вот ходит ищет. Подходит ко мне и мордой чуть не в ствол тычется... Через четыре дня убили, родственник мой, дядька. Так я с ним по сей день не разговариваю. Что, с голоду пухнете? А у меня самого на тот раз, точно, дома шаром покати, а тут мамкин день рождения на носу. И вот через пару дней я беру хорошего сохача. Бог, он там все видит и все направляет...

Валерий Александрович встречал нас за оградой, машину издалека услышал.

— Возвращаю в целости и сохранности, — обратился Сергей к хозяину и кивнул в мою сторону. — Ничего, выносливый!

Вечером за чаем меня так и подмывало спросить, не писал ли Валерий про Сергея? Да и так догадался: не писал. И еще удержал от вопроса взгляд Сергея, брошенный как бы вскользь на Валеру при прощании. На чужого посмотрел.

Из книги Валерия Слободчикова «Окнами на солнце»:

Места, где я родился и вырос, наделены памятью. А вернее, я, мои земляки и наши далекие и близкие предки наделили их ею...

За старой почерневшей ригой пацаном в прятки играл, в логах за селом копы возил, в черемушнике, от которого по весне на всю округу дурман, в любви признался...

Деревня-улица. Козырек над рекой. Где бы я ни был, а спроси — отвечу не задумываясь, без запинки: на околице Ступиных дом, под тремя тополями Пановы живут, у них в соседях Николай Черемных, а двор моих родителей сросся заборами с пятистенком Алексея Ивановича Козырева...

Всех из той далекой жизни помнил Валерий Александрович, все вошли героями в его пронзительные рассказы. Все. Оттуда. Издалека.

...Валерий задумчиво смотрит вдаль, в руке сигарета, перед ним — чашка с недопитым кофе. И я вдруг подумал: а как же он тут зимой? Снежные заносы, безлюдье, никаких тебе гостей, никаких дачников и туристов. С одной стороны — красота, ничто и никто не отвлекает, сиди себе и пиши, а с другой — все-таки привык на людях жить. Потом я узнал, что он зимой частенько сбежал из Семеновки. В город, домой навевывался, а то и неделями жил. Уезжал в горы, в тайгу, на Белое озеро в Кольивань несколько раз ездил на подледный лов, там он желанный гость — стол, ночлег обеспечены.

А компьютер ждал и ждал своего часа... Однако к концу второго лета Валерий Слободчиков написал главному редактору заявление с просьбой уволить его по собственному желанию.

Из воспоминаний Людмилы Слободчиковой:

...Ничему из наших прекрасных замыслов не суждено было свершиться. Валера не отказывался, не противоречил, не бунтовал, но главным словом стало «потом». И первое, что я поняла, — строить мы ничего в Семеновке не будем, дай бог содержать то, что есть. И туризм тоже развивать не будем — мне одной не вытянуть. Он мог часами наблюдать с крыши дома за рассветом, движением облаков, неспешной семеновской жизнью, выстраивать какие-то свои планы, проекты, сюжеты, как говорим мы, психологи, «во внутреннем плане», выкуривая сигарету за сигаретой и выпивая несметное количество кофе. Все реже и реже он писал, но, созерцая, уставал или перегорал, и было такое впечатление, что он уставал от своего внутреннего созерцания — как от тяжелой работы. Просидит несколько часов на одном месте, а потом встанет: «Я устал, пойду отдохну». Физически был здоров и крепок, но говорил о себе часто как о больном, старом и немощном.

Три зимы и три лета прожил Валерий Александрович в Семеновке. На четвертое лето, а вернее еще с весны, его начали донимать какие-то непонятные болезни. Он лечился и вроде бы успешно. Во всяком случае, когда мы в то лето встречались с ним в городе, выглядел он вполне здоровым. Да я думаю, он и был здоров. А из Семеновки в то лето он уехал. Насовсем.

* * *

...Я мало что знаю из жизни Валерия Александровича Слободчикова, куда меньше, чем знал бы по-настоящему близкий ему человек. Многое он почему-то утаил. И не только от меня. Но...

«Красная книга любви» — это из стихотворения в прозе «Размышления на медвежьей шкуре». В «Красную книгу любви», по мнению Валерия Слободчикова, пора тем, кто верит в любовь как в чудо, кто далек от прагматизма, когда дело касается этого самого удивительного чувства, дарованного человеку. И пускай некоторые псевдоноваторы считают писателя Слободчикова старомодным. Я их адресую к его рассказам.

Он ушел, не изменив этому своему отношению к чуду, может быть, разочаровавшись в чем-то другом, тоже очень и очень важном, когда кажется, что силы жить и любить уже неоткуда черпать. Когда он заболел, доктора помогли, но организм отказался помогать докторам.

А еще я думаю о том, что Семеновку, эту сказку земную, нельзя было подпускать к себе так близко. Или себя к ней. Эдак тоже, на мой взгляд, верно. Так же как писателю не стоит погружать в жизнь себя самого полностью. Может быть, надо все-таки чуть отойти от нее, посмотреть со стороны. Иное опасно. Затягивает. Становится главной твоей сутью. А возвращение к родному очагу тянет за собой неотвратимую привязанность к другому, тоже ставшему родным дому, который оставить нельзя, но и жить в нем уже не вмоготу. Вот и получился, как в Священном Писании, — дом, разделившийся сам в себе.

Постскрипtum

Через пять с половиной лет после ухода Валерия Александровича мы с его вдовой Людмилой решили проехать по тем местам, где прошли последние годы Валерия Слободчикова. Побывали на Кольванском камнерезном заводе, зашли в гости к бывшему директору его, нашему общему другу, человеку влюбленному в камень, Борису Григорьевичу Пчелинцеву. Повечеряли вместе с ним на Белом озере, даже рыбачить попытались. Пять чебаков — вот весь наш улов. Но, как бы там ни было, отметили памятное место по-рыбацки. Потом был музей в Староалейке, где Валерию Александровичу отведена целая комната: тут книги, записи, рабочий диктофон, дипломы и, конечно же, фотографии.

И вот — Семеновка. Дорога знакома, она теперь не лучше и не хуже, та же щебенка, лишь местами уцелели куски асфальта, что только портит и без того не очень гладкое полотно. И деревни на местах — Первокаменка, Новокамышенка, Шипуниха, Семеновка. Доезжаем до Черепанихи — оп-па! А моста-то нет!

Навстречу попался паренек и, спасибо ему, объяснил: чуть ниже по течению есть брод, хороший, проедете. Потом уже мы узнали: по нашему старому

хилому мосточку решил проехать ЗИЛ, груженный кирпичом, — вот и не стало мосточка.

Сразу к усадьбе решили не идти, будто опасаясь чего. Новые хозяева... Кстати, дом приобрел тот самый коммерсант из Рубцовска, который построил базу отдыха на берегу Черепанихи. Народу там и этим летом хватает, я насчитал с десяток автомобилей.

К кому же пойти? Лесник Алексей перешел работать в Тигирекский заповедник, вряд ли сейчас дома. На заимке Кокоулина тоже вряд ли кого найдешь: умница, авторитетный руководитель и организатор Саша Кокоулин умер спустя два с небольшим года после Валеры. Иван Иванович и в доброе-то лето больше по выходным бывал здесь, занимался своей пасекой, а нынче пчелы не работают, меда будет мало. Погода им не нравится или еще что... Охотник, пасечник и философ из Кольвани Павел Шишов сказал нынче, когда мы в гостях у него пили травяной чай с медом свежей качки:

— Однако, пчела скоро совсем уйдет с Земли.

Остается друг сердечный, вечно неунывающий Кыля. Мне он запомнился радужной улыбкой и вечными поисками своей буренки: любила коровка забираться куда подальше, тоже — натура! Меня прежде всего удивило обилие травы, чертополоха и крапивы, да рослое все, мощное — ничего за зарослями не разглядеть. Подходим — а дом-то не узнать, другой дом на месте Кылиного.

— Ой! — спохватилась моя спутница. — Забыла сказать, дом ведь у Кыли сгорел, новый он отстроил.

А хозяин уже спешит к нам навстречу. Росточком невелик, над бурьяном мелькает лишь его макушка. А все тот же: волосы до плеч, улыбка до ушей...

— Ух ты! — радуется. — Приехали, молодцы какие! А я тут забегался, корову ищу.

Тут уж пришло время мне хохотать:

— Постарела, а все бегаешь?

— Да эта уж, однако, третья с той поры.

— Ну, знать, судьба!

Новый дом у Кыли получился, на мой взгляд, не хуже старого — просторный, светлый. Правда, в некоторых комнатах еще не закончена отделка. Зная Кылино философское отношение к жизни, я подумал, что доделки могут продолжаться долго. А удивила больше всего жена его, Надежда. Много ли времени прошло, как сгорел дом со всем имуществом (спасти успели документы да кое-что из хозяйственной утвари), а она новых вышивок наделала: на каждой стене по несколько штук, а на двух стенах — настоящий вернисаж. И вышивки — поверьте! — настоящие произведения искусства! Это ж надо, у них дом сгорел, а они вышивают!

За чаем хозяева рассказали, что новый дом помогали им строить миром. Среди помощников — и сын Валерия Слободчикова, Антон, который обеспечил им получение приличной суммы через банковский союз, где он работает. Не знаю почему, но это известие наполнило меня гордостью за друга, известного своей щедростью, за его сына, проявившего участие к тем, кто когда-то был рядом с отцом... А есть еще внук Семен, который скоро станет совсем взрослым и увидит мир своими глазами. И мир этот будет отличаться от того, что видели отец и дед. Но что-то все же останется, это непременно.



И еще одно. Рассказывая о пожаре, Кыля упомянул портфель с бумагами Валерия Александровича, который тот, уезжая из Семеновки, оставил ему на хранение. Сгорел портфель, сгорели бумаги. Что в них было — теперь никому не узнать. Может, то самое, из-за чего Валерий в свое время удалился от привычной обстановки. Или часть того самого. Или самое начало...

Заехали попроведывать озеро Голубое. Тут все без изменений — на берегу компания молодых людей, приехавших сюда на машине. В какой-то момент мне показалось, что это та самая компания, что застали мы здесь восемь лет назад. И та же машина — потрепанная иномарка, и та же музыка, ревущая из автомобильных колонок, и то же наше недовольство: приходишь сюда насладиться красотой и тишиной, и всякий раз кто-нибудь помешает. И ничего не поделаешь, мир стал доступен во всех уголках... Ладно, бог с ним, с миром... Но показалось в какой-то момент: ничего и вправду не изменилось — сейчас мы поплаваем немного и отправимся назад, к тихому домику на самом краю Семеновки, а там поджидает хозяин, уже чай настоял на травках по собственному рецепту...

И вот мы подъезжаем к бывшему домику Валерия Александровича. От объездной дороги, откуда он сделал въезд в гараж, все заросло непроходимым бурьяном. Заходим с другой стороны, здесь тропа, пробитая в таких же зарослях, в коих утонула вся Семеновка. Вот двор — и тут ничего не узнать, разве что куст черной смородины, живущий еще со времен стариков, хозяйствовавших здесь до Слободчикова, весь сплошь усыпан спелой ягодой. Видать, новым хозяевам она без надобности.

Веранда, где Валерий любил сиживать с неизменной сигаретой и чашкой кофе, завалилась, а посреди огорода расчищен пятачок, где топорщатся кустики помидоров, еще какая-то зелень... Деревья сада, разбитого супругами Слободчиковыми по периметру участка, едва проступают сквозь стену все того же бурьяна. И показалось мне в этот момент, что никакими силами его уже не одолеть, что, как предсказывает Павел Шишов, уйдет с Земли пчела и, вероятно, еще многое из того, без чего природе не сохранить равновесия, и все земное пространство заселит вот эта зеленая дурь, от которой ни животине, ни человеку пользы нет.

...Нас окликнул молодой человек, незаметно подошедший со спины. Оказалось, что это работник базы отдыха, он живет здесь во время своей смены. То есть, как мы поняли, люди исправляют свои обязанности на базе вахтовым методом, а домик Слободчикова используют в качестве общежития — стало быть, хозяина в нашем привычном понимании здесь нет. В сам дом мы заходить не стали, единодушно отказавшись от возможности заглянуть внутрь. Что нас там может ожидать?

Тем временем небо начали затягивать низкие тучи, мы рассудили, что дождь может поднять уровень воды в Черепанихе так, что нам не одолеть переправу, и заспешили в обратный путь.

Несколько шагов к машине, оставленной чуть в стороне, — и ни домика, ни усадьбы уже не видать. Лишь чуть поблескивает над мощным травостоем конек металлической крыши. Еще десяток метров — и все, сплошное зеленое пространство. Как и не было... «Чего, чего не было-то, а что было?» — спрашиваю себя, оглушенный всем этим мороком, этим утонувшим в беспощадном зеленом

море прошлым, явившимся сегодня не в сладких воспоминаниях и картинах, а в полной заброшенности. «А что ты, собственно, ожидал?» — опять задаю себе вопрос. И нет мне ответа.

...В большой Семеновке единственный визит — к Герману Былину, тому самому, который водил меня на Черепаниху ловить хариуса.

— Как рыбалка? — спрашиваю у хозяина, который почти не изменился за эти годы.

— Помаленьку, — пожимает плечами. — Далеко и надолго теперь не хожу, жена сильно болеет, оставлять одну опасно.

Жена его, Лида, бывший директор школы, как ни болеет, а цветник содержит в идеальном состоянии. Кстати, узнал я, школу в Семеновке закрыли, и мне тут же вспомнился охотник Сергей, который когда-то этого опасался. Случилось.

...Дорога в обратную сторону: Шипуновка, Новокаменка, Змеиногорск. Ничего в этой жизни нельзя отмотать назад. Может, и не надо. Вернешь потерянные берега — а они, против ожидания, окажутся совсем другими. Потерял — ну что ж, где-то есть брод вместо мостика, и это какой-никакой выход. У кого-то на месте бывшего пепелища — новые вышивки, у кого-то — невиданной красоты цветы на самой окраине жизни...



Владимир ЯРЦЕВ

МОЙ ПЛИТЧЕНКО

Двадцать лет назад, 8 ноября 1997 года, безвременно ушел из жизни новосибирский поэт Александр Иванович Плитченко.

Если автора этих заметок обвинят в необъективности, возражений не последует. Потому что трудно оставаться беспристрастным, когда пишешь о человеке, который если не переломил твою судьбу, то уж наверняка круто изменил ее в лучшую сторону. Так что будем считать, что с жанром определились: субъективные заметки. Они, должен предупредить, фрагментарны и ни в коем случае не претендуют на всеобъемлемость.

Дом на улице Фрунзе

В 60-е годы прошлого столетия историко-филологический факультет Новосибирского пединститута располагался в деревянном двухэтажном доме на улице Фрунзе, 1, построенном, по всей вероятности, еще до революции. Могучие бревна, из которых дом был срублен, не то чтобы потемнели от времени, а как бы обуглились. Дом был крепким. Бревна, если по ним постучать, звенели. Этажи в доме были высокими, и соединяла их крутая деревянная лестница в два пролета, которые книзу расходились под прямым углом друг к другу. Между пролетами располагалась площадка, сложенная из таких же — не досок — плах, что и ступени.

Шел второй семестр (я учился на первом курсе), во всяком случае, зима 1963 г. катилась к весне, когда я впервые осознал, что вижу самого Сашу Плитченко, о котором на факультете уже тогда говорили, что это «настоящий живой поэт». Конечно, мы проходили мимо друг друга и раньше на наших общих перемещениях между парами, и не раз, но память этого не сохранила. Однако кое-что о нем я знал: посещает городское литобъеди-

нение, руководимое Ильей Олеговичем Фoniaковым, учится на третьем курсе, ему 20 лет, а стихи его уже публиковались в литературных разделах новосибирских газет. Правда, стихов этих я тогда не читал, что не мешало мне относиться к их автору с пиететом.

И вот теперь «настоящий и живой» стоял на той самой площадке, соединяющей пролеты институтской лестницы, и выслушивал строгую нотацию женщины из деканата. Классная дама с каким-то воодушевлением отчитывала студента, который до поры до времени терпел нескончаемый, казалось, поток упреков в свой адрес молча. А потом вдруг прервал даму на полуслове, указав пальцем на простенок, обклеенный объявлениями: «Вы бы лучше за этим смотрели». Медленно спустившись вниз мимо конфликтующих сторон, я не поленился вновь оказаться на площадке, когда они разошлись. «Товарищи мужчины!» — крупными буквами начиналось одно из объявлений о каком-то сугубо мужском мобилизационном мероприятии. Можно было бы это обращение к сильной половине факультета принять за неудачную попытку юморнуть, но короткий текст, написанный телеграфным

стилем, пестрил вовсе не шутивными, но отборными, идущими от полной безграмотности автора орфографическими ошибками. Типа «смитана» и «маеор» в диссертации одного неприятного персонажа из катаевской «Фиалки запоздалой». Конечно, объявление вскоре сняли, но случай этот сильно подкосил мою веру в «богоизбранничество» студентов истфила. Потом я еще много раз видел Плитченко и на факультете, и в институтском общежитии на Ленина, 48, но познакомиться с ним так и не решился. А после третьего курса он ушел из института.

Вот как писал сам поэт о том периоде жизни в автобиографии для книги «Писатели о себе», которая вышла в Западно-Сибирском книжном издательстве в 1973 г.:

Приезд в Новосибирск, три года учебы в пединституте дали мне много — почти всех моих теперешних товарищей. И в это время я много и постоянно сочинял, однако от всего осталось два-три стихотворения. Они-то, как оказалось потом, и выводили меня на свою тему (а тема лирического поэта — это его жизненный опыт, его жизнь), но все эти три года я стремился удивить товарищей, руководителя литобъединения Илью Фоянкова, поразить аудиторию, понравиться девушкам. Писал о городе, которого не знал и не любил, писал о любви, которой не понимал и не видел.



Александр Иванович Плитченко

И, может быть, с некоторым запозданием понял, почувствовал, что надо на что-то решиться, изменить жизнь, чем-то пожертвовать и заниматься единственным делом — всерьез.

В шестьдесят третьем году я оставил пединститут, уехал в Каргат к родителям и в том же году был призван в ряды Краснознаменного Тихоокеанского флота. За четыре невероятно трудных и счастливых года были написаны и опубликованы в Новосибирске и Владивостоке три первые мои книги.

Снова мы встретились и по-настоящему познакомились с Александром Плитченко лишь четверть века спустя. Но об этом несколько позже.

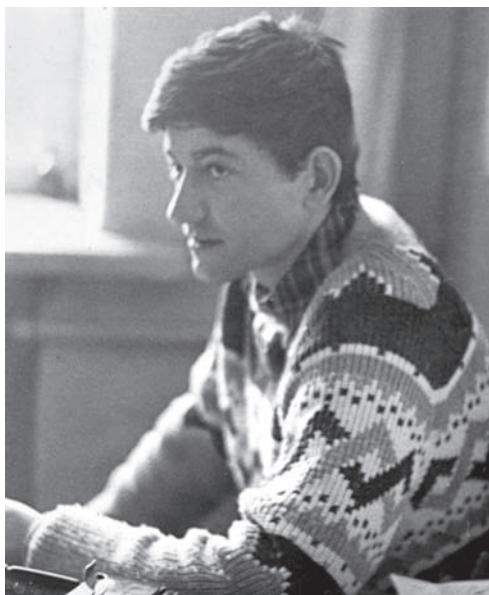
**А. Плитченко
(первый справа)
с сослуживцами
на о. Аскольд.
Середина 60-х гг.**

Ранний Плитченко

Не знаю, как это бывает у других, но у меня то значительное или, скажем так, существенное, что было прочитано смолоду, врезалось в память навсегда. И по-особому воспринимается в течение всей жизни. Ранние сборники стихов Плитченко, которые с завидной методичностью, с интервалом в один-два года, выходили в Новосибирске и Москве, я покупал регулярно. Книжечки были тоненькие, так что пролистать (и прочесть) их от корки до корки не составляло труда. Стихи любого автора я тогда оценивал на уровне «нравится — не нравится», и то, что выходило из-под пера Плитченко, мне нравилось.

Тут я должен сделать небольшое, но необходимое, как мне кажется, отступление. Еще в старших классах я начал читать необыкновенно популярный тогда журнал «Юность», который выписали для меня родители и который считался самым поэтическим в стране. Главным редактором журнала был Валентин Катаев, охотно публиковавший стихи Евтушенко, Вознесенского, Ахмадулиной, Рождественского. А на первом курсе института мне каким-то образом удалось раздобыть не то хрестоматию, не то антологию творчества поэтов Серебряного века. Они произвели на мой «неокрепший» ум неизгладимое впечатление! Несмотря на то, что вся компания представленных в книге совершенно разных поэтов во вступлении была причесана составителями под одну гребенку — проповедующие упадничество декаденты.

Так как я уже был неплохо знаком с образцами «высокой» советской и «упаднической» дореволюционной поэзии, то считал себя по сравнению, например, с однокурсниками, читателем достаточно подкованным. С самомнением тогда у меня, семнадцатилетнего юнца, вчерашнего деревенского парнишки, которого по семейной необходимости отправили в



После демобилизации. Вторая половина 60-х гг.

первый класс пятилетним, было все в порядке. На хромой козе не подъедешь!

И то, что стихи раннего Плитченко, поэта совсем еще молодого и малоизвестного широкому читателю, были мне симпатичны, обсуждению не подлежало. Нравилась — и все тут! И поныне нравятся.

Особенно я был неравнодушен к тем небольшим по объему вещицам, где присутствовали воздушность, акварельные легкость и свежесть.

Я приведу здесь две миниатюры, взятые из книг «Аисты улетают за счастьем» и «Стихотворения», изданных в Новосибирске соответственно в 1966 и 1968 гг.

Первая:

**Ночь пролетела, проплыла,
В реке колечко утопила.
И два далекие весла,
Как два далекие крыла.
А утром
Осень наступила.
Молчу
И по траве иду.
Она поникла и остыла.
И веточка дрожит в саду,
Где птица летняя гостила.**

И вторая:

**Ясная ночь была холодна.
Вымерзли лужи до дна.
От ясной ночи остался лишь
серебряный холод крыш.
От ясной ночи осталась одна
подтаявшая луна.
Ясная ночь, она позади.
Синь-холодок в груди.
За огородами, у огня
четыре
белых
коня.**

Не правда ли, эти два крошечных этюда, родившихся в разное время, как бы перекликаются, дополняют друг друга? Написаны они были в разных концах страны, но источник у них, как мне кажется, один — малая родина поэта, впечатления ранней юности. Вы ощущаете, насколько они утренние, прозрачные, эти стихи? С той только разницей, что первое из них — о начале осени, ее преддверии, когда августовское тепло нехотя уступает место сентябрьской прохладе, а второе — об осени поздней, с крепкими ночными заморозками, оставляющими после себя ледок да серебряный иней на крышах. И совершенно неважно, что одно написано четырехстопным ямбом, а другое — дольником (паузником), в основу которого положен трехстопный дактиль. Рядовой читатель не вникает в премудрости поэтической техники. Но он вряд ли не отметит очевидную удачную метафору в первом стихотворении, где под колючком подразумевается ночное отражение луны в воде, исчезнувшее утром. А читатель поопытнее, может быть, и задумается над толкованием двух последних строк первого четверостишия: когда, собственно, был слышен плеск далеких весел — на исходе ночи или ранним утром? Еще летом или уже осенью? Или не слышен, а виден? Образ, равно обращенный как к слуху, так и к зрению?

Интересно ведь поразмыслить, как оно есть на самом деле...

Но неблагодарная это задача — разбирать стихи по косточкам. Две чудесные лирические миниатюры, навевающие светлую грусть, создающие настроение у каждого, кто их прочтет. Между прочим, во втором стихотворении в более ранней его редакции, смутно вспоминается мне, кони стояли не у огня, а у плетня... Не берусь судить, какой вариант предпочтительнее. Огонь вроде значительней, а плетень колоритней.

Но не только подобного рода акварельные этюды составляли первые книги Плитченко. Помните, он сказал: «Тема лирического поэта — это его жизненный опыт, его жизнь»? Именно этот опыт, пусть он был пока невеликим, и ложится в основу его стихов в 60-е гг. В них присутствует не только природа, они густо населены людьми: здесь и мама, и старший брат, и любимая девушка, и деревенский чудак — пастух Гриша Стрельников, и безымянный старик-лодочник, и другие односельчане... И, конечно же, сам автор, превратившийся в одном из стихотворений в «Пикассо районного масштаба», рисующего по поручению старших товарищей голубей к Первомаю. И все это не ходульные «персонажи», не безликие тени, но действительно живые люди, каждый со своим нравом, со своими движениями души и переживаниями, с достоинствами и недостатками. Отношение поэта к ним формируется сообразно их характерам и поступкам: это и любовь, и сопереживание, и легкая ирония — словом, вся гамма чувств, свойственных человеку неравнодушному.

Можно проиллюстрировать сказанное множеством примеров. Но я назову лишь знаменитое «Ой, как резали быка...», где облечена в стихотворную форму в общем-то обычная для деревни история, с простым, но пронзительным, поистине трагическим сюжетом, комментировать который выше человеческого сил.

* * *

Ой, как резали быка...
А пока не резали,
Два ножа,
Два мужика
Грелись в доме трезвые.
Ой, как резали быка...
А пока грелись,
Как ревел он в облака
И бодал
Рельс.
Ой, как резали быка...
А пока,
На случай,
Два ножа,
Два мужика
Думали — как лучше?
Ой, как резали быка...
А пока думали,
Были полными бока
И рога —
Дугами.
Как зарезали быка —
Снег теплее мака.
С полотенцем в руках
Заплакала мама.

(Из сборника «Аисты улетают за счастьем»)

Стихотворение это взято из первой (если не считать детской, «Про Сашку») поэтической книги Плитченко, вышедшей в Новосибирске. Было ему в ту пору всего 23 года, и он служил на боевом корабле комендором.

Что еще можно сказать о раннем творчестве поэта? Плитченко счастливо избежал такой болезни, частенько свойственной молодым стихотворцам, как публичное самокопание. Его душа, распахнутая настежь, обращена к миру и готова к состраданию.

«Гнездо поэтов»

Именно равнодушие я бы назвал главной чертой характера Александра Ивановича. Равнодушие к прошлому, настоящему и будущему своей страны, своей малой родины, к судьбам своего народа и родного языка. Об этом мы еще поговорим. А пока — о равнодушии



Начало 70-х гг. А. Плитченко только что назначен редактором отдела прозы «Сибирских огней»

к отдельно взятому человеку. Для него было естественным поддержать того, кто находился рядом, или того, кто ранее с ним знаком не был, но в его помощи нуждался. Это, если хотите, было его образом жизни. Может быть, не самой яркой, но весьма показательной иллюстрацией к этому утверждению является история выпущенного в 1989 г. коллективного сборника «Гнездо поэтов». Не погружаясь в детали, скажу, что каким-то образом близкий к Плитченко, пользующийся его покровительством молодой поэт Владимир Берязев вышел на участников городского литобъединения конца 60-х — начала 70-х гг. Все они писали стихи (в их числе и автор этих строк), но до того времени отметились лишь единичными публикациями в периодике. Их имена были неизвестны ни читающей аудитории, ни тем более — писательскому сообществу. Исключение составлял разве что Иван Овчинников, которого Плитченко знал еще со времен фоняковского лито.

Так вот, когда Александр Иванович, который был в ту пору главным редактором Новосибирского книжного издательства, ознакомился с творчеством некоторых из нас, возникла идея издания «Гнезда». Другой бы не стал возиться с этой совершенно непонятной публикой, к тому же еще и в возрасте, однако Плитченко разглядел в каждом что-то неординарное и принял решение объединить

безвестных поэтов в общей книжке под одним переплетом.

Изданию «Гнезда» предшествовала публикация части авторов будущего сборника в июльском номере «Сибирских огней» за 1989 г. (Александр Иванович был членом редколлегии журнала). Эта честь выпала Ивану Овчинникову, Александру Денисенко, Анатолию Соколову. Посчастливилось попасть в журнал и мне. Коллективную подборку под заголовком «Шестидесятники» предваряло редакционное предисловие, выдержанное в исключительно доброжелательных тонах. Позволю себе процитировать небольшой отрывок:

Это написано искренно и правдиво, без какого-либо расчета на публикацию.

Они писали не так, как принято, как пишут все, кто подлаживается под ситуацию.

Они писали так, как чувствовали, как понимали, как видели время.

Они занимались творчеством. Пусть эта фраза никого не удивляет. Увы, очень многое зарифмованное и изданное в последние годы как раз и не содержит в себе главного — элементов творчества.

Что-то может показаться в этих стихах непривычным, необычным, странным и резким, но открытие — всегда непривычно.

Подозреваю, что это написано Александром Ивановичем.



В поездке по Новосибирской области.
Начало 80-х гг.

* * *

В самом начале этих заметок я говорил, что благодарен Плитченко за то, что он кардинально развернул мою судьбу. Журнальная публикация и последующий выход «Гнезда поэтов» —



На военных сборах. 80-е гг.

первое подтверждение этому. Забегая вперед, замечу, что впоследствии практически у каждого из «птенцов» «Гнезда» вышли персональные сборники стихов, и первые из них — в Сибирском отделении издательства «Детская литература» (СО «ДЛ»). Оно начало работать в Новосибирске с 1 июля 1989 г., и главным редактором его стал Александр Иванович Плитченко.

Издательство «Детская литература»

Я узнал о предстоящем событии — открытии СО «ДЛ» от своего давнего товарища и соседа по «Гнезду» Саши Денисенко, он же дал мне и контактный телефон. Звонить пришлось несколько дней кряду. Первый звонок, представляюсь: все вакансии заняты. Второй звонок: все редакторские вакансии заняты. Третий звонок. Не посылают. Есть вакансия корректора. «Но вам же это не подходит?» — «Подходит! Еще как подходит!» — «Ну, приезжайте на собеседование».

Смотрю на запись в своей трудовой книжке от 25 июля 1989 г.: «Сибирское отделение издательства “Детская литература”. Принят переводом на должность редактора художественной литературы». Тем, что мне, «человеку с улицы», не дали от ворот поворот, я опять-таки обязан (надо ли говорить?) Александру Ивановичу.

Парадоксально, но между тем факт. Так уж получилось, что последние, трагические годы советской эпохи выдались для меня чуть ли не самыми счастливыми в жизни. Каждое утро я, человек, которому было уже за сорок, просыпался с радостной мыслью: а вот сейчас я пойду на работу!

Спустя два месяца после рождения СО «ДЛ» в интервью областной газете «Советская Сибирь» за 1 сентября главный редактор сформулировал стратегию нового издательского коллектива.

К этому времени уже родились перспективные издательские планы. Родились не сами по себе, а в голове главного редактора. Остальные же сотрудники издательства привлекались затем для их дальнейшего развертывания и детализа-



Первый состав СО «ДЛ». Слева направо стоят: главный редактор А. И. Плитченко, редакторы А. У. Китайник и В. И. Ярцев; сидят: редактор Н. Г. Ермолина, бухгалтер И. А. Сичкарева, директор В. Г. Манзя, заведующий редакцией Г. Т. Балакин, главный бухгалтер О. И. Меркулова. Осень 1989 г.

На рабочем
совещании
в Сибирском
отделении
издательства
«Детская
литература»



ции. В первую очередь предполагалось утолить голод молодой читательской аудитории на словари, справочники и энциклопедии, дефицит которых явственно прослеживался к концу 80-х.

Что еще задумывалось?

Многотомная фольклорная серия «Свод» (сказки, предания, мифы, пословицы и поговорки народов Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока, в том числе и русского).

Цикл «Слово» (произведения зарубежных и отечественных писателей и общественных деятелей о сибирской и дальневосточной земле).

Цикл «Отчий мир» (творчество писателей-сибиряков).

Цикл «Путь» (научно-познавательная литература о народах, природе, культуре, прошлом, настоящем и будущем Сибири).

И, наконец, «Заветы» (сборники сибирских летописей, древнерусские произведения, входившие в круг чтения наших предков).

Грандиозные планы? Ну да. И, в общем-то, не фантастические, а вполне выполнимые. Ведь издавать все это предполагалось не в один присест, но постепенно, годами. А число сотрудников издательства должно было достигнуть ста двадцати.

Александра Ивановича нет с нами вот уже двадцать лет, а я только сейчас начинаю понимать, почему к нему всегда тянулись люди, особенно молодежь.

Думаю, что он обладал сильно развитым личным магнетизмом. Спокойный голос, добрый, но слегка иронический взгляд, несуетливость, умение выслушать собеседника не перебивая, даже если того заметно «заносит», — все это вкупе с неиссякаемым чувством юмора было глубоко симпатично тем, кто общался с ним каждодневно. Я, например, никогда не задавался вопросом, почему с ним приятно просто находиться рядом, тем более — вести разговор, который, кстати, всегда шел на равных. А теперь вот понимаю, что его воздействие на окружающих не было целенаправленным, а происходило на бессознательном — для обеих сторон — уровне. Оно было естественным.

И неудивительно, что к нему тянулись. Формируя актив издательства, Плитченко привлекал к сотрудничеству единомышленников из числа молодых художников и литераторов. И те охотно откликались. Оправдывая негласное звание (прошу извинить за штамп) «генератора идей», Александр Иванович задается целью создать при СО «ДЛ» молодежное творческое объединение «Мангазея» и выпускать альманах под тем же названием, о чем сам сообщает в издательском дневнике (вахтенном журнале, как мы его называли в память флотского прошлого главного редактора). И этот замысел вскоре осуществляется. Возникает издательство «Мангазея», возглавляемое

Владимиром Берязевым, которое выпускает одноименный альманах и, кстати, участвует в издании индивидуальных сборников некоторых членов «Гнезда поэтов».

Так же была задумана детская газета «Старая мельница», полноцветное восьмиполосное издание формата А4 познавательного-развлекательного характера, шеф-редактором которого становится Александр Иванович. Первые два номера были праздником, на страницах газеты нашлось место и для детского творчества, и для «взрослых» материалов, и для веселых рисунков. Со «Старой мельницей» связывались далеко идущие замыслы. Но денег спонсора хватило только на эти два номера.

Не суждено было сбыться и основным издательским планам. Страну уже лихорадило от политической нестабильности и экономических неурядиц, и вскоре мир станет свидетелем крупнейшей геополитической катастрофы XX века — распада СССР. Плитченко тяжело переживал неотвратимый крах державы. Он не видел здоровых политических сил, которые могли бы его предотвратить. Правящая партия была ослаблена внутривластной борьбой, либералы звали — и затем привели-таки страну — в объятия Запада, высвободиться из которых стоило впоследствии невероятных усилий.

Едва ли не единственным консолидирующим началом в расколотом обществе Александр Иванович видел православную церковь, с региональными иерархами которой он поддерживал добрые личные отношения. Неслучайно на заре СО «ДЛ», на исходе лета 1989-го, а точнее — 30 августа, в издательском дневнике появляется запись, сделанная его почерком: «Митрополит Новосибирский и Барнаульский Гедеон в виде благословения подарил главному редактору «Детскую Библию»».

Подарок иерарха был как бы знаком особого расположения. Ведь именно Плитченко в начале 1989 г., когда не существовало еще СО «ДЛ», возглавил движение по передаче Русской православной церкви собора во имя Александра

Невского, первого собора, построенного в нашем городе в начале прошлого века. В храме долгое время квартировала студия кинохроники, а в перспективе, после очередного переоборудования помещения, там должен был разместиться камерный хор областной филармонии. Оружием Плитченко было печатное слово. Именно его яркие выступления в новосибирских СМИ сыграли важную, если не решающую, роль в успехе дела. Особенно потрясла горожан статья, опубликованная в «Вечерке» за 8 февраля, «Путь к храму». Это было что-то наподобие эмоциональной бомбы. Общество взорвалось. Читатели завалили редакцию письмами в поддержку автора статьи.

Потом были еще и круглые столы, и сбор подписей, но исход битвы за собор был уже предрешен.

Убеждения Плитченко всегда были глубокими, хотя и эволюционировали в течение жизни. Однако по натуре он не был миссионером, никого не обращал в свою веру, не навязывал своих взглядов и с уважением относился к мнению окружающих.

Вспоминаю нашу поездку на электричке в район Каргат, где Плитченко когда-то окончил среднюю школу, а после демобилизации из Краснознаменного Тихоокеанского флота некоторое время работал корреспондентом местной газеты. В мае 1990-го, в канун Дня Победы мы, Александр Иванович и группа редакторов СО «ДЛ», встретились в районной библиотеке с ветеранами — участниками Великой Отечественной войны, чтобы поздравить их с праздником. Они пришли — трогательные, старенькие, аккуратно одетые, с боевыми наградами на пиджаках. Завязалась беседа. Фронтвики волновали большие вопросы довоенной истории нашей тогда еще социалистической Родины. Такие масштабные события, как индустриализация, коллективизация, массовые репрессии... И они получили на волнующие их вопросы именно те ответы, которых они ждали.

Да, индустриализация и коллективизация дорого обошлись нашему народу, но как без этого можно было выиграть войну с жестоким и сильным противником, на которого работала вся порабощенная Европа? Да, сталинские репрессии были преступными. Но ведь НКВД боролся не только с невинными гражданами, но и с настоящими врагами.

Да, было. Да, дорогой ценой. Но есть такое понятие — историческая необходимость.

Глядя на этих убеленных сединами людей, каждому из которых было под семьдесят или уже за семьдесят, мы понимали, что никак нельзя подрывать сейчас их идеалы. Разочаровывать в том, во что они верили всю свою сознательную жизнь, чему их учили в советских школах и ради чего они не жалели своей жизни на фронте.

Вернемся, однако, к делам издательским. Поначалу они шли весьма неплохо. Плитченко понимал, что перспективные издательские планы с места в карьер не осилить. Чтобы раскрутить намеченные серии и циклы, нужно было сколотить какой-то капитал. И первые книги — «Конек-горбунок» Ершова и «Букваренок», нарисованный и написанный талантливым столичным художником Георгием Юдиным, были отпечатаны с готовых форм головного издательства. Они имели безусловный коммерческий успех. Надо сказать, что московская «Детская литература» с первых дней отнеслась к своей дочерней организации в Новосибирске действительно по-матерински. Кто тогда в стране не знал знаменитую «золотую рамку», в которую был заключен переплет каждой из книг серии «Библиотека приключений и научной фантастики»?! Москвичи великодушно разрешили сибирякам использовать эту самую «рамку», включая и переиздание прежних книг, и составление новых, своих. И этот дар, существенно облегчавший старт СО «ДЛ», был с благодарностью принят. Забегая вперед, скажу, что, после ряда перепечаток «рамки», в 1993 г. у нас вышла оригинальная, почти 600-стра-



У крыльца «Дома скорняка» на ул. 1905 года, 33. Слева направо стоят: первый директор издательства «Мангазея» В. А. Берязев, А. И. Плитченко, главный бухгалтер «Мангазеи» Л. К. Серга, директор издательства «Мангазея» В. В. Глинский. 1992 или 1993 г.

ничная книга Рэя Брэдбери «Улыбка» (рассказы разных лет и «Марсианские хроники»), составленная работавшим тогда в СО «ДЛ» Евгением Лазарчуком, будущим директором издательства «Наука». Времена наступали уже тяжелые, и книга, подготовленная к печати еще в советское время, а изданная стотысячным тиражом уже в новом государстве, позволила существенно укрепить издательский бюджет.

Но — обо всем по порядку. Грянул день, когда Плитченко после совещания с директором собрал нас, редакторов, в своем кабинете и объявил о реорганизации СО «ДЛ». СССР распался. Социализм кончился, а вместе с ним и относительно безбедная жизнь. Канули в небытие бюджетное финансирование и централизованные поставки бумаги. Создавался коммерческий отдел, куда одного работника делегировала бухгалтерия и еще одного — редакция художественной



В Колывани. Слева направо: А. Д. Заволокин, ответственный секретарь журнала «Горница» А. И. Плитченко, директор Колыванского краеведческого музея В. А. Курицкая, колыванский художник и детский поэт Ю. М. Чуванков, Г. Д. Заволокин, главный редактор журнала «Горница» М. Н. Щукин

литературы. В круг задач нового подразделения входили сбыт литературы, поиск потенциальных заказчиков и выбивание из оптовых покупателей денег. Переговоры с производителями бумаги, дефицит которой внезапно обозначился в стране, и ее закупки были возложены на заведующего редакцией.

Нужно ли говорить, что издательство, ни руководители которого, ни тем более рядовые сотрудники и знать не знали, что такое настоящий менеджмент и с чем его едят, было обречено. Кстати говоря, московская «Детская литература» почилла в бозе едва ли не раньше своего сибирского отделения. Все по тем же причинам. В пучине разыгравшихся рыночных отношений, граничащих с беспределом, дилетанты гибли первыми.

Однако несколько лет жизни нам было еще судьбой отмерено. И Плитченко призвал редакторов мобилизовать всю их фантазию, чтобы с реализацией предложенных изданий не возникало крупных проблем. И редакторы не подкачали. Они обратились к выигрышной теме — дореволюционной истории страны. Одна за другой были выпущены две книги, с

продажей которых особых хлопот не возникло: «История России в рассказах для детей» (1993) А. О. Ишимовой, детской писательницы XIX века, современницы Достоевского, и «Моя первая русская история» (1995) царского генерал-лейтенанта, видного военного теоретика Н. Н. Головина, написанная им в молодые годы. Коммерческой оказалась и изданная двумя заводами (тиражами), составленная в недрах издательства книга «Для вас, девочки». Помню, ведущая популярной телепередачи «Спокойной ночи, малыши!» процитировала как-то (правда, без ссылки на первоисточник) написанное специально для главки «Буриме» четверостишие: «Василий, мой пушистый кот, / Вставая утром, пьет компот. / А вечером, ложась в постель, / Василий любит пить кисель».

Однако уже следующий 1996 г. оказался для СО «ДЛ» роковым. Издательство задолжало огромные, неподъемные суммы типографиям, особенно «Советской Сибири». В этих условиях директор счел за лучшее уйти на пенсию, а бухгалтерия в полном составе переметнулась в систему «Газпрома». Запись об увольнении в трудовой книжке Плитченко появи-

лась 27 февраля, а уже в начале марта он приступил к своим новым обязанностям в качестве ответственного секретаря журнала «Горница» (с № 3 1998 г. — «Сибирская горница»). Главным редактором «Горницы» был единомышленник Плитченко Михаил Николаевич Щукин.

Этот переход был вполне ожидаемым и закономерным. Журнал возник в мае 1995-го, а его концепция была разработана Александром Ивановичем ранее, в его бытность главным редактором СО «ДЛ». «Горница» создавалась как журнал для семейного чтения — в целях противостояния безудержному натиску современной массовой культуры. Издание отличали патриотическая направленность и следование духовно-нравственным ценностям в традициях русского народа.

Неслучайно журнал был учрежден с благословения владыки Тихона, возглавлявшего Новосибирскую епархию РПЦ. Надо отметить, что этот человек знал толк в печатном слове, поскольку впоследствии стал председателем Издательского совета и главным редактором Издательства Московской Патриархии.

Еще одна немаловажная деталь из жизни Плитченко — в 1994 г. его избирают председателем правления Новосибирской писательской организации, а несколько позднее он становится секретарем Союза писателей России. К этим новым обязанностям Александр Иванович отнесся со всей ответственностью. В меру сил своих он препятствовал превращению профессиональной структуры в клуб по интересам, ставя заслон графоманам и укрепляя организацию талантливыми литераторами.

О творчестве поэта

Современные стихотворцы, чего греха таить, не склонны «впадать, как в ересь, в неслыханную простоту». Сегодня не говорят открыто, напрямую, но стремятся всячески завуалировать свои мысли и чувства, выразить их намеками или полунмеками, посредством ассоциаций или ассоциативных рядов, нередко весьма туманных. Переключка потаенных смыслов,

игра слов и звуков, изысканная звукопись — то, что вчера считалось уделом избранных, ныне не без успеха осваивается широкими массами пишущих. Зачастую ясность смысла сознательно приносится в жертву темной, бессмысленной, но модной «утонченности». Или эпатажности. Неважно, какую форму приобретает эта маскировка — изыска или цинизма: искушенный читатель видит, что «мастеру слова» просто нечего сказать по существу, а массовый потребитель рукоплещет.

Впрочем, должен оговориться: глубокий, большой поэт, которому есть что поведать миру, не просто имеет право на перечисленный выше инструментарий, но и умело, к месту, применяет его в своем творчестве. Потому он, поэт, и глубокий. Потому и большой.

Но есть категория поэтов, которым изначально чужды изыск и умничанье как признаки «творческой индивидуальности»; они стремятся к предельной ясности в стихах и достигают ее. Они пишут так, не боясь прослыть простоватыми и старомодными, вовсе не потому, что не могут «навороченнее», «усложненнее», просто — так они видят и так велит их душа.

Кому из нас придет в голову назвать устаревшим Фета, которому, например, принадлежит простая, но между тем гениальная в своей простоте строфа: «Не жизни жаль с томительным дыханьем, / Что жизнь и смерть? А жаль того огня, / Что просиял над целым мирозданьем / И в ночь идет, и плачет, уходя». Гениальная, несмотря на чудовищную для XIX в. рифму «огня — уходя», которой и не замечаешь, — настолько велико впечатление от пронзительности написанного.

Или кто скажет, что несовременен Заболоцкий с его, скажем, внешне незамысловатой «Некрасивой девочкой»? ²

Или Рубцов, «Коля-шарфик», написавший среди прочего и такое: «С каждой избою и тучею, / С ливнем, готовым упасть, / Чувствую самую жгучую, / Самую смертную связь»? ²

Лирическую ясность (не путать с прямолинейностью!) в поэтическом творчестве еще никто не отменял и отменить не

сможет, как, впрочем, и метафоричность, изысканность. Может быть, несколько неожиданно, но поэзию можно уподобить материку со всем многообразием его природно-климатических зон. Одному нравятся леса умеренных широт, другому — степи, третьему — побережья южных морей. Но все это единый материк!

Один из тех, кто и по сей день «обживает» этот материк, — Александр Плитченко. Он был ярко выраженным лирическим поэтом с тяготением к глубинной сущности слова и видел свое предназначение в том, чтобы писать не для избранных, но для массового читателя, в надежде на сопереживание, на отклик в его сердце. И этой линии Александр Иванович придерживался до конца своих дней.

«Поэт не был избалован прижизненным вниманием литературной критики. И не потому, что его творчество лежит не в русле современной отечественной поэзии. Напротив, скорее всего потому, что его стихи подчеркнуто лишены изыска, внешней броскости, суесловия; они традиционны в лучшем смысле этого слова. Его художественно-эстетические воззрения не приемлют вычурного видения мира, замешенного на ерничанье и эпатаже, на пренебрежении к родному языку (и “черни”, которая на нем говорит), на высокомерии и самолюбовании». Это я цитирую самого себя как составителя сборника избранных стихотворений Плитченко, вышедшего в Новосибирске к 70-летию поэта, — просто потому, что не нашел более точных формулировок.

Манерничанье и самолюбование в стихах — это, конечно, плохо. Но еще хуже откровенный снобизм, когда стихослагатель вообще не скрывает своей «избранности»; когда свою собственную персону он ставит выше языка, на котором пишет, позволяя себе глумиться и над ним, и над его носителем — народом.

Плитченко решительно не воспринимал подобного рода «творчество». Критике таких течений в поэзии он посвятил статью «Я для души имею свой свинарник...», опубликованную с подзаголовком «Заметки консервативного писателя»

в мартовском номере «Сибирских огней» за 1990 г. Это был обзор поэтических публикаций в русскоязычных журналах «Радуга» (Таллинн) и «Родник» (Рига). Заметим, что тогда прибалтийские республики еще входили в состав Советского Союза. Саркастические заметки эти не были личным выпадом против конкретных поэтов — малоизвестной широкому читателю Татьяны Щербины или Дмитрия Пригова, в будущем — лауреата престижных литературных премий. И не против некоего Андрея Танцырева, именно того счастливчика, что «для души имеет свой свинарник», не против доброй дюжины его сотоварищей... Они, эти заметки, были написаны в защиту святых для русского человека понятий, духовных устоев, славной истории нашего народа и чистоты Слова, ниспосланного нам свыше. Всего того, что на страницах упомянутых изданий подавалось в издевательски искаженном свете.

Не стану называть имен, но я знаю людей, которые в силу своего неприятия творческой и гражданской позиции поэта не прочь навешать на него всех собак. Здесь обвинения и в «одномерности» поэтического слова, и в «квасном патриотизме», и в «узком взгляде на мир». Даже в любви к собственному народу, — любви, которой Плитченко никогда не скрывал! Все эти обвинения — чушь. Как говаривали древние, пусть башмачник не судит выше сапога. *Ne sutor supra crepidam iudicet!*

Тому, как писать хорошие стихи, не научит никакой институт, даже литературный, тот, имени Горького, который Александр Иванович, кстати, в свое время окончил. Да, освоив теорию стихосложения, ее основы, можно стать версификатором, даже неплохим. Но только не поэтом. Узнаваемую творческую манеру, неповторимость приобрести нельзя, если ты не обладаешь даром, данным от природы, — талантом. Плитченко таким даром обладал в полной мере, что, как мы видели, отчетливо ощущается уже в ранних стихах.

Перу Плитченко принадлежит повесть-эссе «Письмовник, или Страсть к

каллиграфии», построенная как письма к другу. В ней он размышляет о судьбах современной отечественной культуры — и поэзии, конечно, тоже. Особенно меня поразила глава, где исследуется одна из сторон творчества Фета, которого еще до недавнего времени пытались представить как поэта камерного, даже салонного. На примере всего лишь двух стихотворений («Никогда» и «На стоге сена ночью южной...») Александр Иванович убедительно показал присущее Фету космическое восприятие мира. Многие, и я в том числе, знакомы с этими стихотворениями, но такого, казалось бы, простенького, чуть ли не на поверхности лежащего вывода не сделали. Не каждому дано.

Беда современной поэзии, пишет он здесь же, — в отсутствии настоящей школы.

Поэтической школой Плитченко, конечно же, была русская классическая поэзия. Это видно, например, по его литературоведческим исследованиям, посвященным творчеству Блока и Есенина. Но прежде всего его школой была сама жизнь. Трудное послевоенное детство, родительский дом, где он вырос и которому посвятил немало проникновенных стихотворений. Друзья, земляки-односельчане. Служба на флоте. Неброская, но дорогая сердцу поэта природа Барабы...

В отечественных критике и литературоведении второй половины XX в. существовало достаточно распространенное мнение, что поэтов можно поделить на две категории, которые чуть ли не противостоят друг другу: поэты «от земли» («от сохи», как говорится) и поэты «от культуры». Первых хвалили за первичность чувств, за их естественность, вторым приписывали вторичность, обвиняя в «литературщине». Я всегда считал, что этот вульгарный подход — изобретение советского времени. Каково же было мое удивление, когда в руки мне попала толстенная книга «Бунин. Pro et contra», вышедшая в 2001 г. в Санкт-Петербурге, и там среди прочих интереснейших текстов я обнаружил выдержки из статьи дореволюционного критика К. П. Медведского

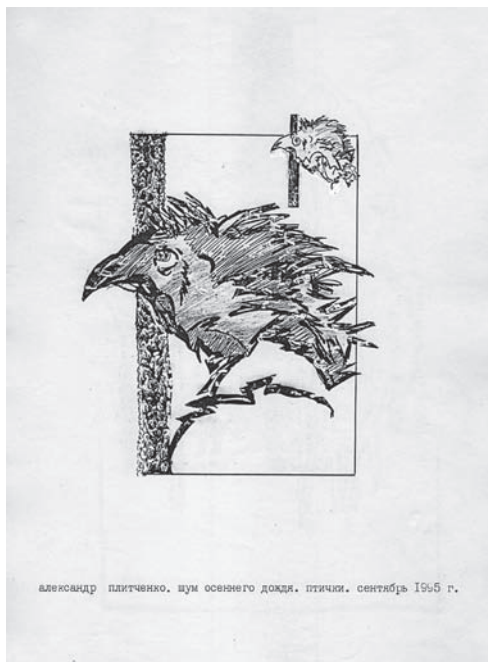


Рисунок А. И. Плитченко «Шум осеннего дождя. Птички». Бумага, карандаш. 1955 г.

«Новые лауреаты Академии наук». Статья была написана по поводу вручения Пушкинской премии Императорской Петербургской академии наук в 1903 г.

«Прежде поэзия была по преимуществу деревенская. Поэт жил на лоне настоящей природы, знал ее, ею восторгался, ей «слагал гимны». Вы, конечно, избавите меня от скучной необходимости прямых указаний, и без того всем известных. Природа до тех пор остается богатейшим источником поэтических озарений, пока ее окончательно не изуродуют на культурный лад.

Городской поэт, хотя бы и очень талантливый, находится под гнетом искусственной обстановки, налагающей яркую печать на его творчество: и оно, в свою очередь, делается искусственным».

Далее автор сообщает, что, «причисляя в истекшем году Пушкинскую премию, Академия решила поделить ее между П. И. Вейнбергом (за переводы) и г. Иваном Буниным — за сборник оригинальных стихотворений «Листопад». Кроме того, удостоены почетного отзыва две поэтессы: М. Лохвицкая-Жибер и Т. Куперник-Щепкина. Я с того и начну,

что скажу: г. Бунин — поэт деревенский, а госпожи Лохвицкая и Куперник — поэтессы городские».

Так вот, если следовать этой классификации, Плитченко был, безусловно, поэтом деревенским в хорошем смысле этого слова. Родная природа, сенокосы и грозы, уходящая к горизонту, волнующаяся от легкого ветерка нива, небесная синева всегда служили ему неиссякаемым источником вдохновения.

Однако, как уже говорилось, помимо поэзии Александр Иванович плодотворно работал и в других родах литературы: писал прозу, публицистику, переводил (в том числе и национальные эпосы народов Сибири), пробовал силы в драматургии. Но себя изначально считал поэтом. И если, к примеру, брался за переводы эпоса, то переводы эти не только во всей полноте передавали национальный дух того народа, с языка которого Плитченко переводил, но и были истинно поэтическими и по содержанию, и по форме.

Это утверждение хорошо прослеживается на примере переведенного Александром Ивановичем героического эпоса алтайского народа «Маадай-Кара», записанного от известного кайчи Алексея Калкина и изданного в Горно-Алтайске в 1995 г. десятитысячным тиражом. Специалисты единодушно отмечали, что в поэтическом переложении на русский язык одного из замечательнейших произведений устного поэтического творчества алтайцев «бережно сохранен национальный колорит эпоса». Книга разошлась почти моментально. Это ли не высшая оценка труда поэта-переводчика!

Я горжусь тем, что частенько беру в руки этот прекрасно изданный том, который был торжественно мне вручен автором, с его дарственной надписью, в мой день рождения. Перевод, что и говорить, хорош, но его совершенно к месту дополняют еще и цветные полосные иллюстрации — фотографии видов изумительной природы Горного Алтая и памятников древней культуры предков современных алтайцев.

«Матушка-рожь»

«Матушка-рожь» — последний сборник поэта, который мог стать прижизненным. Плитченко собственноручно составил и набрал его. Не думаю, что он считал эту книгу прощальной; он не собирался умирать. Однако судьба распорядилась иначе: книга стала итоговой, посмертной.

Должен признаться: мне так и не удалось разобраться в архитектонике «Матушки-ржи». Почему Александр Иванович именно так, а не по-другому разместил стихи в замкнутом книжном пространстве величиной в несколько десятков страниц? По какому принципу? Тематически? Хронологически? Произвольно? Лишь одно я усвоил точно: содержательный спектр этого последнего сборника, охват тематики едва ли не на порядок шире по сравнению с любым предыдущим.

Во-первых, в книге сильны гражданские мотивы. Однако стихи этой группы лирики лишены пафоса. «Кто напророчил годину лихую?..», «Соловей перестройки», «С природы», «Бородинское поле. 1990»...

Последнее стихотворение написано после поездки Плитченко в Подмосковье. Была поздняя осень. И поэт шел полем русской славы по полегшей ржи, которую «забыли» сжать, шел по мертвым колоскам, испытывая чувство горечи и боли.

Протестные стихи не идут единым блоком, а рассыпаны по всей книге. Теперь я понимаю почему. Поводом к рождению очередного стихотворения были конкретные трагические события, которые из года в год преследовали страну, последовательно сменяя друг друга, подобно тому, как в затяжной грозе клубящиеся тучи идут за грядой гряда.

Другая присутствующая в сборнике тема, пожалуй, является основной. Я не нашел для нее определения, такого, чтобы оно было точным, кратким и в то же время полным. Стихи эти объединены многообразием чувств, среди которых

преобладают надежда и любовь, которые зачастую идут рядышком, рука об руку.

Надежда — на то, что лихая година минует, как страшный сон, на духовные силы земляков, сограждан, которые — время придет — пробудятся от летаргии. И еще — на Церковь, с которой связана тысячелетняя история Руси.

**И пребудет земля спасена,
И надежда людская продлится,
Если церковь — хотя бы одна —
Затеряется и сохранится.**

(«Собор»)

Любовь — ко всему существу на этой многострадальной земле, нежное чувство к народу, среди которого вырос; светлая грусть о прошлом, в котором навсегда осталось послевоенное детство и все, что с ним связано, и прежде всего — близкие поэту люди; трепетное отношение к поднебесью, озаряющему нас солнечным светом; к хлебному полю, к родной природе, к «рдяной рябине» на осеннем бугре, что «над мглою вздыбилась и реет»...

**Эту жизнь не считаю случайной,
И о детстве забыть не дано, —
И о тетушке с крынкою тайной
Молока, что от слез солоно.**

(«Начало»)

Среди стихов, завершающих книгу «Матушка-рожь», есть две элегии, исполненные мягкого света, явно перекликающиеся между собой, как бы продолжающие друг друга. Неслучайно в сборнике они поставлены рядышком; каждая из них написана на одном дыхании, за один день.

* * *

**Что проносится с ветром к закату?
Что уносится с ветром за край?
Золотую, последнюю плату
За последнее солнце — отдай.
В сильном свете —
густом и прощальном,**

**В синем ветре над юной травой
Позабудь о закате печальном,
Он не твой, он не твой, он не твой.
Видишь, радостный сноп**

с поднебесья

**Рассыпают златые лучи, —
Можешь песню — затеивай песню,
Можешь сердцем — люби и молчи.
Но за это последнее солнце
Будет долго дорога брести,
И что начато, то допоется
Там, за краем земного пути...**

19 июля 1994 г.

* * *

**За холмы и озера, где света
И сиянья живого полна,
Золотая, как солнышко, эта
Уплывает за солнцем страна.
Под высокие белые своды
Всею чистою жизнью плыви
В окоемы просторной свободы,
В бесконечную область любви.
Все оставь, оказавшись в начале,
Позабывтой доверься мечте.
Пусть клубятся былые печали
За плечами в сырой темноте...
В нескончаемом ласковом свете
Золотой и вечерней страны
Мы очнемся как малые дети
И забудем, что вновь рождены...**

2 сентября 1994 г.

* * *

В честь Александра Плитченко еще при его жизни названа малая планета, 9535 Plitchenko, открытая в Крымской обсерватории ученым-астрономом Ю. Н. Черных в 1981 г. Невооруженным глазом планета на звездном небе не видна. Я нашел ее на карте НАСА — название получило международное признание.

«Там, за краем земного пути». Глубоко символично.

Автор выражает благодарность жене поэта Эрте Геннадьевне Плитченко (Падериной) за любезно предоставленные фотографии.

Павел МУРАТОВ

ХУДОЖНИК ЛЕВ СЕРКОВ

Лев Анатольевич Серков (1937—1975) — график, живописец, монументалист. Родился на Сахалине. Окончил Фрунзенское художественное училище (1953—1958). После училища служил в армии (1959—1961). С 1961 по 1965 г. жил в Магадане, работал внештатным художником Магаданского книжного издательства. В 1965-м переехал в Новосибирск, работал внештатным художником Западно-Сибирского книжного издательства. Член Союза художников СССР с 1968 г. Председатель ревизионной комиссии Новосибирского отделения Союза художников (1969—1971), член правления Новосибирского отделения Союза художников по выставочной деятельности (1973—1975). Участник зональных, республиканских, всесоюзных и международных выставок. Награжден дипломами за художественное оформление книг.

Серков приехал в Новосибирск осенью 1965 г. По всей вероятности, он не собирался оставаться здесь. Ему хорошо жилось и в Магадане, где он по праву считался перспективным молодым живописцем, был своим человеком в книжном издательстве и некоторое время даже его художественным редактором. В начале 1960-х гг. в Магадане собралась писательская и художническая молодежь, любившая Север и самих себя, сильных, деятельных. Они росли в бивачных условиях как люди и как творческие работники, и Серков рос вместе с ними. За четырехлетний магаданский период он поднялся от добросовестного воспроизведения природы до выявления существенного в ней. Он бы еще жил на Севере со своими друзьями-соперниками, естественно возрастая на постоянной целеустремленной работе, но жена его Татьяна перед родами отправилась к родителям в Новосибирск и, сопровождая ее, Серков уехал из Магадана, не порывая, впрочем, связей ни с тамошней организацией Союза художников, ни с книжным издательством.

Творческая среда Новосибирска середины 1960-х гг. была насыщеннее магаданской и, главное, иной по духу. В Новосибирске между писателями и ху-

дожниками уже не было сплочения. Оно осталось в довоенном времени. В отдельно взятых творческих союзах не было единого направления. Зато было больше разнообразия, выше профессионализм.

Председателем Новосибирской организации Союза художников в те годы был Н. Д. Грицюк. При нем одна за другой устраивались персональные выставки, потому что Грицюк считал: ценно не отдельное произведение, а позиция художника в искусстве, ее и нужно выявлять выставками. Серкову, начавшему осознавать свою особенность, творческая атмосфера Новосибирска пришлась по душе. Она помогла ему окончательно сложиться творчески, хотя он понимал задачи художника не по Грицюку.

Грицюк и в молодые годы к житейским подвигам не стремился, тундру шагами не мерил. Ему с лихвой хватило военных дорог от Сталинграда до Вены. Чем старше он становился, тем менее важными казались ему житейские обстоятельства творчества и тем важнее делались события, происходившие в отечественном и зарубежном искусстве. Серков относился к искусству тоже очень серьезно, однако он не мог забыть себя в нем. Ему важно было самоутвердиться не только за

мольбертом, но и в кругу друзей. Он попробовал импровизировать в живописи, как это делал Грицюк, но импровизация ему не далась, и он оставил это занятие. Его сила была не в создании нового, а в личном, стало быть, в новом прочтении уже известного, что тоже немало.

Грицюк притягивал к себе масштабом своего дарования, но к нему у Серкова прямой дороги не было. Гораздо ближе Грицюка Серкову были В. В. Семенов, А. Н. Никольский, И. П. Наседкин. Они почти его ровесники, они даровитые художники, окончившие институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина в Ленинграде, куда Серков пытался поступить после службы в армии, не поступил, остался с багажом Фрунзенского художественного училища, и хотя теперь как будто не нуждался в уроках высшей школы, все же сохранил уважение к системному профессиональному образованию. Новые друзья быстро оценили способности и деловые качества Серкова. Он был принят в их среду, и Магадан стал вспоминаться им уже как страна юношества, полная романтических былей и небылиц.

В Магадане Серков сочинял песни и пел их под аккомпанемент гитары (он пережил увлечение Булатом Окуджавой), то есть был, так сказать, бродягой-поэтом, образ которого в те годы носился в воздухе Сибири и Дальнего Востока. В Новосибирске литературно-музыкальная струя в творчестве Серкова стала угасать и, угасая, заменяться поэтикой в живописи. Художник становился профессионально более зрелым, но долго еще его искусство сохраняло отголоски юношеских брожений.

Он привез в Новосибирск практически все, что сделал в Магадане. В массе живописных графических произведений есть у него несколько вариантов композиции «Сети». На полях одной из них написано: «Весной развешенные сети ловят юную неопытную зеленую траву. Осенью в них попадают шуршащие золотые листья, усталые в своей красивой обречен-

ности. На исходе дня первого запуталось в сетях облако, но налетел ветер и от него остались сотни маленьких свидетелей его чистейшей белизны. И на исходе дня последнего упал снег, и неубранные сети тянулись на фоне его черной траурной кисеи».

Тема «Сети» продолжалась в Новосибирске еще почти десять лет. Иногда она принимала сюжетно-бытовой облик — рыбаки штопают сети, развешенные на специальных столбах с перекладинами, иногда лирический — с изображением девушки возле сетей, ждущей кого-то с моря, но чаще всего изображение сетей не сопровождалось жанровым мотивом и тогда они представляли собой неопределенную монументальную торжественную форму.

Разложить все эти варианты в строго хронологической последовательности и тем самым проследить ход мысли автора довольно трудно, хотя часть их датирована и может служить ориентирами в расстановке растянувшейся на всю творческую жизнь живописно-графической серии. При всех неточностях прослеживания путей развития одной темы в творчестве Серкова все же видно, как уходят из нее конкретные бытовые черты и как невятное томление духа перерастает в утверждение простоты и силы. Серкова помнят в Новосибирске по немногословным емким картинам небольшого размера. Серков — глыба. Недаром с годами он стал оказывать большое влияние на ближайшее окружение, особенно на группировавшихся вокруг него молодых художников. Но эта глыба была расслоена противоречиями.

Серков мог бы гордиться тем, что он успел сделать в книжной графике: количество и качество работ в этой области ставят его в ряд с лучшими иллюстраторами книги в Новосибирске 1960-х — 1970-х гг. Однако он делал вид, будто работа для книжного издательства для него — житейская необходимость, не более того, и многие приняли его игру за действительность. Пять лет спустя после

смерти художника ближайший друг Серкова живописец и график Семенов немало удивлялся, когда узнал, что Серков рос во многом благодаря работе с книгой, что он был надежным сотрудником сначала Магаданского областного, затем Магаданского и Западно-Сибирского книжных издательств и, наконец, одного Западно-Сибирского и что за эту работу он по праву получил несколько почетных дипломов.

Желание Серкова сделать вид, будто он совсем не иллюстратор, можно понять, учитывая его усилившееся в Новосибирске тяготение к творческой независимости и к отходу от повествовательных сюжетов. Этому тяготению не противоречит работа над оформлением книги, и про себя Серков это хорошо знал, но так как понятие иллюстрации наводило на понятие некоего сопровождающего текст рисунка, то он и почел за лучшее в глазах товарищей сместить акценты в своем творчестве. Своей магистральной линией он хотел утвердить станковую живопись и умел убедить в том интересующихся. На самом же деле графика его ровнее, разнообразнее и качеством не уступает живописи.

Изображая себя человеком стихии, он был способен на долговременное планирование своей работы, на почти производственный стиль жизни, что и вывело его на высоты профессионализма. На подрамках его отдельных картин сохранились малозаметные надписи: «загрунтовал июнь 1972 г.», «начал писать 1 марта 1974 г.». Может быть, он отмечал и этапы работы на холсте, ведь он завел себе толстую тетрадь, куда вписывал названия выставок, в которых он участвовал, название, технику и размер принятых на выставку произведений. Если какие-либо из них приобретались с выставки, он записывал и сумму оценки.

И при этом в нем пульсировало что-то ему самому неподвластное, подлинно стихийное. На вторую половину 1960-х гг. приходится сильнейшая вспышка неясных, неуправляемых чувств.

Она отразилась в сюжетах «Одинокая собака», «Одиночество», в трактовке образа Дон Кихота, едущего и одновременно никуда не едущего на своем Росинанте, углубленного в свой нездешний мир. Тогда же он написал ряд пейзажей с немотивированными действиями присутствующих в них персонажей. Во время этого брожения он оставил прежнюю семью, завел новую, что-то, возможно, в себе переломил и успокоился, вступая, как показывает его творческое наследие, в полосу зрелого неторопливого развития.

На начало 1970-х приходится если не самые лучшие произведения Серкова, то, во всяком случае, самые цельные с художнической позиции. Сюжетной немотивированности в них уже нет. В тех случаях, когда Серков надписями дополняет сюжет, видно, что его интересует многоликая реальность, а не зыбкий мир предощущений. Так, на зарисовке Западно-Сибирского металлургического комбината, куда он ездил для сбора материала к очередным произведениям, он пишет: «На газонах идет посадка травы». И как не похоже это на скорбную лирику надписи на «Сетях»!

Теперь Серков создает композиции с двумя-тремя тяжеловесными крупными фигурами, объединенными неторопливым действием. Его «Пильщики», «Купание в маленькой речке с красным мостом», «Новый дом у старых берез», оставшийся незаконченным, показывают простые дела, вознесенные на уровень вселенских событий. И он прав. Из простых дел состоит вся наша жизнь, в том числе и самое значительное в ней.

К сожалению, золотой век Серкова оказался недолгим. Его корабль получил пробоину в новом семейном отсеке, и его понесло по наклонной вниз к небытию. Он не стал работать хуже. Он потерял целеустремленность. Он мог бы пройти полосу очередного кризиса на инерции взятого разгона. Мог бы, да не прошел. Последний диплом «За мастерство художественного оформления книги "Ключ счастья"» ему присудили уже посмертно.

АВТОРЫ НОМЕРА

Бушуева (Китаева) Мария родилась в Новосибирске. Прозаик, критик, автор нескольких книг, многочисленных публикаций в журналах и сетевой периодике. Окончила Высшие литературные курсы и аспирантуру Литературного института им. Горького. Член Союза писателей России. Живет в Москве.

Грицман Андрей родился в 1947 г. в Москве. Поэт, эссеист, главный редактор международного журнала поэзии «Интерпоэзия». Автор нескольких книг стихов и прозы. Пишет по-русски и по-английски. С 1981 г. живет в Нью-Йорке.

Кирилин Анатолий Владимирович родился в Барнауле в 1947 г. Автор двенадцати книг прозы и публицистики, изданных в Сибири и Москве. Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Алтай» и др. Живет в Барнауле.

Колесник Любовь Валерьевна родилась в 1977 г. в Москве. Окончила биологический факультет Тверского государственного университета, работает редактором. Публиковалась в журналах «Новый мир», «Арион», «Наш современник», «Сибирские огни», «Дальний Восток» и др. Автор шести книг поэзии и прозы. Живет в Ржеве и Москве.

Кузницына (Козволина) Наталья родилась в 1970 г. в Вятке. По образованию филолог. Автор шести книг, в том числе книг стихов и сказок для детей. Член Союза писателей России. Живет в Вятке.

Лобанова Елена Александровна родилась в Краснодаре. Окончила музыкальное училище по классу фортепиано и филологический факультет Кубанского университета. Работала концертмейстером, учителем русского языка, корректо-

ром. Публиковалась в журналах «Русская провинция», «Сибирские огни», «Новый берег», «Аврора» и др. Автор нескольких книг прозы. Член Союза российских писателей. Живет в Краснодаре.

Муратов Павел Дмитриевич родился в 1934 г. в Новосибирске. Окончил Ленинградский государственный институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Кандидат искусствоведения, член Союза художников России. Автор монографий «Художественная жизнь Сибири 1920-х годов» (1974), «Изобразительное искусство Томска» (1974) и др. Живет в Новосибирске.

Рожков Виктор Петрович (1920—2006) родился в Омске. В 1939 г. окончил Одесское мореходное училище. Во время Великой Отечественной войны служил на торпедных катерах. После демобилизации более 20 лет водил по Иртышу и Оби сухогруз СТ-5. Был корреспондентом Омского радио. Автор повестей и романов «За морем — Мангазея», «Киприанов след», «Срочный рейс», «Черный туман» и др. Умер в 2006 г. в Омске.

Ярцев Владимир Иванович родился в 1945 году в селе Пильно Алтайского края. Окончил историко-филологический факультет Новосибирского государственного педагогического института. Работал учителем истории в школе, корреспондентом, редактором в книжном издательстве. Автор вышедших в Новосибирске книг стихотворений «Двое» (в коллективном сборнике «Гнездо поэтов»), «Грустная память», «Над темной водой» и др. Лауреат премии журнала «Дети Ра» (2007). Стихи публиковались в журналах «Юность», «Сибирские огни», «Мангазея», «Дети Ра» и др. Член Союза писателей России. Живет в Новосибирске.



МАГАЗИН

продает и покупает:

книги и подписные издания, газеты, журналы, почтовые открытки (до 1960 г.), старые фотографии, домашние архивы, коллекции почтовых марок, монеты, бумажные деньги;

статуэтки фарфоровые, бронзовые и чугунные, серебряные изделия, значки на винтах, портсигары и подстаканники, заводные игрушки и фарфоровые куклы, угольные самовары и патефоны, старинную мебель, старую военную форму и военную атрибутику и многое другое.

Работают отделы:

антиквариата, нумизматики, филателии и букинистической литературы.

Всегда в продаже журнал «Сибирские огни».

Работаем с 10 до 19 без перерыва, в воскресенье с 10 до 18

Адрес: ул. Романова, 26 (угол Советской и Романова)

☎ 227-18-37, 227-14-50

Сайт: www.gornitsa.ru E-mail: n_gornitsa@bk.ru

Частные лица и организации в Российской Федерации и в странах СНГ могут подписаться на журнал «СИБИРСКИЕ ОГНИ» в любом отделении связи — красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

Учредители:

Союз писателей России, Администрация Новосибирской области
Журнал зарегистрирован в Государственном комитете Российской Федерации по печати.
Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.

Адрес редакции и издателя:

630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 19, тел.: (383) 223-10-15

E-mail: sibogni@sibogni.ru Сайт: сибирскиеогни.рф

Адрес типографии:



ООО «Новосибирский издательский дом»

630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104

<http://книгосибирск.рф>

Сдано в набор 19.10.2017 г. Дата выхода № 11 за 2017 г. в свет 23.11.2017 г.

Формат 70x108/16. Печать офсетная. Усл. п. л. 8,7. Тираж 1500 экз.

Цена свободная.

Во всех случаях полиграфического брака просим обращаться в типографию.